AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

Том 6-й

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МЕЩАНСТВО



American Research Press

Абрам Ильич Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах



Том 1-й
Инстинкт и социальное поведение

Том 2-й
Пифагор и обезьяна: роль математики в упадке культуры

Том 3-й
Заблуждения капитализма

Том 4-й
Польская революция

Том 5-й
Письма из России

Том 6-й
Интеллигенция и мещанство

Том 7-й
Воспоминания и размышления

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

All correspondence and orders of printed copies of the books should be addressed to Ludmila P. Petrova, the copyright holder of A. I. Fet and the Editor-Compiler of the Collected Works in 7 volumes. E-mail: aifet@academ.org

This book was typeset using the LaTeX typesetting system.

Cover image: "Unexpected Return", an oil painting by Ilya Repin. Made in 1884–1888. This image is the public domain.

ISBN 978-1-59973-397-5

American Research Press, Box 141, Rehoboth, NM 87322, USA
Standard Address Number: 297-5092
Printed in the United States of America

American Research Press

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

Том 6-й

♢

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И
МЕЩАНСТВО

♢

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

Оглавление

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МЕЩАНСТВО



— Том 6-й —

От редактора-составителя

Шестой том составлен на основе рукописей разных лет, посвящённых интеллигенции и её главному антагонисту — мещанству.

Открывает том статья “Мещанство, его история и идеология”, написанная около 1980 года. Автор использует в ней биологический подход, а с позиций биологии мещанство выполняет полезную функцию — оно охраняет традиционные ценности. Автор говорит о сильных и слабых сторонах традиционного общества, остававшегося столетиями без видимых изменений и состоявшего “из людей, жёстко кондиционированных с детства условиями установленной, никем не оспариваемой культурной системы”. Но главное содержание статьи составляет история возникновения и развития динамической культуры, в недрах которой постепенно сформировалась автономная личность, самостоятельно вырабатывающая свою систему ценностей и призванная совершенствовать себя и общество, в котором живёт.

Статья “Русские университеты и русская интеллигенция” как раз посвящена этой автономной личности — интеллигенту. Написана она была по просьбе И. А. Кижнер, но не сразу, а в три приёма. Около половины текста А. И. написал в 1997 году, в один присест, после чего несколько лет к нему не возвращался. В 2001 году, уступая настояниям Инны Александровны, он написал ещё примерно столько же, закончив словами “Русские университеты, русскую науку и научное образование придётся строить заново. Эту трагедию надо пережить спокойно. Нельзя гневаться на мелких жуликов: они не ведают, что творят”. В таком виде статья была набрана в 2001 году, после чего, написав небольшую связку, А. И. добавил к ней раздел *Русская интеллигенция* из 15 главы своей книги “Инстинкт и социальное поведение”, над которой в то время работал. В таком виде статья и представлена в нашем издании.

Обе эти статьи объёмные. Для удобства читателей на месте авторских разделителей мы в них поставили заголовки.

В 2003 году А. И. задумал третий выпуск своего журнала “Современные проблемы” посвятить русской интеллигенции. С этой целью он разыскал, отредактировал и предварил предисловиями статьи Н. В. Шелгунова, Н. К. Михайловского и П. Н. Ткачёва, в публицистике которых впервые появилось слово “интеллигенция” в специ-

фически русском смысле этого слова. Кроме того, написал две статьи, связанные с этими именами — “Кто придумал интеллигенцию” и “Самосознание русской интеллигенции”. Издание не состоялось, но в том же году удалось учредить электронную библиотеку “Современные проблемы”, где с тех пор размещён весь этот выпуск. Обе статьи А. И. Фета, написанные для этого выпуска, мы включили в наше собрание.

О мотивах поведения интеллигента мещанин судит исходя из собственных ценностей, поэтому понять его неспособен. В статье “Большевики и советская власть” А. И. от первого лица объясняет тип людей, к которому принадлежали большевики, и он сам. Эта статья больше походит на предисловие к более развёрнутому тексту, но в ней очень отчётливо показано, кого автор считает большевиками и до какого времени была советская власть.

Развёрнутая статья “Диссиденты” написана в начале 80-х годов. В ней выявлены различные диссидентские течения того времени, по-разному относящиеся к существующему режиму: “марксисты”, “православные” и “правозащитники”. Но в целом эта работа посвящена “правозащитникам” (или “демократам”). Автор анализирует, “почему зашло в тупик “правозащитное движение”, что́ в его идеологии обрекло это движение на неудачу”.

Три следующих статьи — полемика с русскими националистами, предлагающими нам “в старом монархическом костюме «самодержавия, православия и народности», русский фашизм”.

Статья “Солженицын и другие” была написана в 1974 году. После романов “В круге первом” и “Раковый корпус” Солженицын был властителем дум интеллигенции. Восхищался им и Фет. Но роман “Август четырнадцатого”, вышедший летом 1971 года в Париже, оттолкнул А. И. откровенной тенденциозностью. Очень немногие тогда почувствовали эту тенденцию. Отчётливо помню, какое негодование вызвала его критика у меня самой. Солженицын — герой, святой, мученик! Как можно предполагать в нём тенденциозность? Именно поэтому А.И. вновь и вновь терпеливо объяснял, что “герой, святой, мученик” не обязательно бывает глубоким мыслителем.

То же относится и к И. Р. Шафаревичу, чьё эссе “Русофобия” было опубликованного в журнале “Наш современник” за 1989 год. Сразу вслед за этой публикацией А. И. написал свою статью “Русомания”. В ней он подробно разбирает стиль статьи Шафаревича и истоки его идей. Выясняет, что́ вызывает ненависть и любовь этого автора, и приходит к выводу, что выдающийся математик вне своей области — совсем беспомощный мыслитель и даже не интеллигент.

Статья “Литературные фашисты” написана во второй половине 80-х годов, в начале перестройки, и посвящена “почвенному направлению” в литературе того времени. Автор задаёт вопрос, почему разоблачительная тенденция в литературе запрещена одним писателям и разрешена другим? И отвечает на него. Этим другим “ничто не угрожает от начальства, за что бы они ни «боролись», потому что «борются» они с согласия очень высокого начальства, ведомые безошибочным лакейским духом”.

Завершают шестой том две статьи, связанные с тематикой семинаров Хельсинской группы. Доклад “Психология сторонников смертной казни” был прочитан в ноябре 1994 года, в Харькове, на конференции “Право на жизнь и смертная казнь”. В нём показано, как мещанство, с его охранительной установкой, берущей начало в христианской культуре, продолжает охранять то, во что уже давно не верит.

Доклад “Создание независимой печати для российской интеллигенции” был прочитан Фетом на семинаре Хельсинской группы “Свобода слова и средства массовой информации” в феврале 1994 года. В сборник материалов семинара этот доклад не вошёл, т. к. редактор подверг его цензурным изменениям, и А. И. отказался его публиковать в таком виде. Позже, для своего журнала “Современные проблемы” (№ 1, 1997), на основе этого доклада А. И. написал расширенную статью “Цензура и возрождение русской интеллигенции”. Эта статья завершает шестой том. В ней, в частности, сформулированы такие мысли:

“Русская интеллигенция — самое благородное и возвышенное явление мировой истории. Наши первые интеллигенты не уступают первым христианам в глубине и значении своей веры, но ближе нам как более развитый человеческий тип. Историческая задача интеллигенции только начата, и эта задача не ограничивается Россией.”

“Россия не может выжить, русская культура не может быть спасена без возрождения русской интеллигенции; а чтобы её возродить, нужна интеллигентская печать.”

Л. П. Петрова

Мещанство, его история и философия

Явление, изучаемое в этой работе, не относится к какой-либо отдельной стране, но термин, его обозначающий, представляет особенное русское слово, употребляемое в особенном его значении, и вряд ли поддаётся точному переводу на какой-нибудь иностранный язык. Не случайно это явление было названо русским словом: вряд ли где-нибудь оно вызвало бóльшую ненависть, чем в России, и вряд ли где-нибудь эта ненависть оказалась более оправданной. Весьма ожесточённым врагом мещанства был Максим Горький, больше всего содействовавший распространению этого слова в виде обидной клички, применявшейся кстати и некстати. Но не Горький ввёл это слово в русский язык в его специальном смысле, означающем некоторую психическую установку и связанный с нею стиль жизни. В этом смысле его вполне сознательно применил Герцен. Замечательно, что Герцен обозначал им чаще всего зарубежное мещанство, то есть определённый тип буржуазии, который он распознал при самом его рождении на западе Европы, около 1848 года. В России в то время, пожалуй, ещё не было специфического “горьковского” мещанства, на которое этот термин и был перенесён. В официальном языке русского государства было “мещанское сословие”, куда включались городские ремесленники и рабочие, торговцы и купцы, промышленники, чиновники и всякого рода заезжие иностранцы, а потом и русские интеллигенты, то есть служившие и не служившие на государственной службе учителя, врачи, техники и деятели других грамотных профессий.

История термина сама по себе интересна и заслуживает отдельного исследования. Но нас будет интересовать само явление, принявшее в наше время повсеместный, угрожающий характер и, как большинство социальных болезней, не изученное и не имеющее названия. Как нам кажется, наилучшим названием для него будет не какой-нибудь искусственно сконструированный латинский или греческий термин, а исторически сложившееся русское слово, которое нам придётся лишь напомнить и оживить.

1. Традиционное общество

Человек, как учил Аристотель, животное общественное, то есть не может жить вне общества других людей. С древнейших времён

сложились группы людей, живших по общим обычаям и законам, сначала племена, а потом народы и государства. В каждом из таких исторически возникших сообществ возникла своя традиционная, то есть передававшаяся по наследству культура. Слово “культура” мы применяем здесь в его общем значении, употребляемом в этнографии и истории: в этом смысле оно означает образ жизни, систему принятых в этом обществе способов поведения людей. Каждое из традиционных обществ, сложившихся в глубокой древности в своих особых природных и этнических условиях, обладало своей резко выраженной физиономией. Таковы были шумерское, египетское, китайское общества. Такой же определённостью и неповторимой индивидуальностью отличались общества средневековой Индии или Европы. Традиционное общество воспроизводилось в течение десятков поколений без видимых изменений. Сыновья воспитывались в таком обществе так же, как отцы, и из них вырастали такие же люди. У них были такие же представления об окружающем мире, такие же повседневные занятия, та же религия. Традиционное общество не было “консервативным”, это название было бы для него недопустимой модернизацией. Консервативная установка всегда вторична, *реактивна* по отношению к некоторой вновь возникшей установке, ставящей под сомнение и расшатывающей обычный уклад жизни. “Консерваторы” появляются лишь там, где возникли уже “либералы” или “радикалы”.

Древние египтяне вовсе не были консерваторами, они были попросту законсервированы. Египтянин был способен, в известных случаях, усомниться во всемогуществе какого-нибудь конкретного фараона и даже заменить его на престоле, но не способен был представить себе Египет без фараона вообще. В области религии он мог предпочитать одного бога другому, даже синтезировать единого бога Атона из атрибутов традиционных богов, но не мог представить себе Египет без культа и жрецов.

История Китая есть история смены династий, происходившей “революционным” путём, то есть чаще всего вследствие победоносных крестьянских восстаний. Предводитель такого восстания становился императором и основывал новую династию. Всё это периодически повторялось, но ни одному китайцу не могло прийти в голову вовсе переменить государственную систему: все возможные улучшения сводились для него к замене “несправедливого” императора “справедливым”. Китайская мифология населила чиновниками свой потусторонний мир, китайская беллетристика описывала перипетии чиновничьей карьеры. Личность императора или чиновника могла

быть поставлена под сомнение, но не китайская система в целом. Варварские народы, рыскавшие где-то на краю вселенной, могли придерживаться других обычаев, но что за дело было до них Срединной Империи, которая была человеческим обществом в собственном смысле, обществом *настоящих* людей, то есть желтолицых, с раскосыми глазами и говорящих короткими словами нараспев.

Египтянин называл все другие народы стандартным оборотом: “презренный народ такой-то”, и в этом не было специального презрения к такому-то народу, а общее презрение ко всем не-египтянам. Во многих языках слово “человек”, “люди” относилось только к собственному народу и было его обозначением; остальные не были людьми в собственном смысле, а только существами, чем-то похожими на людей. Языки, на которых они говорили, были бессмысленным бормотанием, “бар-бар”, и поэтому их назвали “варварами”; они неспособны были говорить по-человечески, а произносили непонятные звуки, подобно немым, а потому они были “немцы”.

Таким образом, традиционное общество состояло их людей, жёстко кондиционированных с детства условиями установленной, никем не оспариваемой культурной системы. В этом смысле — и со всеми оговорками, необходимыми при построении таких аналогий — такое общество можно уподобить зоологическому виду. “Вид” может вымереть, но в течение многих поколений не может заметно измениться. Если он не меняется, то в глазах индивида, в масштабе личной жизни представляется столь же неизменным, как другие природные условия, и столь же “естественным”, как почва и климат родной страны. И опять надо опасаться модернизации. Египтянин не был “почвенником”, потому что слово это обозначает *реактивную* установку, сопротивление воздействиям, сталкивающим человека с родной ему почвы; если угодно, он сам был частицей почвы, на которой росла египетская культура. Традиционная культура во многом напоминает колонию “государственных насекомых”, пчелиный улей или муравейник; идеал *муравейника*, приписанный Достоевским либералам и социалистам, в действительности был в далёком прошлом. Платон, гораздо лучше понимавший традиционное общество, изображал свою утопию как возвращение к идеалу архаического полиса, вопреки разрушительной деятельности реформаторов и демократов. Мы увидим в дальнейшем, какие явления может вызвать слишком радикальное разрушение общественной структуры. Эти явления и в самом деле нивелируют человеческую личность, низводя её к некоторому общему уровню, но не создают из таких стандартизованных личностей прочной, воспро-

изводящейся системы. Возникает не муравейник, а скопище муравьёв, *не способных* к общественной жизни. Но мы будем ещё иметь случай поговорить о Достоевском и других модных в наше время пророках.

Тип человека, созданный традиционным обществом, был гораздо более зависим от этого общества, чем мы можем себе это представить. Изгнание из родной страны было наказанием, почти равным смертной казни. Муравей, изъятый из муравейника, при любых условиях питания и среды может прожить несколько часов. Труднее представить себе, что чувствовал древний грек, подвергнутый остракизму. Особенно трудно представить себе эти чувства в обществе, где некоторые из наиболее видных граждан усердно хлопочут о собственном изгнании. Нам трудно понять, почему Данте так сильно переживал свой вынужденный переезд из Флоренции в другой итальянский город. Наши чувства гораздо легче переходят с одного предмета на другой. Мы легко покидаем родную страну, заявляя свою приверженность к человечеству в целом. И тот, кто не умеет любить одну женщину, утешается в наше время тем, что любит женщин вообще.

2. Индивид в традиционном обществе и механизмы формирования личности

Принадлежность к традиционному обществу представляла, таким образом, слабость индивида, но также и его величайшую силу. Он терял жизненную силу, едва лишившись связи со своим племенем, городом или государством; но пока он был среди своих, он был силён. Он не знал одиночества и не искал его. Совместные упражнения на палестрах, общая трапеза, поддержка соплеменников в кровавой резне, шум народного собрания, — всё это было естественной средой жизни, вне которой не было жизни вообще. Можно было любить или ненавидеть других афинян, но нельзя было перестать быть гражданином Афин. И надо было им родиться. Гражданство было не документом, а кровью.

Очень трудно понять, что означала в традиционном обществе человеческая личность, и была ли там вообще личность в нынешнем смысле этого слова (точнее, в смысле XIX века, до сих пор ещё нам понятного). *Автономную* личность можно определить как человека, самостоятельно вырабатывающего свою систему ценностей. Иначе говоря, это человек, самостоятельно решающий, какие поступки надо считать хорошими и плохими, и каковы должны быть

цели отдельного человека и общества в целом. Конечно, ценности не рождаются из ничего одним только усилием мысли: они строятся из материалов унаследованной культуры.

Важнейшие ценности культуры усваиваются подсознательно в возрасте до 5–6 лет. Это значит, что у ребёнка, в непрерывном общении со взрослыми и, прежде всего, с родителями или заменяющими их лицами, вырабатываются некоторые способы поведения, сохраняющиеся в течение всей жизни и лежащие в основе всего дальнейшего развития индивида, но не сознаваемые им и часто даже противоречащие его сознательному представлению о себе. Эти способы поведения складываются на основе врождённых инстинктов под действием "родительских" запретов и ограничений. Основной биологический механизм, стимулирующий поведение человека, предшествует человеческому сознанию как в истории вида, так и в истории отдельного человека; он состоит из инстинктов, в значительной степени общих человеку и другим высшим животным, и называется, по Фрейду, Ид (что по-латыни означает "Оно"). Ид не зависит от культуры, а получается человеком при рождении.

Родительские запреты, ограничивающие и направляющие проявления Ид, образуют другой механизм, называемый "подсознательной совестью", или Суперэго ("Сверх-я"). В основе его лежат образы осуждающих и наказывающих родителей, или других воспитателей, сформировавших подсознание ребёнка. Для фактического (не сознаваемого индивидом) состава Суперэго существенны не словесные поучения родителей, а их подсознательные мотивы (на повседневном языке — их "подлинная сущность", обычно не сознаваемая обучающим родителем). Таким образом, основы культуры передаются незаметно для обеих сторон, ниже порога их сознания.

Несколько позже формируется так называемый "Идеал Эго", представление индивида о том, каким он хотел бы быть. Этот механизм, больше связанный с сознанием, моделируется по образу каких-либо действительно существовавших людей, или по описаниям вымышленных героев.

Наконец, одновременно с первыми родительскими запретами у ребёнка начинает строиться механизм обработки информации и оценки ситуаций; этот механизм, в значительной мере, но не вполне и не всегда действующий сознательно, называется "Эго" ("Я"). Эго — это "рассудок" индивида, его "вычислительная машина". Эго не стимулирует индивида, как это делает Ид, не определяет его отдалённых целей, как это делает Идеал Эго. Задача Эго — подыскание подходящих средств для достижения заданной ему це-

ли. В этом смысле роль Эго в жизни индивида можно сравнить с ролью науки и техники в жизни общества.

Таковы объективные, всесторонне подтверждённые опытом механизмы формирования человеческой личности. Поскольку мы стремимся к разумному пониманию человека и общества и принимаем лишь такие ценности, которые не унижают человеческий разум, мы не можем эти механизмы игнорировать. Кто не заботится о логической связности своего сознания и предпочитает мифы, тому незачем читать наши рассуждения. Он найдёт психическое равновесие в какой-нибудь религиозной доктрине. Если пруд превратился в зловонное болото, или общество стало мещанским, он скажет, что всё в воле божьей, пути господни неисповедимы, а человек всегда образ и подобие божье. И рекомендует вам каяться и молиться. Как мы увидим дальше, позиция такого человека — *в наше время* — безусловно должна быть признана мещанской. Итак, примерно к шести годам откладывается тот основной материал, из которого человек должен строить свои ценности. Простые родительские уроки и, прежде всего, уроки родительского примера усваиваются навсегда и не могут быть отброшены. Горе тому, кто слишком уверует в какую-нибудь хитроумную систему и вздумает игнорировать запечатлённые в нём уроки детства! Его личность от этого развалится, кто бы он ни был — жалкий честолюбец или благородный энтузиаст, студент Раскольников или террорист Кравчинский.

Материальные носители всех этих систем поведения нам пока неизвестны, точно так же, как биологам долго были неизвестны материальные носители генов. Мы знаем о них по их видимым проявлениям. Может быть, запечатление раннего детства сохраняется в виде устойчивых цепочек связанных между собой нейронов. Во всяком случае, этот неизменный запас подсознательных правил поведения содержит лишь очень общие, элементарные вещи: сдержанность или экспансивность, скупость или щедрость, пониженную или повышенную способность к эмпатии (состраданию, сочувствию другому человеку). От первых уроков детства зависит, легко ли человек примет доктрину, требующую экспроприации имущества у слишком богатых людей, или уничтожения людей нестандартного вида или образа мыслей.

Очень важно понять, что этот *первичный материал* ещё не составляет системы ценностей индивида, а относится к ней, как материал вообще относится к готовому изделию. Что́ человек изготовит себе из этого материала, в значительной мере зависит от работы его

сознания, комбинирующего или толкующего тем или иным образом свой первичный материал. Конечно, такая работа производится в определённых общественных условиях, и *может быть* не менее жёстко кондиционированной, чем выработка первичного материала. В традиционном обществе развитие сознания ограничено рамками доступной информации и подавляющим воздействием "общего согласия", незыблемостью основных идей унаследованной культуры. Понятно, что в этих условиях не только первичный материал, но и вся система ценностей зрелого индивида оказывается предельно стандартизованной, а возможные личные отношения не имеют, для данной культуры, принципиального значения.

Условия, в которых этот процесс кондиционирования личности может расстроиться, нетрудно себе представить. Для этого должно произойти достаточно быстрое, по сравнению с человеческой жизнью, расширение доступной информации, и должен ослабеть нажим "общего согласия". Эти процессы тесно связаны между собой. Внезапное проникновение новых идей, обычно сопровождаемое новой техникой производства или демонстрацией физического могущества, расшатывает захваченное врасплох традиционное общество, лишает его уверенности в себе и подрывает "общее согласие"; так обстояло дело с цивилизациями Африки и Америки при вторжении европейцев. Обратно, общество, разделённое по отношению к основным принципам общественной жизни, не оказывает столь сильного сопротивления проникновению новых идей.

Главный интерес представляет не вторжение новых идей извне, подобное *распространению* инфекции; в самом деле, до этого где-то должен был возникнуть самый вирус, а это могло произойти лишь *внутри* некоторой культуры. Идеи, столь разрушительные для африканских и американских традиционных культур, не были принесены в Европу какими-нибудь пришельцами, а были выработаны внутри европейской культуры; если уж выражаться точнее, во взаимодействии индоевропейской "военно-демократической" культуры с семитской "теократической", соединившихся в христианской культуре. Однако, самое взаимодействие культур ещё ничего здесь не объясняет. Культуры и до того в огромном числе случаев взаимодействовали, смешивались и, после некоторого периода релаксации, порождали столь же неподвижную традиционную культуру. Византийская культура была, наряду с европейской, детищем столкновения двух разнородных культур, указанных выше; она лишена была, однако, всяких стимулов для возникновения новых идей и, после установления равновесия, превратилась в традици-

онное общество, не менее застойное, чем Египет.

Культуру, которую мы до сих пор называли “традиционной”, можно было бы назвать “*статической*”; ей чужда идея развития, *прогресса*, и мы слишком часто забываем, насколько эта идея исторически нова. Это не значит, что традиционное общество вовсе не менялось; статический характер его состоял в том, что изменение это было слишком медленно, чтобы человек мог его *осознать*. В древнем Египте могло произойти внутреннее расстройство или вторжение кочевников, но традиционное сознание не способно было истолковать такие события иначе, как прискорбные нарушения единственно правильного порядка вещей, и объяснить их чем-нибудь другим, кроме гнева богов. Таким образом, даже быстрые, соизмеримые с человеческой жизнью внешние изменения не изменяют статической установки человеческого сознания, если это сознание не поражено *новой идеей*. Гиксосы или персы представляли собой новую силу, но не новую идею. Поэтому древний Египет, постепенно разрушаясь, оставался до конца древним Египтом, подобно тому, как разъеденный водой и ветром гранитный утёс до конца остаётся гранитом. Статическая культура не способна создать автономного человека.

3. Динамическая культура, история ее формирования

Динамическая культура возникла в истории только один раз. Это столь же редкое и исключительное событие, как возникновение жизни или появление человека. Самая неповторимость, единственность этого события должна была привлечь к нему внимание всякого мыслящего человека. Но противники “прогресса”, составляющие теперь подавляющее большинство нашей интеллигенции, совсем не мыслят. Им чуждо и чувство юмора, потому что они не сознают смехотворность своей позиции. В самом деле, возражать против развития человечества так же смешно, как против возникновения жизни или человека. Но трудно отрицать, что живое существо для нас, людей, несравненно *интереснее* камня, а человек интереснее обезьяны. Точно так же, общество, способное меняться, а не просто воспроизводить без конца своё египетское или византийское благолепие, для нас, людей XX века, несравненно интереснее и важнее, — если только мы ещё способны мыслить. Люди, напуганные сложностью жизни, часто завидовали прочности и долговечности камня. Многие бедствия, сопутствующие человеческой жизни, с камнем никак приключиться не могут. Позиция отрицания про-

гресса или враждебности прогрессу не тождественна религиозности. Умные религиозные мыслители, Бердяев и Швейцер, признавали и ценили прогресс. Позиция, о которой говорилось выше, является частью *мещанской философии.* Но пока мы продолжим *историю* мещанства: как мы увидим, серьёзные причины вынуждают нас начать её издалека.

Что же такое динамическая культура? Это культура, *сознающая себя меняющейся*, и *стремящаяся меняться в желательном для неё направлении.* Следовательно, такая культура ставит себе *цели*, отличные от простого самосохранения: она стремится, в некотором смысле, "стать лучше". И поскольку человек, по справедливому суждению Аристотеля, животное общественное, то нельзя себе представить человека, стремящегося стать лучше, в обществе, обречённом на неподвижность. Точнее, можно себе представить лишь некий условный идеал гражданской доблести, образцового воина Дорифора или передовика соревнования, до которого надо подтянуть подданных статического государства. Но уже идеал подражания Христу несовместим с вечной прокажённостью общественной жизни, и люди, отвергающие всякое общественное развитие, не должны были бы ссылаться на того, кто принёс людям не мир, а меч: даже если это меч духовный. У верующих остаётся, конечно, возможность признавать лишь те изменения, которые от бога, и отвергать те, которые от человеческого *самоволия.* А различать их может, например, церковь, мудрость которой превосходит человеческий разум; таким образом, желательные направления развития общества будут нам указывать священники. Бо́льшую часть людей, отвергающих прогресс, составляют у нас, однако, неверующие; они не веруют ни в божественный промысел, ни в добрую волю человека. Итак, динамическое общество намечает себе некоторые цели, стремясь "стать лучше". И, прежде всего, оно сознает себя как меняющееся общество, считая изменение общества не только допустимым, но и желательным. Этим оно резко отличается от традиционных обществ, известных нам из истории. Каждое такое общество считало себя наилучшим, своих правителей потомками богов, а изменение общественного строя рассматривало как нарушение божественного порядка.

Неустойчивость государственного строя могла возникнуть, когда какие-либо причины мешали образованию крупных централизованных государств, достаточно изолированных друг от друга. Существует теория, объясняющая возникновение многочисленных греческих городов-государств географическим рельефом страны: го-

сударства возникали в долинах и отделялись друг от друга горными хребтами. Вряд ли это объяснение применимо к городам-государствам Этрурии, одним из которых был вначале древний Рим, или к столь же мелким государствам финикиян. Мы знаем, во всяком случае, что вдоль берегов Средиземного моря в первой половине первого тысячелетия до нашей эры образовалось множество независимых государств-городов. Жители их не были, подобно египтянам или китайцам, автохтонным населением своей территории или владельцами ее с незапамятных времён; они овладели этой землёй посредством захвата, в период, когда государства у них ещё не сложились. Малочисленность населения, связь с морской торговлей, раннее развитие ремёсел, географическая разобщённость, — все эти обстоятельства приводились для объяснения, почему во многих из этих городов-государств возникла республиканская форма правления. Психология гражданина такого города была существенно отлична от психологии подданного египетского фараона или персидского царя. Прежде всего, у всех граждан, несмотря на деление по происхождению и богатству, было ощущение равенства и полноправия в решении общественных дел. И хотя идея сознательного совершенствования общества была им чужда, они не столь безусловно чтили установившийся порядок и способны были реформировать свои учреждения. Наконец, самое разнообразие этих учреждений в разных городах-государствах, нередко близких соседях, приучило людей к мысли о многочисленных возможных вариантах общественного устройства и очень рано вызвало споры о преимуществах этих устройств. Мы знаем всё это о греческих государствах; внутренняя жизнь их известна нам весьма подробно, в отличие от финикийских и этрусских.

Однако, древнегреческая культура всегда оставалась *статической*, так как ей чужда была идея сознательного изменения общественной жизни. При всём разнообразии условий и политических механизмов, греки смотрели на человеческие дела фаталистически. В прошлом был Золотой век и удивительные события, описанные в мифах; но в будущем греческий ум ничего не предвидел, кроме циклического повторения известных обстоятельств и учреждений. Греческий историк Полибий, писавший довольно поздно, уже во времена римского господства, составил даже схему чередования государственных устройств: монархия сменяется тиранией, тирания превращается в аристократию, аристократия в олигархию, олигархия в демократию, затем снова наступает монархия, и так далее, до бесконечности. Здесь важно не самое содержание схемы Полибия,

довольно проницательно схватывавшей существенные черты жизни греческого полиса; важно мировоззрение, способ мышления, стоявший за этой схемой. Ницше, вообразивший, будто он додумался до идеи вечного повторения, мог не знать или забыть, что говорили об этом древние индийцы; но уж своих греков он должен был знать. Восторженность, с которой он поздравляет себя с этим открытием, надо считать уже признаком болезни.

Древний Рим из маленького города-государства превратился в мировую державу, как это могло случиться с Афинами и несколько раньше произошло с Карфагеном. Существует теория, по которой численность населения республики должна быть небольшой, а для крупного государства единственно возможным способом правления является монархия. В древности это правило как будто соблюдалось, и вот, Рим из республики превратился в империю. Вначале эта империя сохраняла республиканские формы, претендуя лишь на улучшение деятельности республиканских учреждений; под конец она приняла характер почти восточной деспотии. Ни на одном этапе этой долгой истории римлянин не сознавал себя, однако, участником исторического процесса и, тем более, сознательным деятелем этого процесса. Напротив, всё, что делалось в Риме, освящалось авторитетом прошлого, прецедентами, обычаями, гаданиями, короче говоря, это было медленное сползание по историческому склону, а не движение в выбранном направлении. Даже утопия древних была обращена в прошлое, как это видно на примере Платона.

Иудео-христианская культура, захватившая западный мир, принесла с собой мировоззрение, чуждое классической древности. Еврейские пророки предсказывали возвращение земного рая; христианство восприняло эти пророчества и обещало человечеству идеальное будущее, тысячелетнее царство праведников в этом мире. Отсюда — из христианского хилиазма — и возник социализм[1]. Однако, эти отдалённые последствия, важные для нашей темы, не могли проявиться до тех пор, пока сознание человека было сковано религией. В самом деле, пророчества, о которых только что шла речь, могли осуществиться лишь по воле божьей и в сроки, предначертанные божественным провидением. Роль человека сводилась к тому, чтобы повиноваться божественному плану, в котором ему — или его потомкам — отводилась роль объекта, а не субъекта. “Мечта о луч-

[1]Единственным автором, который этого не знает, является И. Р. Шафаревич, неосторожно предпринявший браконьерскую экспедицию в чужие ему дебри истории.

шем будущем”, таким образом, родилась, но вряд ли в первый раз: во многих предшествовавших религиях тоже можно обнаружить предсказания, что Золотой век когда-нибудь вернётся, по воле того или иного бога. Это замечание вовсе не означает недооценки христианского хилиазма, действовавшего именно в той культуре, судьба которой нас здесь интересует.

Взаимодействие индоевропейской (греко-римской) и ближневосточной (иудейской) культур привело, после нескольких столетий опустошительных войн и разрушений, к новой культуре, средневековой христианской, которую мы назовём, для краткости, средневековой. Мир средневекового человека был достаточно чётко определён, чтобы можно было считать эту культуру “традиционной”, или “статической”. Это был “христианский мир”, на краях которого помещались “язычники” или “неверные”, то есть ненастоящие люди. Несмотря на различия между народностями, образовавшими впоследствии нации и государства Европы, “христианский мир” составлял, в глазах средневекового человека, устойчивое единство. Высшим духовным авторитетом его был папа, высшей светской властью, по крайней мере теоретически, считался германский император, носивший тот же титул, что и владыки древнего Рима, и основывавший на этом свой авторитет. Такая система не нуждалась, по-видимому, в усовершенствовании и соответствовала божественному плану; существование её во времени было ограничено лишь Страшным судом. Сознание средневекового человека было жёстко кондиционировано воспитанием и принимало в качестве неоспоримых истин ряд вещей, которые нам кажутся причудливыми и фантастическими. Вера в бессмертие души, в троицу, в заступничество богоматери и святых, в магическую силу реликвий; верность феодальному кодексу чести, система фикций, связанных с вассальными отношениями; прикрепление человека к определённому месту в общественной иерархии и неспособность мыслить себя вне этих рамок, доходившая до зоологической разобщённости “благородных” и рабов, — все эти черты средневековой культуры оставались “статическими” в течение почти тысячи лет. Знаменитый историк Буркхарт считал, что выделение самостоятельной личности из племенной и религиозной общности следует отнести лишь к эпохе Возрождения.

4. Философские ереси

Конечно, дело обстояло не так просто. Философы очень рано стали сомневаться в общепринятых понятиях: можно было бы даже

определить философию как искусство во всём сомневаться. Сократ сделал своей специальностью социологию и психологию; он исследовал человека и отношения между людьми. Смелость его критики стоила ему жизни; но вряд ли представления Сократа о разумном и справедливом выходили за пределы *исправления* обычаев и способов правления Афин. Во всяком случае, идея общественного развития чужда тому Сократу, каким изобразил нам его ученик, ретроградный мечтатель Платон.

Гераклит, для которого "всё течёт, всё изменяется", был консерватором и сторонником олигархического правления. Перикл был искренним демократом и, возможно, мечтал навязать афинскую систему всем грекам. В избранном обществе, собиравшемся в доме Перикла (Геродот, Фидий, Протагор, Анаксагор и Аспазия, обвинённая в богохульстве!), могли вестись куда более вольные речи, нежели сохранились в дошедшей до нас традиции. Говорилось ли там, что персы рано или поздно примут демократическую систему, и что надо бороться за освобождение рабов? Нам кажется, что идеи этого рода просто не могли тогда возникнуть. Вероятно, в кружке Перикла говорили, что демократия — наилучшая система *для греков*, что отсталые спартанцы этого не понимают, а вот персы по природе своей нуждаются в деспотическом правлении; что раб, какого бы он ни был происхождения, обладает всеми свойствами человека, хотя и ослабленными рабским состоянием, но рабство неизбежно по законам природы.

Марк Аврелий, философ на троне, имел представление о совершенствовании отдельного человека, но не был радикальным реформатором государства. Во времена Антонинов были, впрочем, проведены важные юридические реформы. Но дело не выходило за пределы исправления наболевших злоупотреблений. В отношении природы человека Марк был скептик, как и все стоики. Стоик принимает *существующую* систему ценностей, из равнодушия к жизни. Стоицизм вообще — философия упадка. Вера в развитие и улучшение человеческого рода предполагает героический энтузиазм. Возможно, люди круга Перикла были самыми автономными людьми древности. Когда мы читаем речь Перикла о государственном устройстве Афин, этот первый манифест демократии, трудно отделаться от впечатления, что здесь начинается сознательное отношение к общественной жизни. И начинается оно без ложных иллюзий! Все народы, говорит Перикл, были свидетелями нашей славы, причинённого нами *добра и зла.* Ибо нельзя совершать великое, не причиняя зла.

Утопил же Христос стадо свиней, которые, возможно, не были худшими свиньями в Иудее.

5. Идея прогресса

Общество должно было оставаться статическим до тех пор, пока человек воспринимал внешние условия своего существования как данные ему раз навсегда и не подлежащие изменению по воле человека.

Бессилие человека перед природой обусловило его бессилие перед стихией общественной жизни. В этом смысле глубокая истина содержится в словах Гольбаха, которыми начинается его главный труд: "Человек несчастен потому, что не знает природы". Идея о том, что общественный строй представляет собой не божественный первично установленный порядок, а просто механизм, служащий потребностям человека, могла возникнуть лишь тогда, когда человек почувствовал себя достаточно *сильным.* Рецидивы преклонения перед стихией истории, поистине мазохистские для современного сознания, случаются и до сих пор, когда серьёзная историческая неудача подрывает веру в человека. Бердяев, проницательный знаток истории, приветствовал и поддерживал такую очевидную гадость, как Первая мировая война, и его не понимающий истории эпигон, известный русский писатель, тоже полагал, что все русские люди должны были не жалеть своей крови для успеха этого предприятия. В чём же тут дело? Почему умнейший философ Бердяев не видит слишком человеческих и достаточно грязных причин, вызвавших эту убийственную для культуры бойню цивилизованных наций Европы? Дело в том, что для Бердяева — и его не понимающих истории эпигонов — войны вовсе не являются "продолжением политики другими средствами", делом человеческой корысти, страха или глупости, а особенными, из ряда вон выходящими событиями, ниспосланными богом для целей, ведомых ему одному. Как всегда, человек пытается проникнуть в тайны божественного промысла, и вот Бердяев создаёт фантастические построения, в которых православному богу приписывается дарвинистская борьба между расами, ницшеанский культ силы и бредовая геополитика. Но главное — фатализм Бердяева по отношению к истории. Стоит какому-нибудь глупому кайзеру или царю затеять кровавую авантюру, и сразу же, вместе с попами, твёрдо знающими в каждом случае, на чьей стороне господь, это человеческое жертвоприношение приветствует какой-нибудь философ.

Но вернёмся к истории великой идеи. Трудно сказать, когда в истории европейской мысли возникла идея *прогресса.* Для Монтескьё история представляет лишь поле наблюдения, где можно видеть всевозможные образцы нравов, обычаев и способов правления; осторожный наблюдатель может сделать некоторые рекомендации, усмотрев в исторически сложившихся условиях своей страны аналогию с тем или иным известным из истории государственным организмом.

Всего несколько десятилетий отделяет от “Духа законов” “Общественный договор”, но насколько разительна перемена в мышлении, в самом подходе к общественной жизни! Сравнение этих двух книг говорит явно не в пользу Руссо, с литературной, культурно-исторической и просто с человеческой точки зрения; неуклюжая, плохо написанная книга Руссо, в которой он доводит свой тезис до смехотворной крайности и как будто предвещает все несчастья, какие могут из него выйти, теперь читается как злая пародия на заключённую в ней идею. Вряд ли можно приписать эту идею самому Руссо. Она носилась в воздухе, и дух времени, как это часто бывает, выбрал для своего выражения неподходящий орган. Впрочем, так ли уж случайно идея общественного договора появилась в этом примитивном, неуклюжем виде? Нет ли закономерности в том, что первый паровоз был не так красив, как лошадь, и даже двигался с меньшей скоростью? Я намеренно прибегаю к этому рискованному сравнению, отдавая себе отчёт в том, как плохо паровоз представляет — и рекомендует современному читателю — какой бы то ни было респектабельный в его мнении прогресс. Но в своей области паровоз *был* прогрессом, и последовательно отрицать это может лишь тот, кто до сих пор путешествует в карете.

Когда несколько позже американцы принялись составлять конституцию Соединённых Штатов, решающий шаг был уже сделан. Отцы конституции не были мечтателями вроде Руссо, а практическими деятелями и учениками Монтескьё. Но они уже в значительной мере избавились от исторического фатализма, хотя их смущало искусственное учреждение республики на необъятной территории, где исторические примеры дозволяли только монархию восточного типа. С каким трудом они избавились от преклонения перед историей! Как старались они следовать шаблонам истории, и как боялись ее творить! Но то, что они создали, не имело примеров в прошлом, и держится уже двести лет.

Американская революция открыла эру писанных конституций. Идея творимой истории, направляемой сознательными усилиями

людей к лучшему будущему — иначе говоря, идея прогресса — господствовала в Западном мире двести лет. Быстрое изменение западного общества объясняется не только развитием средств производства, как полагают марксисты, но и психологической установкой, считавшей такое развитие желательным и неизбежным. В наше время идея прогресса не вызывает прежнего энтузиазма. Человек, потерявший веру в свои силы, ищет себе в истории тихую пристань и придумывает оправдание для такого образа мыслей. Можно ссылаться на ограниченность земных ресурсов, можно вернуться к идее вечного повторения. Хорошо было бы снова уверовать в бога, сохранив при этом не только физический, но и духовный *комфорт.* В общем, может сложиться впечатление, что эпоха прогресса близится к концу.

Есть, однако, серьёзные причины, по которым развитие человечества должно продолжаться. Главная из них состоит в том, что возврата к прошлому нет. Для того, чтобы *выжить*, человечество должно развиваться, и притом достаточно радикально. Но это уже предмет другого разговора.

6. Христианские ереси и появление атеистов

Чтобы изменилось отношение человека к общественному миру, должно было измениться его отношение к миру вообще. Он должен был поверить в себя. Вся христианская традиция была против такой веры в себя. Христианское смирение означало не только признание собственных слабостей и грехов, но и, в известном смысле, их увековечение. Человек омрачён первородным грехом, он не может не грешить, не может не заблуждаться. Первородный грех лишил его не только физической, но и духовной силы. Он не способен видеть истину, принимать правильные решения без помощи свыше. Он нуждается в руководстве, и не только в руководстве священного писания, но и в прямом руководстве учреждения, хранящего священное предание — церкви. Нет христианина вне церкви, всякий, кто вне церкви — еретик. Французский епископ Боссюэ предложил определение этого понятия: “Еретик — тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением.” Это вовсе не пародия какого-нибудь безбожника, а точное выражение церковной доктрины.

История ересей чрезвычайно поучительна. Статический характер общества и мышления вовсе не означает, что в таком обществе нет отклоняющихся, “диссидентов”. Взгляды людей в условиях тра-

диционного общества кондиционируются вокруг некоторого "среднего значения", хотя и с неизбежным "разбросом". Культура статична в том смысле, что "среднее значение" меняется медленно по сравнению с человеческой жизнью. Отклонения человеческого типа от среднего значения, выработанного в статической культуре, и есть ереси. История христианских ересей нам лучше всего известна, но то, что мы знаем об индийских и магометанских, нисколько не меняет общей картины. Ереси приходят и уходят, а культура остаётся неизменной. И слова епископа Боссюэ выражают отношение официального нормативного сознания традиционной культуры ко всевозможным отклонениям: отношение это безусловно отрицательно. В XVII веке вовсе не считалось похвальным и желательным доверять своему разуму и руководствоваться собственным мнением.

Реформация, конечно, расшатала церковную систему, подготовив появление автономного мышления. Но люди реформации не обладали ещё достаточной свободой мышления, чтобы поставить под сомнение всю религиозную доктрину в целом, не говоря уже о всей системе общественной жизни. Много говорилось о том, что протестантизм принёс с собой свободное исследование, во всяком случае, в области религии, и непосредственную духовную связь верующего с богом. Несомненно, такие формулировки представляют собой недопустимую модернизацию. Реформация казалась её деятелям *возвращением* к первоначальным истинам христианского учения, восстановлением прошлого, а не путём в будущее. Что же касается светских аспектов реформации, то мышление Лютера не шло дальше пресмыкательства перед князьями. Очень скоро установилась протестантская догма, уязвимость которой — с точки зрения освобождения человеческой мысли — состояла в её беспринципности и циничном приспособлении к обстоятельствам: "Чьё правление, того и религия". Это значило, что каждый немецкий князь сохранял за собой право принудить своих подданных к той религии, которую он считал для себя удобной. Боссюэ, со своей католической точки зрения, считал эти разветвления протестантских учений доказательством их ложности, поскольку бог позаботился о том, чтобы ереси пожирали друг друга.

Решающим фактом, свидетельствующим о рождении автономного человека, было появление *атеистов*. Теперь, когда общее неверие расшатывает последние устои европейской культуры, мы уже не способны удивляться этому явлению, как удивлялись наши предки. Но философия состоит, между прочим, в способности удивляться тому, что всем кажется простым и понятным. Нельзя себе предста-

вить большего разрыва с прошлым, чем отрицание бытия божия. Смелость такого шага не сравнима ни с чем, на что решалась прежде человеческая мысль. Это не было изобретением, рождающимся в голове одного человека: изобретение внезапно и представляет прорыв в будущее. Это было мучительное расставание с прошлым: старое мышление отдиралось кусками, как старая кожа, прикрывающая зажившую рану. И длилось это несколько поколений. Не было человека, придумавшего безбожие: всё это вышло постепенно, в течение нескольких поколений, и нельзя сказать, что вот этот человек ещё вполне веровал в бога, а тот уже вовсе не веровал. Эпоха Возрождения не знала настоящего атеизма. Люди Возрождения были часто богохульники, но в трудную минуту всегда возвращались к суевериям своего детства. Интересны в этом смысле дневники Леонардо. У этого человека, исследовавшего всё на свете и не верившего никаким авторитетам, мы рассчитываем найти последовательное безбожие. Оказывается, до такой смелости Леонардо не дошёл. Даже в записях, которые он вёл для себя, он не способен оборвать пуповину, связывающую его с религией. Религия его вялая и бледная, истончённая до бессилия, и Леонардо как раз в этом бессилен: в нём нет глубины духа, толкающей человека к "борьбе с проклятыми вопросами". Тайна Леонардо в том, что у него была слабая душа; но он был слабодушный христианин.

Трудно сказать, когда появились первые *настоящие* атеисты, но это случилось в XVII веке, в ходе развития ересей, после Реформации всё дальше отходивших от догмы. В XVIII веке безбожие укрепилось и из дерзости отдельных умов превратилось в доктрину. Родиной атеизма как последовательной доктрины была Англия, и это было, как мы скоро увидим, вовсе не случайно. Но английские атеисты не решились сделать последний шаг, сохраняя фикцию непознаваемого для людей, отставленного от дел и, по существу, излишнего бога; они осторожно называли себя "агностиками".

Всё до конца сказали французы, принявшие аргументацию английских агностиков и отбросившие их осторожность. Около 1770 года во Франции модно было смеяться над всеми божественными предметами и изображать религию как выдумку мошенников, используемую другими мошенниками для эксплуатации простаков; эта система взглядов называлась "Просвещением".

Как мы уже говорили, автономное мышление может родиться лишь при определённых условиях: надо, чтобы в общество внезапно (в историческом смысле) проникли новые идеи, и чтобы ослабело "общее согласие", кондиционирующее человеческую личность. Ре-

формация подготовила почву для освобождения личности, подорвав единство христианской доктрины и авторитет церкви, поддерживавшей это единство. “Общее согласие” в религиозно разобщённой Европе давило не столь сильно, как в средневековой, где все грамотные люди были монахи, и все монахи повиновались папской курии. Миряне начали читать библию, что у католиков не поощрялось, а в Средние века и вовсе было им запрещено. Возможность различного толкования священных книг подготовила достаточно разнородную культурную среду, где индивид оказывался в поле действия многих сил, и где согласие с одним учением было несогласием с другим, столь же реально существующим перед богом и людьми. Труднейшее препятствие для самостоятельного мышления — подумать что-нибудь, чего ни один человек не думает. Психологи много писали о “суггестивном”, подсказывающем давлении общественного сознания. И вот, это сознание развалилось на отдельные секты, а католицизм стал просто самой многочисленной из этих сект. Последствия такого положения вещей были вовсе не так благоприятны для этой старейшей секты, как представлял себе епископ Боссюэ.

Но сама по себе реформация не составляла ещё той новой, радикальной идеи, которая могла бы вызвать к жизни независимую человеческую личность. Реформация, как мы уже говорили, искала свои идеалы в прошлом и быстро превращалась в догму; “свобода исследования” в вопросах религии существовала скорее у профессоров богословия XIX века, чем у современников Лютера и Кальвина, которых за слишком свободное исследование могли просто сжечь. В XVII веке католики и протестанты равным образом прибегали к этому аргументу. Более холодные доводы требовали иного умонастроения и возникли на иной почве.

7. Наука и её роль в создании автономной личности

Есть сила, действующая в человеческом обществе и особенно недооцениваемая в наше время. Эта сила — человеческий разум. Во избежание недоразумений, мы будем понимать это слово в узком и ограниченном смысле — как способность человека к сознательному исследованию окружающей его среды и самого себя. Конечно, такое исследование, как всякая деятельность человека, имеет свои стимулы в подсознании, а решающий этап его связан с так называемой интуицией и также происходит в подсознании. Но постановка вопроса и окончательный результат допускают отчётливую сознательную формулировку. Иначе говоря, исследователь ставит себе

определённый вопрос и даёт на него, в случае успешного исследования, определённый ответ. Слово "определённый" означает здесь "чётко формулируемый сознанием исследователя"; но такая формулировка, даже возникающая без общения с другими людьми, имеет непременно *словесную* форму и, следовательно, может быть сообщена и однозначно понята другими людьми. Иначе говоря, "определённый" означает здесь, по существу, то же, что "объективный".

Есть ещё одно слово, равнозначное этим двум в рассматриваемой ситуации: слово "принудительный". Исследование, в том объективном смысле, как мы его описали, обладает *принудительной силой* не только для одного исследователя, но и для любого "компетентного" человека, то есть, человека, способного проследить за всей последовательностью экспериментальных и логических операций, ведущих к предлагаемому результату. Конечно, здесь можно было бы усомниться, какого человека следует признать "компетентным" в той или иной ситуации; обычно компетентность можно трактовать попросту как понимание, о чём идёт речь, и некомпетентность, как правило, не оспаривается при достаточно определённой формулировке утверждений. Мы не будем дальше углубляться в вопросы гносеологии; исследование, результаты которого принудительны для всех, кто их понимает, мы назовём *наукой*.

Таким образом, мы ограничиваем здесь понятие науки, отделяя от него другие виды деятельности, имеющие существенно иной характер, или ещё не развившиеся до объективного знания. Так называемые "гуманитарные науки" представляют, с точки зрения принятой нами терминологии, сложный конгломерат, состоящий из простых описаний, моральных оценок и вкраплённых в эту ткань научных выводов. В историографии, например, может быть вполне научный фрагмент, устанавливающий дату какого-нибудь сражения, и рядом с ним сентиментальная оценка, вроде известной греческой эпиграммы на разрушение Карфагена: "Худшие люди над лучшими здесь одержали победу".

Так называемые "описательные науки" *могут* быть науками в полном смысле этого слова, даже если "компетентность" требует специального опыта, с трудом описываемого словесно. Очень трудно определить, чем собака отличается от кошки, так, чтобы по этому определению их могла отличить вычислительная машина; но это не мешает морфологии и систематике животных и растений быть объективными науками.

Таким образом, наука не обязательно должна быть "формализованной" или насыщенной математикой, как теперь модно говорить.

Наконец, такие науки как этика, эстетика и философия, должны быть просто переведены в другую категорию человеческих занятий. Их “постановки вопросов” и “результаты”, если вообще можно о таких вещах говорить, ни для кого не принудительны, как бы он ни был “компетентен”.

Всё сказанное вовсе не означает, что мы даём здесь “ненаучным” видам человеческой деятельности пренебрежительную оценку. Напротив, некоторые из них в наше время бесспорно важнее для людей, чем научные исследования. Например, мы отнюдь не презираем *всякую* философию. Мы предлагаем здесь вниманию читателя философию, содержащую очень мало принудительных результатов; всё, на что мы можем рассчитывать, это сделать нашу философию *убедительной*. Очевидно, в презрении к философии мы никак не виновны.

Итак, мы определили, насколько можно точно, понятие науки. В этом ограниченном смысле наука может произвести впечатление чисто технической, специализированной работы мозга, имеющей лишь косвенное отношение к самосознанию человека и его исторической судьбе. Если уж за наукой признаётся — в наше время — какая-нибудь историческая роль, то чисто разрушительная и безусловно вредная: учёные придумали ядерное оружие, телевидение и множество других вещей, нарушивших спокойствие человека. В наше время модно высказываться против науки. Мы не будем здесь касаться нынешней науки и её влияния на современную жизнь. По-видимому, современная публика нашла в науке удобного козла отпущения за свои грехи, и читатель уже не удивится, если мы — пока бездоказательно — назовём такую позицию мещанской.

Нас будет интересовать здесь роль науки в процессе освобождения человеческой мысли и в создании автономной личности, человека, занимающего самостоятельную позицию по отношению к миру. Можно ли представить себе, что *разум* играет столь важную роль в *психической жизни* человека? От занятий математикой, физикой или химией, конечно, могли произойти разные технические новшества; но каким образом эти занятия могли повлиять на общие установки человека по отношению к важнейшим вопросам его бытия? И если это могло случиться с каким-нибудь одержимым своей профессией учёным, то как могло это повлиять на чувства и представления больших человеческих масс, никогда не волновавшихся по поводу научных открытий? Марксисты охотно признают историческую роль науки, поскольку она питает идеями технику, а та создаёт новые средства производства. Всё это верно, но не имеет

прямого отношения к интересующему нас вопросу.

Нас интересует, прежде всего, влияние науки на тип человеческой личности. Влияние это возникло не сразу и несколько загадочно. Можно даже усомниться, нет ли здесь обратного процесса: сначала появился тип личности, склонной к трезвому исследованию окружающего мира, а потом уже наука. Систематическая наука в современном смысле начинается с Ньютона, впервые воздвигнувшего стройное здание математической физики, послужившее остовом всего естествознания и образцом научного изучения природы. Вряд ли какое-нибудь событие, не исключая открытия Америки, столь чётко отделяет Новое Время от средневековья, как "Математические начала натуральной философии" (1687). До этого научные открытия были изолированными прорывами в средневековом мышлении; после Ньютона началась непрерывная и планомерная работа построения научного мировоззрения. Не случайно ньютонианство (и агностицизм примерно в то же время) возникли в Англии, вступавшей тогда в промышленную революцию. Об этом было много написано, и влияние общественной среды на развитие науки можно подтвердить на обширном материале. Прежде чем перейти к обратному процессу, который нас главным образом интересует, мы сделаем только одно важное замечание.

Местом, где зародилась первая в истории *динамическая культура*, называемая теперь *западной*, или *европейской культурой*, была *Англия*, а временем её рождения был *XVII век*. Те, кто любит символические даты и яркие события, знаменующие приход новой эпохи, могут выбрать себе одно из событий английской истории, например, казнь Карла I (1649), подорвавшую почтение к королевской власти вообще. Раньше случалось, что королей свергали с престола и убивали. Но англичане первые решились *судить* своего короля, и осудили в его лице самую монархическую власть. Можно связать наступление новой эпохи с философией Локка, в которой человечество, казалось, впервые выздоровело от паранойи средневековья и прочно стало обеими ногами на почву здравого смысла.

Но революция, совершённая Ньютоном, была глубже.

8. Человек смертный и человек бессмертный

Люди, положившие начало систематической науке, несли в себе средневековое сознание. Коперник был деятельным и лояльным католическим священником, и нет причин сомневаться в его правоверии. Кеплер был полон химерических представлений своего ве-

ка. Книги его представляют причудливое нагромождение суеверий и фантастических построений, среди которых сверкают три закона движения небесных тел. Самый подход Кеплера к изучению природы был не эмпирический, не индуктивный, а пифагорейский. Чтобы найти закон планетных расстояний, он вписывал друг в друга правильные многогранники, лишь потому, что число их было равно числу известных ему планет. Что касается причины движения планет, то он попросту полагал, что их подталкивают ангелы. Чтобы правильно понять его время, вспомним, что ему пришлось спасать от костра свою мать, обвинённую в колдовстве, и зарабатывать себе на жизнь составлением гороскопов. И хотя Кеплер достаточно превосходит своих современников, чтобы смеяться над астрологией и не считать собственную мать ведьмой, он стоит ещё обеими ногами в средневековье. Можно сказать, что он только выглянул в Новое время и щурится от слишком яркого света.

Так же обстоит дело и с Ньютоном. Ньютон был не столь отъявленным вольнодумцем, как некоторые придворные кавалеры его времени. Сознание его было таким, каким могло быть сознание крестьянского сына, родившегося в середине XVII века. Это был век, когда самая революция могла совершаться лишь под видом христианского пиетизма. Ньютон не знает, как совместить открытые им законы механики с вездесущием божьим, и прибавляет ещё одну аксиому, примиряющую науку с религией: "Вездесущие божье не препятствует движению тел". Иначе говоря, планеты проходят через это вездесущие без трения. На старости Ньютон принимается исследовать библейскую хронологию и приходит к заключениям, не уступающим по химерической точности вычислениям профессиональных богословов. Напрасно видят в этом болезненную аберрацию великого ума. *Для нас* физика и хронология Ньютона выглядят несовместимыми; между тем, они легко совмещались в его сознании, ибо это сознание было ещё средневековым. Кстати, всё, что мы знаем об общественных взглядах Ньютона, свидетельствует о том, что сознание его и в этом отношении уступало вольнодумному духу его времени. Великий учёный сплошь и рядом — заурядный "мыслитель"; он просто виртуоз своего дела, своего рода атлет, обычно не более способный к постижению "*общих идей*", чем мускулистый парень, созданный фантазий Родена. Из творцов европейской науки человеком Нового времени был, может быть, один Галилей. Но причину этого надо искать не в его научных занятиях, а в том, что он завершал собой *итальянское* Возрождение и как человек продвинулся дальше Кеплера и Ньютона.

Может создаться впечатление, будто научные занятия никак не влияют на тип профессионального учёного, и тем более на тип среднего человека, далёкого от науки. Это впечатление неверно. Как и в случае первых безбожников, традиционное сознание меняется очень медленно, в течение нескольких поколений, и тип учёного, "верующего в науку", достигает своего завершения лишь в XIX веке. Важна *неотвратимость* этого процесса, его "принудительный" характер для человеческого сознания. Некоторые следствия такого перерождения человека вызывают изумление и заслуживают внимательного рассмотрения.

Дело в том, что причины и следствия здесь, как будто, удивительно несоизмеримы. Современный человек не может уверовать в бога, потому что это ему *смешно.* Учения мировых религий зародились в те времена, когда сознание человека было *наивным*, и были приспособлены к этому сознанию. За тысячу лет до рождества Христова, когда создавался Ветхий Завет, и через тысячу лет, когда создавались Евангелия, психика человека была совсем не такой, как теперь. Она легко вмещала противоречия, не сопоставляла разные стороны опыта и, не видя в мире иной закономерности, кроме капризной воли божества, ежеминутно ожидала *чуда.* Такой основной фон человеческого сознания и сопутствовавшая ему подсознательная установка делали человека *способным к религии.* Его потребность в небесном защитнике и покровителе, заменяющем отца, в очистительной силе молитвы, наконец, в надежде на лучшее будущее, хотя бы смещённое в потусторонний мир, — эта потребность могла удовлетворяться беспрепятственно, не вступая в противоречие с какой-либо установившейся структурой его сознания.

Иначе устроена психика нашего современника. Его сознание не наивно, оно скептично и привязано к доказуемым фактам. Не важно, что некоторые из этих фактов он принимает на веру: мало кто может объяснить, почему он верит в шарообразность Земли, и совсем уж редко можно встретить человека, понимающего природу атомной энергии. Важно, что человек нашего времени с детства кондиционируется таким образом, что *верит* всем утверждениям науки, и эта вера, разделяемая всеми окружающими, переходит в подсознательную установку по отношению к внешнему миру и самому себе; установка эта — назовём её, упрощённо, *реалистической* — представляет собой столь же неизбежный факт, каким была наивная, жаждавшая чуда установка современников Христа. Она поддерживается всей жизненной практикой современного человека, живуще-

го среди искусственных вещей и устраиваемых явлений, очевидным образом свидетельствующих о *всемогуществе* науки. Наука стала фетишем современного человека, неполноценно заменившим ему религию. И если ему на этом фоне предлагают архаические понятия старых мировых религий, он ощущает при этом то же, что вызывает обычно у человека резкий диссонанс, срыв в неуместную тональность, ребяческая выходка в серьёзном деле, — иначе говоря, ему смешно. С этим главным образом и связана религиозная импотенция современного человека. Мы ощущаем её не столь остро, как люди, впервые столкнувшиеся с этой проблемой. Мы уже не видим вокруг себя истинно верующих, то есть людей, способных к религиозному переживанию, а не религиозной болтовне; если видим, то в непрестижных группах населения, каких-нибудь старушек, которые сами по себе — с точки зрения нашего "реалистического" сознания — смешны.

Но есть более глубокие мотивы нашего неверия. Вернёмся к поколению людей, впервые потерявших религию. Это была страшная катастрофа, которую нам трудно себе представить. Мюссе оставил нам удивительное стихотворение, вопль отчаяния человека, у которого отняли бога; так как поэту и ребёнку всегда надо свалить на кого-нибудь вину, то виновным оказывается Вольтер:

> Оно упало на нас, это необъятное строение,
> Которое ты подрывал день и ночь своими ловкими руками!

Мировой порядок сменился хаосом:

> Теперь одна случайность ведёт во тьме
> Миры, пробудившиеся от иллюзий...

Поэт сознает своё неизлечимое неверие:

> Да будет дозволено облобызать пыль (распятия)
> Самому неверующему сыну этого века без веры,
> И плакать, о Христос, на этой холодной земле,
> Которая жила твоей смертью и умрёт без тебя!

Различие между верующим и неверующим человеком состоит, прежде всего, в том, что первый из них сознает себя *бессмертным духом*, для которого земная жизнь представляет лишь прелюдию к вечности; второй же уверен, что его не ждёт ничто, кроме хорошо известной ему перспективы старения и смерти. Различие между этими двумя психическими установками гораздо больше, чем между двумя родственными видами, которые могут отличаться каким-нибудь зубом или длиной хвоста. Можно без преувеличения ска-

зать, что здесь перед нами два разных вида: *человек смертный* и *человек бессмертный*. Легко понять, что их отношение к миру и самим себе должно быть не просто разным, а во многих отношениях противоположным.

Человек, вынужденный расстаться с религией, теряет, таким образом, не только небесного отца, защитника в трудные минуты жизни; он теряет своё *бессмертие*. Что же он обретает взамен? На первый взгляд кажется, что приобретение его ничтожно: это всего-навсего ощущение логической связности своих мыслей и поступков. Если отбросить давление "общего согласия" — а его не было у атеистов первого поколения — то мы сталкиваемся здесь с новым и величественным явлением. *Достоинство человеческого разума* становится в человеке могучей силой, которую он не хочет променять ни на какую систему самообмана. И человек становится смертным.

Сначала это происходит с добросовестным учёным, затем с образованным человеком вообще и, наконец, начинают действовать механизмы кондиционирования, распространяющие новую систему взглядов на всех. Идея завоёвывает мир и становится банальной.

9. Автономный человек и идея преобразования общества

Разрыв с религией означает отделение человека от племенной, национальной, государственной общности или, как сказал бы Ницше, от стада. Когда теряется небесный авторитет, не могут устоять земные; и совершенно справедливо клерикалы эпохи Просвещения предупреждали, что неверующий не может быть верноподданным своего короля. Это был точный и убийственный политический донос, которому тогдашние атеисты могли противопоставить одни уловки и софизмы. В действительности, атеизм даже не является необходимым условием общего свободомыслия; достаточно стать независимым в вопросах религии, порвав со всякой церковью. Самостоятельно ищущий бога — тоже плохой подданный своего короля.

Возникает тип человека, предоставленного его собственным силам, живущего в обществе, но не с обществом, взявшего у общества его ценности, но комбинирующего их на свой лад. Это и есть автономный человек. Важно понять, что это человек *взрослый*, не питающий инфантильных иллюзий, будто он может просто *отбросить* первичный материал своего детства. Студент Раскольников — карикатура на автономного человека, нарисованная писателем, трагически не умевшим жить вне "стада".

Вместе с автономным человеком рождается идея *прогресса*. Если обычаи и учреждения людей не сознаются как неизменные условия природы, внешние по отношению к обществу, а начинают рассматриваться как дело рук человеческих, хотя бы и рук целого ряда поколений, то исчезает пиетет человека перед общественным порядком. Обычаи и учреждения сравниваются теперь с системой ценностей, унаследованной от данной культуры и обработанной индивидом, и если обнаруживаются расхождения, то индивид ставит под сомнение *не* работу своей мысли над унаследованными ценностями, а унаследованный общественный порядок. Иначе говоря, он прав перед обществом, а общество перед ним не право. Индивид противопоставляет себя обществу и судит его с полным сознанием своего права; ибо если нет бога, то кто же должен судить общество, если не мыслящий человек?

Отметив расхождения между выработанной системой ценностей и общественной жизнью, вполне логично, далее, наметить план изменения общественного порядка и искать средства, как это сделать. И так как ценности вырабатываются не случайно, а закономерно возникают в головах представителей данной культуры, то непременно найдутся единомышленники, стремящиеся к общим целям. Они образуют не шайку разрушителей культуры — потому что им дорога культура, давшая им свои ценности — а "молодую группу старой культуры", как это превосходно выразил Конрад Лоренц.

Таким образом, процесс изменения культуры перестаёт быть автоматическим, не зависящим от воли людей приспособлением к меняющимся условиям, а приобретает новую составляющую — сознательную волю людей. *В обществе возникает новая "обратная связь"*.

Условием такого сознательного направления общественной жизни является самостоятельно мыслящая личность. Необходимо, чтобы в обществе постоянно появлялись такие личности, а идеальным решением задачи о динамическом обществе было бы такое общество, где самостоятельно мыслят все. Конечно, никак не очевидно, что такое общество может существовать. Но динамическое общество, однажды возникнув, до сих пор существует. Мы хотели бы знать, не угрожает ли ему гибель.

10. Марксизм и его истоки

Марксисты придерживались крайнего оптимизма во взгляде на человеческую личность. Эти люди удивительным образом считали

разрушение трудным делом, а созидание лёгким: они полагали, что трудно сокрушить старое общество, но очень легко создать нового человека. Все их усилия были направлены поэтому на подрыв унаследованного общественного порядка; они выискивали в них трещины и усердно вбивали в них клинья, злорадно наблюдая, как эти трещины расширяются. И если унаследованный порядок был связан с производительными силами страны, психическими установками тружеников и культурной традицией, то они с энтузиазмом подготовляли разорение, голод и духовную нищету. Конечно, опасности этого рода связаны с любым видом героического энтузиазма. Глупости и преступления, совершенные русской революцией — неудавшейся революцией — соразмерны с её трагическим величием. Критика этих глупостей и преступлений не является задачей этой работы: над нею уже поработали многие, но главная работа ещё предстоит.

Мы хотим заняться здесь другой стороной дела: положительной программой марксистов, если можно о ней говорить всерьёз.

Убожество марксистской концепции человека впервые обличил Бердяев; он сделал это в 1901 году, в работе под названием “В защиту идеализма”. Если понимать слово “идеализм” в его нефилософском смысле, бытовавшем в тогдашней России, то идеалистами в отношении человека оказываются как раз марксисты, а вопиющий в пустыне Бердяев защищает материализм, предъявляя реальности человеческой психики. Но мы не последуем за Бердяевым в его критике, потому что его философская позиция не позволяет увидеть в этом вопросе самого человека.

Вообще, трагедия философа — его угол зрения. Философ выбирает себе место, с которого рассматривает мир, вернее, его личная история сажает его в это место. Чаще всего он попадает при этом в общую галерею, где сидит большинство зрителей, и видит то же, что видят все. Почти все мыслители, бывшие в России в начале века, видели мир с позитивистских и радикальных позиций. Бердяев смотрел на мир с позиции христианского мистика. Гора предрассудков позитивизма не мешала ему смотреть на происходящее. Но другая гора закрывала ему поле зрения, гора предрассудков религии. Самые очевидные связи, если они оказываются в запретном углу зрения, ускользают от самого проницательного философа.

Есть и комедия философа — его учительная претензия. Я имею в виду то место, в котором философ переходит от критической части своей философии к позитивной. Комизм этой ситуации Ницше выражает стихами средневековой мистерии:

Является осел,
Прекрасный и необычайной силы.

Комическая сторона философии Бердяева заслуживает отдельного исследования. Дело это настолько назревшее, что, возможно, в то время, когда я пишу эти строки, где-нибудь в дебрях России сочиняется уже “Анти-Бердяев”. Но вернёмся к нашей теме.

Марксизм некритически унаследовал иудео-христианскую концепцию человека. А так как он произошёл не из церковного, а из хилиастического христианства, то унаследовал он эту концепцию не в виде изощрённого знания о человеке, сложившегося в опыте церкви, а в её первоначальном виде, в каком она была у первых христиан. Простые люди, писавшие Евангелия и собиравшиеся в катакомбах, мыслили себе человека падшим ангелом. В основе своей человек был прекрасен, это был Адам, сотворённый по образу и подобию божию, чтобы жить в раю, но потом совершился первородный грех, омрачивший природу человека. Эта порча, происшедшая от дьявольского соблазна, не является неотъемлемой частью человеческой природы; в самом деле, Адам был сотворён по образу того, в ком нет порока, сотворён для вечной жизни; и в конце времён первородный грех снимется с человека в час Страшного суда. Тогда праведные населят земной рай, и будет Тысячелетнее царство, где царём будет Иисус Христос; а затем, ведомые Христом, праведники проследуют в рай небесный.

Существенной частью этой доктрины является учение о чистоте и непорочности Адама, скрытой под грязью первородного греха, и о возможности эту грязь дочиста отмыть, поскольку она не связана с подлинной природой человека. Каждый раз, когда вы слышите рассуждения о том, что человек *по природе свой* добр и прекрасен, вы слышите учение о сотворении Адама и первородном грехе.

Так вот, марксисты основали своё учение о человеке на допущении, что первородный грех — это прибавочная стоимость, а прекрасный по природе своей Адам, которого надо лишь отмыть от этой скверны, был обнаружен под именем Пролетарий. Этот малоудачный термин (означающий по-латыни примерно то же, что “неимущий, живущий случайными доходами” или “босяк”) был связан с заводским рабочим, а потом, не без колебаний, с деревенским наёмным рабочим, батраком, и крестьянином-бедняком. Признаком пролетария было отсутствие собственности: единственным имуществом пролетария были собственные руки. Если он жил в городе, то в наёмной квартире; если в деревне, то ему дозволялось жить в

собственной хижине, при условии, чтобы у него не было лошади, или была совсем плохая лошадь. Всё это не пародия на взгляды марксистов, а их практические критерии сортировки и обработки людей. Впрочем, мы зашли слишком далеко.

Первые марксисты, как и первые христиане, не очень задумывались о подлинных свойствах своего Адама. Предполагалось, что как только Пролетарий стряхнёт с себя бремя капитализма, он проявит честность, волю к разумному самоуправлению и организации, жажду и способность к духовному развитию. Со стороны марксистов было бы просто неприлично указывать освобождённому Пролетарию, чтó ему следует делать на другой день после освобождения: по отношению к этому мифическому герою, созданному их воображением, они проявляли суеверное почтение. В России к этому прибавилось ещё народническое наследие: герой предыдущего мифа уже был всем известен и назывался “Мужик”, так что оставалось лишь его переименовать.

Всё это лучше описать словами очевидца. В двадцатые годы XIX века в Берлине был кабачок Гиппеля, где распивали вино (а не пиво, как это было принято в большинстве таких заведений). В этом кабачке собирался цвет берлинской радикальной молодёжи; бывали здесь и молодые люди, составившие себе впоследствии известность: молодой человек, выпустивший в 1845 году, под псевдонимом Макс Штирнер, манифест анархизма “Единственный и его собственность”, и будущие социалисты Бауэр, Маркс и Энгельс. Жаль, что берлинская полиция, следившая за этими господами, не располагала средствами звукозаписи; судя по известным нам фрагментам сочинений молодого Маркса, здесь могли прозвучать мечты о будущем, которых зрелые борцы впоследствии, может быть, стыдились.

К этому кругу людей близок был молодой поэт Генрих Гейне, один из друзей Маркса. Его “Зимняя сказка” содержит изложение первоначальных идеалов коммунизма, слегка подпорченное иронией, не покидавшей поэта даже в самые серьёзные минуты жизни. Хилиастические корни коммунизма обнажаются здесь со свойственным этому автору неприличием:

Новую песню, лучшую песню
Хочу я вам спеть, о друзья:
Мы хотим здесь, уже на земле,
Устроить царство небесное.

Мы хотим быть счастливыми на земле,
И не хотим больше бедствовать;

Ленивое брюхо не должно пожирать то,
Что создают трудолюбивые руки.

Везде растёт достаточно хлеба
Для всех детей человеческих,
Растут розы и мирты, красота и наслаждение,
А также сладкий горошек.

Да, сладкий горошек для каждого,
Как только вскроются стручки,
А небо мы оставим
Ангелам и воробьям.

А если после смерти у нас вырастут крылья,
Тогда мы вас навестим
Там, наверху, и мы отведаем с вами
Блаженнейших тортов и пирожных.

11. Опыт шведских социал-демократов

К сожалению, не каждый способен стать автономным человеком. Предпосылка, из которой исходили марксисты, оказалась ошибочной, и доказывается это не поведением рабочих в патологических условиях советской жизни, а чрезвычайно поучительным опытом шведских социал-демократов. Более чем сорокалетнее правление их создало для шведских рабочих условия, небывалые в истории. Швеция стала к концу этого периода богатейшей страной в мире, с наибольшим доходом на душу населения; шведский рабочий, главный предмет заботы шведских социал-демократов, получил практически обеспеченный заработок, сорокачасовую рабочую неделю, шестинедельный оплачиваемый отпуск, бесплатное среднее и высшее образование, бесплатную медицинскую помощь и тщательно продуманную систему социального обеспечения в старости, при болезни и во всех случайностях жизни. В Швеции впервые в истории было покончено с бедностью. Социал-демократы надеялись, что рабочий, освобождённый от борьбы за кусок хлеба, имеющий много свободного времени, проявит то стремление к духовному развитию, которое ему приписывала марксистская доктрина. Они поставили чистый эксперимент, какого мог бы пожелать сам Маркс, и притом эксперимент бескровный: им не понадобилось ни экспроприировать, ни уничтожать свою буржуазию, что в моральном отношении не пошло бы на пользу рабочему классу. Результат получился вполне определённый, но вовсе не тот, какого они ждали. За ред-

кими исключениями, рабочий оказался не способен к самостоятельному развитию. Он пассивно принимал систему ценностей, сложившуюся в буржуазном обществе и, освобождённый от бедности, попросту стремился превратиться в буржуа. Он обзаводился вещами, обеспечивая себя на всякий случай, а свободное время просиживал у телевизора. Хуже того, свободное время и высокий уровень благосостояния стимулировали рост пьянства и юношеской преступности, прежде не особенно развитых в этой стране; и это только начало, потому что социологи предвидят угрожающий процесс общественного разложения, главной движущей силой которого будет как раз освобождённый от бедности и изнурительного труда пролетарий. Он просто не знает, что с собой делать, и, постепенно теряя традиционные навыки трудолюбия и приличного поведения, превращается в асоциального паразита.

Конечно, можно возразить, что шведские социал-демократы, несколько потеснив капитализм и создав ему некоторый государственно-кооперативный противовес, не уничтожили “частной собственности на средства производства”, и что зловредное идейное влияние буржуазии не даёт рабочему классу обрести своё независимое лицо. Конечно, среди марксистов найдутся и такие, кто склонен объяснить этим неудавшийся шведский опыт. С точки зрения первоначальной доктрины это вполне можно обосновать. Если прибавочная стоимость играет роль первородного греха, то конкретные носители этого соблазна, капиталисты и их агенты, должны рассматриваться как прислужники дьявола, выродки и колдуны, которых надо прежде всего искоренить. Для этого надо учредить инквизицию и чётко определить линию, отделяющую овец от козлищ. Всё это уже было; такой взгляд на мир называется, по имени одной христианской секты, манихейством, и дважды в истории он одерживал верх: в известной стадии средневекового христианства, иногда называемой “религией дьявола”, и в последней ереси христианства — большевизме.

Во всяком случае, материальные условия жизни человека связаны с его сознанием (и что важнее, с подсознанием) не так просто, как предполагали марксисты. Если до известной степени верно, что бытие определяет сознание, то в понятие бытия приходится включить не только экономические условия, но и всю совокупность условий культуры, и тогда марксистское содержание этой знаменитой формулы расширяется до неузнаваемости, так что она становится неотличимой от формулы эмпиристов: нет ничего в уме, чего бы прежде не было в ощущении. Но и в этом случае остаётся без

внимания важнейший фактор формирования личности — наследственность. Если её тоже включить в понятие бытия, то формула Маркса превращается попросту в логический "принцип достаточного основания" в применении к человеку. Действительная ценность точки зрения Маркса состоит в том, что она подчёркивает важность экономической составляющей в системе стимулов человеческого поведения. Бывают эпохи, когда об этой составляющей слишком уж забывают; таково было время Маркса, и в этом было значение, для того времени, его знаменитой формулы "бытие определяет сознание". В наше время люди ударились в другую крайность и стали на практике почти такими экономическими автоматами, какими Маркс представлял себе, в первом приближении, своих средних собратьев. Увы, не осталось последовательных марксистов, которые могли бы этому порадоваться.

Но хотя в известных условиях (точнее, в условиях распада культуры) человек и реагирует на экономические стимулы столь непосредственно, как этого требовал Маркс, благосостояние и свободное время не делают из него самостоятельного человека. Парадокс здесь в том, что человек, способный к духовному развитию, менее всего напоминает экономический автомат, и чем его можно стимулировать, очень трудно понять; если же он похож на экономический автомат, то стимулировать его нетрудно, но этим можно добиться лишь того, что автомат перестанет работать.

12. "Средний человек"

Известно лишь одно средство, стимулирующее развитие если не отдельного индивида, то большого числа предрасположенных к развитию людей: это средство — свобода. Грубое экономическое стимулирование, стремящееся осчастливить всех в самое короткое время, может свести на нет и это проверенное историей средство. Этому нас учит шведский эксперимент. Мы не знаем способа сделать из каждого человека автономную личность, и имеются серьёзные основания сомневаться, возможно ли это при сохранении биологической основы человека. Мы можем оставить в стороне "положительную евгенику", то есть предложение Гальтона улучшить человеческую породу скрещиванием и отбором, как улучшаются породы домашнего скота. Это предложение не заслуживает внимания не только потому, что трудно представить себе популяцию, ещё достойную имени человека, которая позволила бы скрещивать, холостить и выбраковывать людей, как это делают скотоводы. Другая причина, обес-

ценивающая идею Гальтона, состоит в том, что процедуры этого рода, ведущие к эффектам “одомашнения” животных, уже достаточно изучены и не вызывают больше иллюзий: они прежде всего нивелируют популяцию, устраняя из неё всякую индивидуальность.

По-видимому, условия, способствующие развитию индивидуальности, встречались в истории и вызывали, в отдельных местах и ненадолго, почти невероятную концентрацию энергии и дарований. Афины времён Перикла, Флоренция эпохи Возрождения, русский XIX век трудно было бы понять, если бы не было чего-то вроде духовных эпидемий, обильно производящих при подходящих условиях необычные экземпляры “человеческого растения”. К сожалению, мы не знаем этих условий; а может быть и к счастью, потому что каждая такая эпоха завершалась трагическим развалом.

Но нельзя сказать, что мы *совсем* ничего не знаем об этих вещах: кое-что мы знаем вполне определённо. Мы знаем условия, при которых независимая личность появиться *не может*. Россия вошла теперь в полосу истории, почти равносильную интенсивному одомашнению людей; при виде того, что происходит в этой стране, трудно отделаться от манихейства мещанского пошиба, рисующего над всем этим дьявола в виде Великого Скотовода. Неутешительный, но неизбежный вывод о человеческой природе состоит в том, что средний человек неспособен к независимому развитию. Он даже не слишком обижается, когда ему это говорят: книга Эрика Фромма “Бегство от свободы” стала в Америке бестселлером и выдержала невероятное число изданий.

Проблема “среднего человека” возникает не только в размышлениях о смысле жизни, но и в экономике сегодняшнего дня. Дело в том, что “средний человек”, не способный к независимому мышлению и собственной инициативе, этой экономике уже не нужен. Его можно заменить машиной. Когда мы входим в автобус или трамвай, мы не удивляемся, увидев там вместо кондуктора металлический ящик. Между тем, это глубоко значительный факт: ведь ещё недавно функцию этого ящика исполнял человек! И вот, оказалось, что его можно без особого экономического ущерба заменить простой машиной; если этого не сделали раньше, то просто по недомыслию. Из всех возможных взаимодействий между кондуктором и пассажиром, в каких могла проявиться кондукторская личность, существенным оказалось только одно, имитируемое нажатием на клавишу или поворотом ручки. Эта ситуация типична. Конечно, в большинстве случаев замена живого человека машиной пока ещё экономически невыгодна, в особенности по той причине, что это потребовало бы

радикального пересмотра всей технологии и затрат на оборудование, превосходящие возможности нынешних хозяев. Кроме того, они страшатся социальных последствий. Но в принципе "средний человек" скоро станет столь же излишним, как кондуктор. Если только для какой-нибудь специальной цели не нужно будет, чтобы он бранился, суетился или иными способами проявлял свою человечность, его заменит металлический ящик. И тогда, поскольку он должен будет как-то существовать, небольшой группе инженеров, заменившей его в производстве, придётся содержать его в виде пенсионера, придумывая для него, вероятно, какие-нибудь фиктивные занятия. Нельзя же, в самом деле, обойтись без продавца или парикмахера, готового с Вами поболтать, хотя бы все их деловые функции были переданы машине. Но всё это в будущем. Посмотрим теперь, что произошло со "средним человеком", когда динамическая культура выбила у него почву из под ног.

13. "Великий проект" и его предтечи

Произошло это в XIX веке. Традиция средневекового общества в начале XIX века всё ещё держалась, хотя и дала уже трещины. В "передовых" слоях общества уже не верили в бога, но основную массу народов Европы составляло крестьянство, а оно было ещё вполне религиозно. Крестьянин жил почти такой же жизнью, как его предки, и был, как правило, неграмотен. Работу свою он выполнял собственными руками, или при помощи домашних животных. Он был глубоко привязан к земле; революции и реформы, доставившие ему — в Западной Европе — более независимое хозяйственное положение, дали ему возможность проявить эту привязанность в полной мере. Мир его представлений оставался, по существу, средневековым; вся его мудрость была унаследована им в виде фольклора, сказок, поговорок, родительских поучений. Крестьянин мог жить только в общине, с которой был связан не только экономическими, но и глубокими эмоциональными узами. Можно сказать, что он ещё не выделился из *общины* в самостоятельную личность. Особенно сохранилось всё это в России, и целая школа русских мыслителей основывала на отсталости русского крестьянства свои надежды.

Буржуазия, сложившаяся в Западной Европе, но ещё не в России, была более подвижна, менее привязана к механической смене времён года и следующих за ними трудовых операций, менее суеверна. И всё же, значительная часть средневековых традиций была ещё в ней жива. Буржуа всё ещё оставался, по образу своей жиз-

ни и характеру выполняемого труда, цеховым ремесленником, хотя и свободным уже от цеховой регламентации. Он сохранил прежние отношения с коллегами по ремеслу, с учениками и подмастерьями, с торговцами и покупателями. Он жил той же патриархальной семейной жизнью, в тех же нравственных понятиях. Удивительно сочную картину традиционного французского буржуа, с его крепким сложившимся бытом, с жёстким наследованием нравов и привычек, нарисовал Жан Ренуар в биографии своего отца, столь непохожей на обычные сочинения этого жанра.

Образованный слой населения, немногочисленный в то время, отошёл от традиции больше всего. Дворяне были в значительной степени циники и вольнодумцы в вопросах религии, но незыблемо хранили средневековый кодекс чести. Воинская доблесть рассматривалась в этой группе людей как нечто само собой разумеющееся, а в некоторых наиболее воинственных нациях Европы, как например, у французов, понятия о воинской чести распространились на широкие массы буржуазного и крестьянского населения. Этим в значительной степени объясняется глубоко феодальный характер того человеческого материала, который унаследовали от старого режима революция и Наполеон.

Террористы и их жертвы имели одинаково фантастические представления о чести и долге, о достойном и недостойном поведении на поле боя и на ступенях гильотины. Русское дворянство, болезненно переживавшее своё недавнее холопство, всячески пыталось подтянуть свои унаследованные феодальные понятия, изрядно отдававшие крепостным душком, до лучших европейских образцов. Самые усердные из них зашли в своём благородстве так далеко, что почти не говорили по-русски.

Мы оставили пока в стороне рабочий класс, не игравший ещё важной роли, во всяком случае, на континенте.

По существу, наполеоновские войны представляют собой рубеж, отделяющий "новейшую историю" от "новой" и, как уже не раз отмечали историки, XIX век начинается, по существу, с 1815 года. (Столь же логично считать, что завершается он Первой мировой войной). XIX век был временем высшего расцвета европейской культуры. Как говорил Мюссе в той же цитированной выше поэме, "из века без надежды родился век без страха": освобождённое от средневековой системы взглядов, европейское общество бесстрашно пошло навстречу будущему; потеряв надежду на личное бессмертие, человек заменил её другой великой надеждой, надеждой на безграничное развитие своего вида. Родился *Великий Проект.*

Идея о совершенствовании человека и общества сознательными усилиями людей была основательно подготовлена в XVIII веке. Её вовсе не выдумали якобинцы, хотя на них и свалили вину за неудачное прожектёрство, как впоследствии на большевиков. Якобинцы (и большевики) представляли в партии прогресса лишь одну фракцию — *нетерпеливых.* Люди, давно и вдумчиво опекавшие этого великого младенца — пробуждавшийся к сознательной жизни Человеческий Род, — досадовали на грубые приёмы революционной партии, разрушившей их дальновидные планы. Они представляли себе будущую Европу, говорит Швейцер, как цветущий сад, в котором сохранилось бы всё разнообразие, весь неповторимый аромат исторических культур и местных традиций; постепенное смягчение нравов, длительный процесс *воспитания* нового человека уже начинался повсюду: век Просвещения воспитывал все сословия в духе терпимости и братства, не исключая и государей. Уже были проведены значительные реформы. Пруссия, Австрия и даже Россия имели просвещённых правителей, терпеливо приводивших в порядок свои лесные трущобы и болота, запущенные в Тёмные века.

Первыми опекунами человечества были масоны. Лучшие из них были люди разных сословий, принимавших всерьёз и пытавшихся осуществить христианский идеал совершенного человека. (Как мы видим, идея "прогресса" с самого начала — а начало это было задолго до позитивизма, социализма и вообще всяких учений, названия которых оканчивались на "изм" — происходит от христианской традиции). Тайные общества, или слегка прикрытые от любопытства публики тайные сборища масонов возникли в начале XVIII века, впитав в себя некоторые течения средневекового христианства. Самое название "масон" означает по-французски "каменщик", первая масонская ложа возникла в Англии, причём для прикрытия её была вначале использована корпорация каменщиков, характер которой изменили вошедшие в неё образованные люди. Отсюда и произошло название "вольные каменщики", получившее символическое значение.

Как и всякое человеческое движение, масонство было неоднородно в нравственном смысле. В ряде случаев масонские ложи были просто собранием светских людей, развлекавшихся таинственными церемониями. В других случаях масоны становились честолюбцами, тайно поддерживавшими друг друга в погоне за властью. Все эти явления мы можем здесь игнорировать, равно как и болезненные реакции на масонство в шовинистических кругах, опасавшихся его космополитических тенденций и зарубежных связей.

Доктрина масонов заключалась в том, что все люди — братья, и что человек по природе своей совершенен. То и другое доказывалось учением Христа. Таким образом, масоны считали себя христианами и, подобно Спасителю, стремились "не нарушать закон, но исполнять его". Они не придерживались, однако, византийского квиетизма и полагали, что бог требует от человека деятельной работы на ниве господней, а не аккуратного выполнения церемоний. Иначе говоря, масоны стремились творить добро. Важной частью их дела была благотворительность, но ещё важнее было стремление к лучшему человеку и лучшему обществу, в котором нетрудно узнать старое учение о подражании Христу. Масоны подчёркивали, что задача их объединяет все нации и сословия, ибо все различия между людьми ничтожны перед богом. Сказано ведь, что для бога нет "ни еллина, ни иудея". Но люди, по мнению масонов, не всегда готовы принять добро, а иногда, по неразумию или неведению, воздают за него злом. Они часто не ведают, что творят, поэтому планы всевозможных благодеяний лучше, до удобного времени, сохранять в тайне. Приходилось же первым христианам скрываться в катакомбах. К тому же, лучше творить добро, не обнаруживая его источника: пусть правая рука не знает, что делает левая. Таким образом, масоны считали себя общиной избранных, чем-то вроде христианской элиты, связанной общим делом. У них не было иллюзий относительно "среднего человека", которого они не считали способным к самостоятельной духовной работе, ему надо было помочь незаметно, чтобы он не заподозрил вмешательства в его жизнь и не помешал благому делу. Далее, они полагали, что человек вообще далёк от совершенства и лишь постепенно может приблизиться к пониманию высоких истин. Поэтому самые важные планы нельзя доверить и всем масонам, а только избранным из них, осторожно расширяя круг посвящённых. Это вполне согласно с практикой всех тайных организаций: без иерархии невозможно хранить тайну.

Нетрудно понять, что таинственная иерархия масонских лож могла стать и смешной, и опасной — не только для властей, терпевших или не терпевших деятельность такого рода, но и для дела, за которое они взялись.

Масоны были в России, при Екатерине второй и после. Тайны их были довольно прозрачны, и до французской революции ложи существовали с ведома императрицы. Самым деятельным из русских масонов был Нови́ко́в, изображаемый у нас как прогрессивный деятель и просветитель. Он и в самом деле был просветитель — первый в России издатель переводной литературы, в политическом смысле

почти невинной. Это не помешало Екатерине в конце концов посадить его в крепость.

Французская революция и последовавшая за ней реакция были тяжким ударом для масонов и всех других реформаторов, сторонников "мягкого" прогресса. Швейцер, один из наследников этого направления, говорит, что революция заменила идею цветущего сада, где любовно возделываются свободно растущие деревья, чем-то вроде плана распашки с однородными прямоугольниками, возникшими в голове бюрократа.

Масоны не были единственными заступниками и опекунами человечества. Революция была подготовлена, главным образом, людьми другого типа, "философами" Просвещения, известными ещё под именем "энциклопедистов".

14. Философы Просвещения

Кто же были эти люди? Вряд ли надо причислять к ним предшественников, ещё далёких от конечных выводов Просвещения, самым выдающимся из которых был осторожный натуралист-наблюдатель человеческих учреждений, Монтескьё.

Когда говорят о Просвещении, то имеют в виду, преимущественно, четырёх человек: Вольтера, Дидро, Даламбера и Руссо, занимающего среди них обособленное место.

Замечательно, что три главных философа Просвещения, Вольтер, Дидро и Даламбер, были люди весьма умеренных взглядов. Лишь в одном отношении они были непримиримы — в своём безбожии. Впрочем, Вольтер опасался, что безбожие подорвёт моральное состояние простого народа, и предпочёл бы, чтобы оно осталось эзотерической доктриной для немногих. Все трое держались весьма умеренных взглядов на государственные учреждения и ожидали улучшений от постепенных реформ, проводимых сверху. Дидро, наиболее радикальный из них, был мудрец, не строивший себе иллюзий по поводу быстрого усовершенствования человека. И всё же, Просвещение совершило свою разрушительную работу.

Дело в том, что, отвергнув авторитет религии, нельзя уже некритически относиться *ни к какому* авторитету вообще. Всё на свете становится после этого предметом целеустремлённого сомнения, подвергается экзамену и, не выдержав экзамена, как правило, отвергается. Что из того, что сами вожди Просвещения предпочитали медленные улучшения и боялись ломки сложившихся общественных учреждений? Достаточно было уничтожить их *авторитет*;

уничтожение самих учреждений могли взять на себя другие. И эти другие не замедлили явиться. Сюда прибавилось ещё одно обстоятельство, важное в психологическом отношении. Система, против которой вооружились энциклопедисты, к середине XVIII века основательно прогнила. Она созрела для разрушения и ждала разрушителей. Было бы наивно полагать, что люди, на которых история возложила эту задачу, будут разрушать вежливо и осторожно. Вольтер был простого происхождения и был в молодости побит палками по приказу шевалье де Роана; он не мог вызвать шевалье на дуэль. Дидро был тоже простолюдин, а Даламбер — подкидыш. Феодальное общество каждый из них ощутил на собственной шкуре. Дело, которое им суждено было совершить, было исполнено с великой страстью. Да и вообще, может ли человек говорить спокойно, если видит перед собой Зло и обладает средствами это зло сокрушить, хотя бы словесно? По справедливому выражению Бакунина, "Радость разрушения есть тоже творческая радость". В некоторые моменты истории все честные люди согласны между собой, что Карфаген должен быть разрушен.

Способ, которым это было исполнено, от них не зависел. Никто из корифеев Просвещения до революции не дожил. Революцию делали их ученики. И в революции проявились равным образом слабейшие стороны философии Просвещения, яснее всего представленные у Руссо. Энергия, свойственная человеческому мышлению, неизбежно привела к тому, что люди, вооружившиеся против иррационального авторитета средневековых доктрин и учреждений, усвоили себе крайний *рационализм.* Это значит, что они игнорировали *органический* характер человеческих понятий и учреждений, вырабатываемых историей наподобие того, как в ходе эволюции вырабатывается вид животных, и не принимали в расчёт энергию, свойственную этим органическим структурам. Они полагали, что всё негодное в человеке и обществе может быть обнаружено критическим Разумом, наконец, пробудившимся от тысячелетнего сна, и что Разум может указать пути, как построить правильное общество и создать правильного человека. Поскольку они недооценивали сложность и неизученность того и другого, им казалось, что планы переделки общественного порядка можно немедленно составить и привести в действие. И тогда за Веком Просвещения явится Век Разума, идеальное человеческое общество, вышедшее из человеческой головы.

Наивный энтузиазм, с которым понимались и применялись учения энциклопедистов, был свойственен не столько их достаточно

умудрённым жизнью вождям, сколько ученикам и последователям, просветителям более мелкого пошиба, большею частью давно забытым. Не забыт только вдохновитель этой штурмовой колонны Просвещения, сентиментальный проповедник Руссо.

Руссо никоим образом не крупный мыслитель. Он одержимый комплексами фантазёр. Идей у него немного, и они несложны. Человек по природе своей добр и прекрасен (читатель знает уже происхождение этой доктрины). Он создан для того, чтобы жить райской жизнью, в отношениях сладостной любви и братства с себе подобными. Для этого нужно договориться, как устроить общественные дела, и соблюдать этот договор. Люди поняли это когда-то, и обсудив свои дела, учредили на земле порядок. Но вскоре явились нарушители договора, злые эгоисты, присвоившие себе право на землю и захватившие в свою собственность все блага природы, которые должны быть общим достоянием. Задача состоит в том, чтобы заключить новый, более действенный Общественный договор, по которому равные граждане учредят идеальную республику. Добрая воля и разумность избирателей (в которых Руссо нисколько не сомневается) сразу же приведут к наилучшему способу правления. Поскольку порядок этот будет и в самом деле наилучший, оспаривать его смогут разве что сумасшедшие или люди дурных наклонностей. Для них будут введены суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Доктрина эта имеет бесспорное преимущество простоты. Она исходит из небольшого числа постулатов, которые кажутся вполне логичными. Главный из них состоит в том, что все люди *равны* по своим функциям и потребностям, и что наилучший (теперь бы сказали — оптимальный) режим работы этих одинаковых автоматов может быть раз навсегда установлен. Другой основной постулат полагает, что человек — автомат *разумный*, а именно, принимающий решения в зависимости от своей выгоды; как только он узнает, в чём его наилучший режим, он сразу же согласится устроить всё таким образом, чтобы все люди могли пользоваться этим (одинаковым для всех) режимом. Небольшая модернизация терминов ничего не меняет в рассуждениях Руссо. Конечно, сам Руссо пользуется совсем не таким языком. Вместо автомата у него *разумный* гражданин. Но его "граждане", как неизбежно следует из "Общественного договора", наделяются в точности описанными выше свойствами. "Равенство, братство и свобода" произошли от Руссо: в этой формуле "равенство" представляет главный (и весьма зловещий) компонент; "братство", при условии полного равенства, может означать лишь

любовь к установленному образцу человека; а что касается "свободы", то её, очевидно, остаётся трактовать в сугубо философском смысле, как "осознанную необходимость" наилучшего порядка. В ходе революции "умеренных" постепенно вытеснили "экстремисты". Вначале предлагалось последовать образцу английской (неписаной) конституции и упорядочить исторически сложившуюся Францию, не посягая сразу на выработанные историей особенности людей и осторожно касаясь учреждений; на первых порах предполагалось устранить очевидные злоупотребления, представить будущему решить, может ли общество стать идеальным.

В конце же к власти пришли люди, желавшие иметь идеальное общество *здесь* и *сейчас*.

15. Французская революция

Постарайтесь понять Неподкупного![1] Перед ним лежит в агонии Старый режим, общество, воплотившее в его глазах Несправедливость. Этот режим, разъеденный, как проказой, своими пороками, угнетал Человека и его Разум. Неравенство в этом обществе было вековым грабежом, хаосом переданных по наследству привилегий. И защитники его не были бескорыстны: каждый из них охранял свой собственный интерес, интерес своей группы присосавшихся к Нации пиявок. Стоит сохранить какую-нибудь язву режима, и вслед за нею снова разовьются все другие! Можно ли откладывать Великое Дело, если каждый час порождает новых врагов, если двор подкупает развратного Мирабо, а эмиссары Питта хотят натравить на нас всех аристократов Европы? Если можно *сейчас*, пока старый режим бессилен, учредить Республику и показать нации и миру образцы нового общества, свободного от вековых недугов?

И можно ли допустить, чтобы в пьянящее вино Чистого Разума бросали исторические нечистоты?

Идея прогресса, рождается, таким образом, в XVIII веке, и уже в конце этого века её компрометируют нетерпение и фанатизм. Реакция на французскую революцию обнаруживает слабости доктрины Руссо. Человек оказывается существом *историческим*, общество — чем-то вроде выросшего живого организма, и от "механистической"

[1] «Неподкупный» (фр. *L'Incorruptible*) — прозвище Максимилиана Робеспьера (1758–1794), которое он заслужил благодаря неуклонной последовательности, с которой отстаивал свои принципы. — (*Прим. ред.*)

модели Просвещения возвращаются к “биологической” модели Менения Агриппы; если различные классы общества подобны голове, желудку, рукам и ногам, то всякое искусственное программирование общества так же безнадёжно, как хирургическое улучшение вида животных. Далее, общества, сложившиеся в разных странах и в разные времена, столь же различны, как разные виды, и одно из них не может служить образцом для другого. Общее настроение мыслей становится “почвенным” и консервативным.

Но великий проект пережил эту реакцию. Послушаем, что говорит о нём на рубеже XIX века великий и благородный ум: свидетельствует Виланд. Философский диалог его написан около 1790 года. Юпитер, *снисходительный* и скептический, как все достаточно старые боги, обсуждает с коллегами-олимпийцами последние новости: старая религия перестала быть государственной религией Римской империи. Умудрённый опытом громовержец знает, что бесполезно противиться духу времени. И вот, к нему является Неизвестный, которого комментаторы Виланда, в своей филологической простоте, принимают за Христа. Как это обычно происходит при смене кабинета, он излагает свою программу и отвечает на замечания предшественника. Он намерен заняться улучшением человеческого рода, который очевидным образом в этом нуждается. Он хорошо знает все свойства этого неблагодарного объекта и не питает надежд на быстрый прогресс: чтобы добиться чего-нибудь серьёзного, понадобятся тысячи лет. Этому не приходится удивляться, ведь слабости и пороки человечества сложились тоже не сразу. Он знает, что в этом длительном движении вперёд неизбежны врéменные задержки. Самый же главный довод его — что *другого пути нет.* Нет другого пути для *человека*, если он не хочет признать своё поражение.

Другой путь есть лишь для капризного бога, который всегда может свалить на человека своё неумение с ним справиться, устроив потоп или Страшный Суд. Как он похож на Неподкупного в своём нетерпении! Но ведь он всеведущ, всемогущ, милосерд, а главное — перед ним вечность!

Русские университеты и русская интеллигенция

1. Средневековые университеты Европы

Слово “университеты” происходит от латинского “*universitas*”, означающего “целость”, “совокупность” или “сообщество” людей. Если не углубляться в древнюю историю, когда высшее образование заменяли частные школы, устраиваемые философами и ораторами в Афинах, Александрии и других центрах просвещения, то высшее образование возникло в виде регулярных учреждений в XI веке, когда появились первые университеты в Италии (Болонья) и во Франции (Париж). В XII веке возникли английские университеты в Оксфорде и Кембридже, а затем множество университетов в странах Западной Европы.

Первоначально университеты были добровольными сообществами преподавателей и учащихся (*universitas doctorum et scholarium*), свободно выбиравшими ректоров и профессоров, и эти их свободы признавались хартиями, которые выдавали им монархи. Они имели даже судебные и полицейские функции по отношению к своим членам и были ограждены от вмешательства властей, что и положило начало традиции “академической свободы”. Не следует удивляться столь ранней демократии в высшем образовании; ведь демократия и вообще коренится в учреждениях средневековья: английский парламент существует с 1215 года. Для университетской жизни очень важна была свобода преподавания, с самого начала считавшаяся необходимым условием научного знания. Короли и вельможи, бравшие под своё покровительство университеты и часто оказывавшие им материальную поддержку, не вмешивались в содержание лекций и не пытались влиять на дела учёного сословия. Церковь, конечно, следила за правоверием богословских доктрин и иногда преследовала еретиков, но в университетах не было ничего похожего на обязательные учебные планы, подлежащие предварительному одобрению, или какого-нибудь контроля над личными мнениями профессоров. Признавалось, что эти мнения могут быть различны, и для решения научных вопросов устраивались открытые для публики диспуты. Точно так же, присуждение учёных степеней происходило после свободного диспута, в котором претендент должен был защищать свои взгляды от всех желающих с ним спорить; отсюда ведут своё начало “защиты диссертаций” и “оппоненты”. Конечно,

средневековые учёные мало знали, или имели неправильные представления, но их обычаи были гораздо свободнее, чем нынешние чиновничьи игры, пародирующие учёный диспут.

Академической свободе весьма содействовало разнообразие политических условий, затруднявшее контроль над образованием. Даже до Реформации церковь не имела полной власти ни в одном из европейских государств, кроме папской области в Италии, и светские власти не всегда поддерживали присущий ей дух преследования. Инквизиция, в её обычном смысле, укрепилась лишь в XV столетии — инструкция "Молот ведьм" была опубликована в 1492 году, в год открытия Америки; а цензура не существовала до изобретения книгопечатания, когда архиепископ Майнцский, увидев книжную ярмарку, наполненную произведениями типографии Гутенберга, принял меры для прекращения этого безобразия. Можно сказать, что и церковь, и светские власти недооценили опасность науки и дали укорениться традиции научного исследования и преподавания. Они ещё не знали, что "знание — сила": это выражение принадлежит Бэкону и предвещает уже Новое время.

Другой важной чертой старых университетов было соединение научного исследования и преподавания: считалось очевидным, что, в отличие от школьного преподавания, преподавание "высших наук" может быть доверено лишь тем, кто сам создаёт научные знания. Это значение университетов сохранилось повсюду, кроме Советского Союза, где, по различным ведомственным соображениям, творчески одарённые учёные сосредоточивались в "НИИ", исследовательских институтах без преподавания, а преподавание поручалось идеологически проверенным научным ничтожествам. Кроме России — из которой теперь эмигрировали почти все серьёзные учёные, — традиция университетской науки поддерживается во всех странах до наших дней.

Ещё одним важным преимуществом средневековых университетов был их интернациональный характер. Дело в том, что в Средние века языком образованных людей была латынь, с которой и начиналось обучение грамоте. Конечно, это была не классическая латынь Цицерона, а "средневековая латынь", но она оставалась языком, на котором *говорили* все грамотные люди, то есть в некотором смысле живым языком, доставлявшим то международное средство общения, которого нам теперь недостаёт. Студенты и профессора свободно переходили из одного университета в другой, поскольку их не разделяли языковые барьеры; да и границы ещё не были закрыты. Николай Коперник, сначала учившийся в Краковском уни-

верситете, затем слушал лекции и преподавал в Болонье и Риме. Эразм Роттердамский, голландец родом, долго жил во Франции, Германии и Англии, но не знал ни одного языка, кроме родного голландского и латыни; латыни было достаточно для всех его учёных собеседников. Вероятно, ему не так легко было объясняться с менее учёными людьми, и при разговоре с одним немецким князем понадобился перевод.

Теперь наши учёные пользуются упрощённым английским языком продавцов и стюардесс. Очень жаль, что было прервано развитие "живого" латинского языка — сначала педантами эпохи Возрождения, а потом "материалистами" вроде студента Базарова.

Первоначально университеты делились на "национальности", поскольку студенты происходили из разных стран. В Парижском университете было четыре "национальности": галлы, пикардийцы, нормандцы и англичане. В конце XIV века появилось деление на факультеты, например, богословский, философский, юридический и медицинский. Науки в нашем смысле слова относились к философскому факультету. Сама философия считалась "служанкой богословия", но имела и собственные интересы, например, изучение Аристотеля и Платона. Кроме неё, на философских факультетах занимались "семью свободными искусствами", делившимися на вводный цикл ("тривиум", откуда происходит нынешнее прилагательное "тривиальный") и высшие науки ("квадривиум"). В тривиум входили грамматика, риторика и логика; считалось, что эти науки доставляют средства для рассуждения и изложения. Квадривиум состоял из математических наук, к которым относились арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Здесь изучали серьёзные вещи — геометрию Евклида и астрономию Птолемея, традиция которых сохранилась до Нового времени; музыка тоже считалась математической наукой — согласно Пифагору, открывшему арифметические отношения в музыкальной гамме.

В Средние века книги были рукописные и стоили дорого. Монах переписывал книгу несколько месяцев, и только богатые люди могли иметь библиотеки. Поскольку обычный университетский курс состоял в изучении *одной* книги (хотя бы с комментариями профессора), то профессор, у которого была эта книга, читал её, положив на "кафедру" — деревянное сооружение, какое и сейчас можно увидеть в университетских аудиториях. Конечно, и в то время — как и сейчас — изредка встречались профессора, способные "читать" свой курс без "бумажки", излагая свои собственные идеи: обычно это были еретики, как знаменитый Абеляр. Но, как правило, профессор

просто читал книгу (“чтение” по-латински *lectio*, откуда наше слово “лекция”), а студенты, сидя на полу, устланном соломой, дословно записывали услышанное, как это делают и нынешние молодые россияне. К концу курса у каждого студента была своя книга, по которой он и сам, сделавшись профессором, мог учить других. Этот преобладающий тип схоластического образования, рассчитанный на зубрёжку, существовал уже у древних шумеров, где он служил для обучения писцов; теперь таким же образом обучают конторских служащих, “клерков”. Это последнее слово происходит от латинского слова *clericus*, “духовное лицо”, поскольку в Средние века только клирики знали грамоту.

Конечно, подавляющая часть студентов философских факультетов тогда, как сейчас, предназначалась для канцелярской работы, а для этой цели зубрёжка может быть подходящим способом подготовки. Вся беда в том, что будущим клеркам незачем было зубрить тривиум и квадривиум, как теперь им незачем зубрить точные и неточные науки. Для воспитания человека служебного типа — чиновника — важен самый процесс механического заучивания и соответствующая установка покорности. Обслуживать компьютеры нисколько не труднее, чем действовать гусиным пером, или выдавливать оттиски на сырой глине. Я бы сказал, что работа с компьютером даже проще, поскольку не требует изящества, но я не знаю эстетики нынешних канцелярий.

2. Университеты эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения подорвала престиж схоластической науки и традиционного преподавания. Конечно, богословские факультеты могли сохранить свой схоластический характер, но даже юридические должны были выйти за пределы римского права, а медикам пришлось проверять написанное у Гиппократа и Галена. У философов авторитет Аристотеля, наконец, рухнул, и неясно было, что́ преподавать под названием философии, — как и в наше время. Но науки в собственном смысле слова — естественные науки — после Галилея и Ньютона совершенно изменили своё лицо. Самое существенное отличие науки Нового времени, по сравнению со средневековьем, состояло в их динамическом развитии, выражаемом словом “прогресс”. В этих условиях уже нельзя было “читать” одни и те же курсы по одним и тем же старым книгам. Очевидно, университеты должны были приспособиться к прогрессу науки и техники, пересмотрев не только предметы преподавания,

но и способ их изложения.

В Средние века содержание излагаемого предмета могло не меняться в течение столетий. Изучать геометрию *означало* изучать "Начала" Евклида; изучать астрономию *означало* изучать "Альмагест" Птолемея, и т. д. Каждая наука составляла законченное целое и можно было излагать это её неизменное содержание более или менее полно; это и было научное образование "схоласта". Определённость списка предметов и состава каждого предмета позволяла строить лекции таким образом, чтобы в университетском курсе была изучена "вся" геометрия, "вся" астрономия и т. д. Но если наука непрерывно расширялась, то приходилось всё время менять содержание курсов, выбирая самое существенное с точки зрения лектора и отказавшись от претензии изложить "весь" предмет. К счастью, после изобретения книгопечатания не было уже надобности задиктовывать студентам "единственную" книгу: было много книг, и лектор мог отсылать своих слушателей к разным книгам, по мере надобности и по своему выбору.

Так всегда и поступали профессора, самостоятельные в своей науке. Но средневековый способ преподавания не так-то легко было преодолеть: университетов *всегда* было больше, чем самостоятельных учёных. Да и сами университеты, как и любые учреждения, имели свою инерцию и с трудом меняли свои обычаи. Они стремились сохранить средневековую систему преподавания, то есть "изучение" небольшого числа предметов по "священным" текстам, сводившееся к зубрёжке. Как уже было сказано, это была подготовка *чиновников*.

Выход из такого положения, найденный европейской наукой, кажется парадоксальным: на фоне общего роста демократии развились *элитарные* университеты. Небольшое размышление объясняет этот парадокс. В самом деле, если наука перестаёт быть передачей "священной традиции" и становится живым развивающимся организмом, то возникает *задача подготовки учёных* — в этом новом смысле слова: вместо исполнителей священных церемоний требуются люди, способные усваивать и расширять быстро нарастающее, бурно меняющееся знание. Такая задача лишь однажды возникла в древности, когда элитарное образование, казалось бы, могло появиться в Александрийском "музее", куда приезжал учиться Архимед. Но в то время потребность в учёных была невелика, или не была понята: если бы греки извлекли уроки из осады Сиракуз, то разбойничья империя римлян не задушила бы греческую культуру.

На рубеже XIX века Европа в самом деле нуждалась в учёных. В отличие от древности, здесь не было дешёвого рабского труда, и вся хозяйственная жизнь зависела от изобретения и применения машин. Это начинали понимать даже варвары: римляне могли только раскроить голову Архимеду, но Пётр Великий приглашал Ньютона в Россию, предлагая ему большие деньги. Конечно, варвары имели в виду только потребности военной техники, но в Западной Европе понимали, что в основе любой техники лежит научное знание. Техников можно было обучать прямо на производстве, но учёных надо было учить совсем иначе: их надо было немного, и для этого годились немногие. В отличие от техники, *наука неизбежно должна была стать занятием тщательно отобранной элиты. Поэтому в Европе и возникли элитарные университеты.*

3. Первые научные учреждения Нового времени

Европейская культура Нового времени началась во взаимодействии двух передовых стран — Англии и Франции. Декарт стоял ещё на рубеже схоластики и науки, в современном смысле этого слова. Первыми научными учреждениями Нового времени были Академии, созданные под покровительством королевской власти: английское Королевское общество (1662) и французская Академия Наук (1666). Это были общества, имевшие целью развитие науки и обмен научной информацией, но не преподавание, и выбиравшие своих членов из самых выдающихся учёных. Такие общества по необходимости были немногочисленны и элитарны. Ньютон получил образование в Кембриджском университете, где было уже глубокое научное преподавание: его учитель Барроу был предшественником дифференциального и интегрального исчисления. Он уступил Ньютону свою кафедру; таким образом, Кембриджский университет был первым, где преподавали современную науку — математику, физику и астрономию. Королевское общество, членами которого были Ньютон, Бойль и Гук, было первым местом, где эта наука обсуждалась и утверждалась печатными трудами. В 1687 году была опубликована книга Ньютона “Математические основы натуральной философии”, которую надо считать не только началом систематического научного мышления, но — с гораздо большим основанием, чем другие события, излюбленные историками — рубежом, отделяющим Новое Время от Средних веков.

Существует представление, что инициатива этого культурного развития принадлежала англичанам, а французы, развивая при-

шедшие из Англии идеи, доводили их до логического завершения. Не высказываясь по этому поводу, замечу, что Декарт, живший до Ньютона, вряд ли был чем-нибудь обязан англичанам, и что в XVIII веке научная и общественная инициатива несомненно переходит к французам: имена Лапласа, Лагранжа и философов Энциклопедии во главе с Дидро и Даламбером говорят сами за себя. Предыдущие замечания могут показаться далёкими от нашей темы, но после десятилетий до сих пор неизжитого патриотического идиотизма, может быть, полезно напомнить, где родилась современная цивилизация.

Английские университеты

Английские и французские университеты, ставшие в XIX веке очагами европейской культуры, заслуживают особого внимания: они приобрели элитарный характер и воспитывали учёных. В Англии это произошло, на английский лад, эволюционным путём. В Средние века Оксфордский и Кембриджский университеты давали образование *джентльменам* — сыновьям аристократов и богатых людей, предназначавшимся для высших государственных и духовных должностей, или просто удовлетворявшим свою любознательность. Это образование обходилось дорого, и уже по этой причине было элитарным; но оно не было закрыто и для способных людей из народа. Ньютон был сын зажиточного крестьянина, Гук был вначале часовщиком, а граф Рэтленд (писавший, как мы теперь знаем, под псевдонимом “Шекспир”) был аристократ. В науке, во всяком случае, простые люди сделали больше.

В XIX веке главную роль играли по-прежнему два старых университета, и только к концу века стали набирать силу новые университеты, о которых ещё будет речь. Как же были устроены английские университеты в XIX веке? Этот век был временем наивысшего расцвета европейской культуры; по-гречески человеческий возраст наивысшей силы назывался “акме”, и, по-видимому, акме нашей западной цивилизации пришлось на 1850 год, или около него.

Поскольку университеты не были устроены для бедных, число студентов было невелико, а число преподавателей и другого персонала было относительно высоким. Университет не интересовался тем, что теперь называют “успеваемостью”: профессор пользовался доверием университетских властей (их избирали сами профессора) и мог экзаменовать, как считал нужным. Студент получал диплом, сдав установленные экзамены; пока он их не сдал, он мог оставаться в университете как угодно долго — за собственный счёт. (Надо

сказать, впрочем, что самые способные молодые люди получали стипендии, учреждённые частными лицами: университет стипендий не платил, но брал плату за обучение, жилье и т. д.). Никого не беспокоило, если у профессора оставалось мало студентов.

Профессора были выдающиеся учёные, репутация которых основывалась не на преподавании, а на научных достижениях. Никому не приходило в голову контролировать содержание их лекций, устанавливать "число часов" для каждого курса и, тем более, сажать к ним на лекции проверяющих визитёров. Считалось само собой разумеющимся, что кафедра профессора — *это высшая инстанция науки*, что с его взглядами можно спорить, но нельзя его опекать и наставлять. В университете были чиновники для служебных и хозяйственных функций, но не больше. Все эти черты "академической свободы" были наследием средневековья.

В других отношениях средневековые традиции пришлось устранить. Поскольку невозможно было вместить всю науку в один учебный курс, пришлось отказаться от "полного" изложения предмета — что и произошло само собой, по мере расширения научных знаний. Профессор рассказывал (освещал, излагал) на лекциях только принципиальные вопросы своего предмета, предполагая, что студенты умеют читать книги. Это позволило сократить "курс лекций" до 15–20, или даже меньше. Чудовищные курсы в сотни часов, где приводятся (и обычно задиктовываются!) все подробности, остались теперь только в России. Университет не судил о работе профессора по его "нагрузке".

Всё это вовсе не значит, что техническая сторона науки находилась в пренебрежении. У профессора были ассистенты; в XIX веке их было всего 1–2. Они могли быть молодыми учёными, начинающими свою научную деятельность, или опытными учёными со склонностью к педагогической деятельности. В английских университетах "тьютор" вёл группу из 5–10 человек в течение долгого времени, иногда нескольких лет. Он хорошо знал каждого из своих студентов и, не имея чрезмерной "нагрузки", мог посвятить себя развитию их индивидуальных способностей. Если его предметом была физика, он проводил со студентами эксперименты, вникая во все подробности, какие могли быть опущены лектором; если это была математика, он решал со студентами задачи — непременно *трудные* задачи, потому что иначе весь предмет проходит впустую; если это был греческий язык, он читал со студентами оригиналы древних авторов и учил их всем тонкостям классической филологии. Само собой разумеется, что тьютор, предъ-

являвший такие требования студентам, должен был быть виртуозом своего дела. Профессор отличался от него тем, что был автором научных открытий и имел оригинальную концепцию своего предмета.

Характерной чертой английских университетов XIX века была “спортивная”, или состязательная оценка результатов обучения. Это, во всяком случае, относилось к точным наукам, в которых успехи оценивались трудностью решённых задач. Конкурсные задачи тщательно подбирались и держались в секрете до экзамена; они оценивались баллами, и место, занятое на конкурсе, определялось суммой баллов решённых задач. Человек, занявший на таком экзамене первое место, считался “окончившим первым по математике в таком-то году”. В начале XX века эта система, несколько напоминавшая наши “олимпиады”, вызвала серьёзные нарекания. Как всякая укоренившаяся традиция, конкурсная традиция стала вырождаться. Задачи принимали всё более специальный характер, вызвавший натаскивание на решение задач определённых типов. Далее, возникли сомнения, правильно ли оценивается на таких конкурсах понимание предмета: первые призёры, как обнаружилось, ничем не отличились в науке, а известные учёные занимали на конкурсах скромные места. Очень вероятно, что в таких экзаменах особую роль играло ограничение времени, больше соответствующее спортивным качествам, чем научным талантам.

Несмотря на все эти оговорки, решение трудных задач всегда было единственным способом проверки приобретённых знаний; в гуманитарных науках этому соответствовали сочинения и дискуссии. В хороших университетах такие методы исключали зубрёжку — и вместе с нею всех, кому незачем было учиться высоким материям. Уже в наше время англичане, с характерной для них практичностью, изучили этот вопрос и пришли к выводу, что всего 4% населения могут извлечь пользу из высшего образования.

Высшие учебные заведения во Франции

Иначе возникли элитарные университеты во Франции, где они в XIX веке часто назывались другими именами. Во Франции было много средневековых университетов, в том числе знаменитый Парижский, с его Факультетом наук и Гуманитарным факультетом (“Сорбонной”). Во время Великой революции оказалось, что эти учебные заведения не могут удовлетворить потребностям республики в учёных, инженерах и администраторах с современной подготовкой. Франция имела первоклассных учёных, но их было мало, и

научное развитие происходило в Академии наук, вне сферы преподавания. Правительство республики решило эту проблему революционным путём, учредив высшие учебные заведения нового типа — Политехническую школу для подготовки инженеров и Нормальную школу для подготовки учителей. Организация этих школ, сразу же превратившихся в первоклассные университеты, была вверена таким выдающимся учёным, как Лагранж, Лаплас, Монж, Бертолле.

Тем самым был устранён разрыв между наукой и образованием. Высокий уровень преподавания, строгие экзамены вскоре превратили эти учебные заведения в университеты элитарного типа, принимавшие ежегодно всего несколько десятков юношей. Подготовкой техников для простых предприятий и учителей для начальных школ пришлось заняться другим учреждениям, но Франция приобрела подлинно высшее образование.

Новые французские школы были непохожи на старые английские университеты: в них с самого начала не было аристократического духа. Напротив, они сохранили, при всех политических переворотах XIX века, республиканский дух революции, которая их создала. Эти школы были элитарными только в смысле серьёзной научной подготовки — к которой со временем начали приближаться другие французские университеты. В новых школах студенты жили в общежитиях, на полном государственном довольствии, подчиняясь полувоенной дисциплине. Они были доступнее бедным учащимся, чем английские университеты, но больше контролировались правительством, так что чиновники играли в них некоторую роль — далеко не такую, как у нас; да и чиновники у них были грамотны.

Французские высшие школы, как и английские университеты, славились трудными конкурсными экзаменами. Можно только удивляться, с какими задачами справлялись их студенты. В политехнической школе максимальная сумма баллов для всех экзаменационных задач составляла 2000; за всю историю школы наивысшую оценку в 1850 баллов получил Жак Адамар, в будущем — великий математик. Как мы уже знаем, “первые ученики” редко оправдывают возлагаемые на них надежды, так что в этом случае мы имеем исключение.

Элитарные университеты Франции создали великолепные научные школы — в математике, физике, астрономии, химии. Пастер, бывший студентом, а потом назначенный директором Нормальной школы, совершил революцию в медицине. Конечно, лучше выборные ректоры, чем назначаемые директора — но, как видите, не всегда: важно ещё, кто их назначает.

Университеты Германии как образец для российских

К сожалению, университеты передовых стран — Англии и Франции — мало повлияли на историю русских университетов. На них оказала решающее влияние университетская система более отсталой страны — Германии. Германия, населённая одной нацией и говорящая на одном языке, по историческим причинам не стала единым государством, а оставалась до 1870 года конгломератом из десятков малых государств, управляемых феодальными династиями. Крепостное право, давно исчезнувшее в Англии и во Франции, сохранилось в разных частях Германии до XIX века. Многочисленные немецкие университеты сохранили свои средневековые структуры. Студенты продолжали делиться на "ландсманшафты", по месту своего происхождения, предавались попойкам и дрались на дуэлях. К счастью, эти обычаи немецких студентов не привились в России, но многие особенности немецкой учёности и немецкого преподавания сыграли важную роль в русской университетской жизни и русской истории.

Германия дольше всех стран Европы сохраняла средневековый способ печатания — готический шрифт, имитирующий привычные средневековому читателю рукописные буквы. Немцы окончательно перешли к "римскому шрифту" только в 1940 году, по распоряжению рейхсканцлера (каковым был тогда Адольф Гитлер). Немецкие учёные, славившиеся обширными знаниями, в вопросах мировоззрения сохранили ребяческую религиозность и сентиментальную преданность установленным властям: у них были "готические головы". Именно в Германии развилась консервативная реакция на французскую революцию, названная "романтизмом". Конечно, Германия не осталась изолированной от европейской науки, и в течение XIX века в немецких университетах развилось естествознание. Но в начале этого века, когда Россия перенимала немецкие университетские порядки и приглашала немецких профессоров, немецкая наука сводилась преимущественно к филологии и философии. Филология была преимущественно "классической", то есть состояла в изучении безопасных греков и римлян; а о философии придётся кое-что сказать.

Немецкая классическая философия и её фатальное влияние на русское общество

Конечно, здесь не место заниматься историей философии, но если мы хотим понять фатальное влияние гегелевской схоластики на русское общество — сначала прямое влияние самого Гегеля, а потом косвенное влияние через "марксизм" — то неизбежно возникает

вопрос о так называемой “немецкой классической философии”, господствовавшей в начале прошлого века в немецких, а потом и в русских университетах. Собственно говоря, традиционная, то есть средневековая философия была разрушена критическими работами Локка и Юма, а французские энциклопедисты решительно и бескомпромиссно выразили новую философию эмпиризма. Готические головы немецких философов не могли этого переварить: эмпиризм казался им “плоским” и “бездуховным”. Философия Канта была попыткой примирить идеи Нового времени с верой в бога, которого надо было непременно сохранить, хотя бы в интересах нравственности: теоретический разум требовал “врождённых идей”, а практический — хорошего поведения. Но влияние Канта ограничивалось гносеологией, и потому касалось лишь философов. Широкую популярность в обществе получили откровенные схоласты — Фихте, Шеллинг и Гегель, фантастически невежественные в современной науке, очень консервативные и в теории, и на практике. Как известно, Гегель, видевший в своей философии завершение человеческого мышления, считал прусское королевство конечным продуктом истории; должно же было случиться так, чтобы он занимал кафедру в Берлинском университете!

Готические головы были даже у тех немцев, которые не дорожили расположением начальства. Молодой Маркс, приехавший в Париж, больше всего хотел быть объективным учёным, но гегелевская “диалектика” отравила на всю жизнь его мышление, а гегелевский “кудрявый” стиль изложения до сих пор отталкивает его читателей. Философия Гегеля господствовала в Германии по той причине, что она была, подобно романтической литературе, реакцией на французскую революцию. Как мы увидим, она заняла такое же положение в России — просто потому, что была импортирована из Германии.

В эпоху “Священного Союза”, когда государи Европы делали всё возможное для подавления “революционных” настроений, германские университеты были под особым подозрением. Молодежь, восприимчивая к либеральным идеям, находилась под пристальным полицейским наблюдением. Конечно, в таких условиях не было серьёзных реформ, и немецкие университеты сохраняли свой средневековый характер. Преподавание сводилось к длинным курсам лекций и формальным экзаменам. Не было серьёзных требований к самостоятельности студентов, и не было практических занятий, развивающих такую самостоятельность. Студентов было много, но это вовсе не означало демократического направления университетов: целью

их была подготовка чиновников. “Бурши” проводили время в грубых развлечениях, а перед экзаменами принимались зубрить, как это изображается в немецкой литературе, и как это делают наши студенты. В общем, это были чиновничьи университеты — русские молодые люди, ездившие учиться в Германию, не видели лучших.

4. Университеты в России

В России до начала XVIII века вряд ли ощущалась потребность в высшем образовании. Не было даже начальных школ: нуждавшиеся в грамоте брали частные уроки. При Алексее Михайловиче устроили нечто вроде духовной семинарии, где учили монахи из Киева; как полагали, это были люди сомнительного православия, поскольку они знали латынь. Только при царском дворе были врачи, которых выписывали из-за границы. Потребность в технических специалистах начала ощущаться лишь в XVII веке, когда обнаружилось, что русские войска бессильны против европейских армий. В Москве постепенно образовалась европейская колония, которую изолировали в Немецкой слободе, чтобы немцы не соблазняли москвичей в латинскую и лютерскую веру. Немцами называли тогда вообще иностранцев, потому что они “не умели говорить”; а потом уже это слово стали применять к самым близким и знакомым из них, жителям Германии. Любопытно, что татар и поляков, тоже “не умевших говорить”, не называли всё-таки немцами. “Немцы”, жившие в Немецкой Слободе, конечно не принадлежали к лучшему европейскому обществу: лучшие специалисты могли устроиться и поближе, так что Петру Великому пришлось воспитываться среди неудачников и авантюристов. Но юноша, одарённый практическим умом, умел расспрашивать; со временем он узнал имена Ньютона и Лейбница. Ньютон не захотел ехать в Россию; Лейбниц тоже в Россию не поехал, но рекомендовал Петру молодых немецких учёных, которые составили славу Петербургской Академии; среди них были Эйлер и Даниил Бернулли.

Академия Наук, которую сам Пётр не успел устроить, была из учёных немцев; но при ней была гимназия, где учились русские. Конечно, при ближайших наследниках Петра Академии пришлось нелегко, но она выжила. Единственным серьёзным учёным из русских был тогда М. В. Ломоносов, но утвердилась самая идея высшего образования, и уже в XVIII веке Академия стала посылать молодых людей учиться за границу. Наконец, в 1755 году Елизавете Петровне внушили идею основать университет. Поскольку северная

столица была в далёком углу России, неудобном для сообщения с дворянскими имениями — откуда ожидали студентов, — то местом для университета благоразумно избрали Москву. Чтобы поощрить молодых людей туда поступать, с университетским дипломом были связаны некоторые карьерные привилегии. Что касается профессоров, то их стали приглашать из Германии, по протекции академических немцев; и так как уже не было Петра, кафедры заполнялись случайными людьми. Вплоть до царствования Александра I история нашего единственного университета сводилась к воспроизведению немецких образцов — людьми, не умевшими устроиться в Германии. Как и в Германии, это было учреждение для подготовки чиновников. Студентов было много — несколько сот, экзамены были несерьёзные, и молодые люди, как правило, думали только о будущей служебной карьере. Но главной чертой университетского преподавания, сохранившейся до наших дней, были бесконечно длинные и скучные курсы, обычно читаемые "по бумажке", то есть по раз навсегда заготовленной тетради. Содержание этой тетради профессор мог привезти с собой из Германии, где он записал всё это на лекциях; русский ученик этого немца мог, в свою очередь, читать по той же тетради, или по какой-нибудь, всегда одной и той же книге. Такие профессора составляли большинство и гораздо позже, во время описавшего их Герцена, но в XVIII веке не было других.

Александр Павлович, при всех его слабостях, был первый русский царь, получивший европейское образование; он много сделал для просвещения России. Если основанный им Царскосельский Лицей и не исполнил всех возложенных на него надежд, то в нём был воспитан Пушкин. Уже в 1803 году был открыт Виленский университет и возобновлён Дерптский университет, в нынешней Эстонии; в 1804 году основаны университеты в Харькове и Казани, а в 1819 году преобразован в университет Главный педагогический институт в Петербурге. Университеты были снабжены вначале либеральными уставами, в духе первых лет царствования Александра; но эти уставы остались на бумаге, поскольку царя всё больше беспокоили революционные настроения в Европе, и очень скоро в университетах, как и в армии, установился "аракчеевский режим". Система наблюдения и доносов должна была предотвратить распространение свободных идей, в соответствии с политикой австрийского канцлера Меттерниха, которой всё больше руководствовался русский царь. Всё же Александр понимал, что в русских университетах надо иметь и русских профессоров, и что в России их готовить негде. Было решено посылать способных молодых людей за границу "для подготовки к

профессорскому званию". Теперь в этом ощущалась действительная нужда, потому что уже были университеты.

Подготовка русских профессоров в Германии и влияние немецкой классической философии

Куда же можно было посылать этих молодых людей? Было три европейских страны, возглавлявших современную цивилизацию: Англия, Франция и Германия. Англия, однако, была оплотом либерализма; она не вошла в "Священный Союз" европейских монархов, в ней сохранялась парламентская система правления и свобода печати; молодые люди могли набраться в Англии нежелательных идей. Кроме того, английский язык был почти неизвестен в России, где обиходным языком дворян был французский, а языком "учёного сословия" — немецкий. Франция тоже не подходила: хотя союзники навязали ей старую династию Бурбонов, там была всё же конституционная хартия, был парламент с оппозиционными партиями, и была бесцензурная печать. Непрерывные заговоры напоминали о бурном прошлом и предвещали Франции новые революции, так что молодым людям опасно было дышать воздухом Парижа. Оставалась Германия, где сорок шесть государей, восстановленных после наполеоновских войн, безмятежно правили своими королевствами и княжествами, отечески опекая своих подданных с помощью бдительной полиции. В Германии печать была под надёжным присмотром цензуры, профессора, при всей своей учёности, дорожили своими местами и были благонамеренны, и даже самые неистовые романтики знали своё место и не судили о том, что их не касалось. Как выразился философ Гегель, в Германии каждому "предоставлялась свобода несколько резвиться вокруг своего положения". И лучше всех немецких государств была Пруссия, по-видимому, сочетавшая высокую цивилизацию с идеальным полицейским порядком. Берлинский университет славился учёностью своих профессоров, излагавших с немецкой основательностью всевозможные предметы, не касавшиеся окружающей жизни. Более того, в Берлине читал философию сам Гегель, признанный (по крайней мере в Германии) глубочайшим философом. Таким образом, для "подготовки к профессорскому званию" лучше всего подходила Германия, и результаты этого вскоре сказались.

Молодые люди, попавшие в Берлин, знали только гуманитарную учёность своих немецких профессоров и были вполне невежественны во всём, что действительно происходило в науке того времени. В Берлине они слушали главных немецких профессоров, опиравших-

ся на авторитет главного немецкого университета, и верили, что здесь находится вся новейшая мудрость Европы. Немцы всё ещё полагали, что в центре всего человеческого знания стоит *философия* — синтез всех наук и руководящая инстанция всякого познания. В это давно уже не верили в Париже и Лондоне, где занимались наукой в стиле Нового времени, и где все серьёзные учёные при упоминании философии лишь пожимали плечами. В Берлине всё это выглядело иначе. Здесь сохранилась средневековая вера во всемогущество "чистого разума", не нуждающегося в эксперименте и способного произвести из самого себя, методом "интроспекции", то есть наблюдения за процессами собственного мышления, всё возможное знание о мире. Конечно, в этом заблуждении больше всего был виновен Платон, праотец богословия и схоластики. В Лондоне и Париже давно уже не занимались такой деятельностью, но немцы всё ещё писали громадные трактаты, объясняющие весь мир *из общих принципов*, без выхода из головы, где эти принципы родились. Эти трактаты (напечатанные готическим шрифтом) содержали, как предполагали немцы, квинтэссенцию всего возможного знания, и если язык их казался малопонятным, это указывало на их особую глубину. Автором самых непонятных и, следовательно, самых глубоких трактатов был Гегель, и молодые русские учёные уверовали, что в его трудах содержится всё, что надо знать, а может быть и всё, что *можно* знать — потому что так думал сам Гегель, главный философ в Берлине и, следовательно, величайший мудрец Европы. И эти молодые люди принялись изучать его готические трактаты с усердием неофитов, обращённых в истинную веру. Из них воспитались гегельянцы, то есть схоласты, подгонявшие все явления природы и общества под шаблоны гегелевской системы и верившие, что в этом и состоит *объяснение* всех явлений. Поскольку философия Гегеля была официальной философией прусского королевства, её не считали опасной. Такие профессора, как Редкин, получили возможность дурачить студентов своей наукообразной болтовнёй, выдавая её за *последнее слово европейской науки.*

В первой половине XIX века "немецкая классическая философия" была влиятельна только в Германии, точнее, в Северной Германии, потому что католические университеты на юге её не одобряли. В других странах её влияние проявилось уже после "акме" европейской культуры и было признаком её декаданса. В общем, если не считать учебников по истории философии, влияние немецкой философии проявилось лишь через еретика-гегельянца, эмигриро-

вавшего из Германии Маркса. Но в самой Германии эта философия укрепилась не только благодаря готическому мышлению немцев, но ещё и по вполне определённой политической причине: она была философской реакцией на французскую революцию, вполне приемлемой для немецких правительств эпохи Священного Союза. По этой же причине она была единственной философией, допущенной в Россию.

Трагично, что легковерные русские, с жадностью поглощавшие всякую приходившую из Европы "благую весть", восприняли как откровение эти готические фолианты, подчиняя им своё мышление. Они вдыхали пыль средневековья, воображая, что следуют последней европейской моде. Среди людей, попавших под влияние немецкой философии, были и консерваторы, и будущие радикалы. Так называемые славянофилы, воспитанные на Шеллинге и Гегеле, прямо перенесли в Россию немецкую консервативную и националистическую оппозицию французскому революционному духу. Консервативный либерал Чичерин, ожидавший всех реформ от царя, был всю жизнь неисправимым схоластом-гегельянцем. Но и вольнодумцы из кружка Станкевича, умеренные либералы, и будущий отец анархизма Бакунин попадают во власть гегельянской диалектики. Вырываются из неё самые способные — Белинский и Герцен. Теперь мы наблюдаем рецидив немецкой схоластики — возродившийся интерес к "русской религиозной философии"; поскольку этим занимаются неверующие и неспособные, никакой философии у нас по-прежнему нет.

Возникновение научного образования в России

Но в то же время, в начале XIX века, в русских университетах возникла и серьёзная наука, не предусмотренная начальством. Поскольку на экспериментальные работы не давали денег, у нас не было исследовательских лабораторий; этим объясняется преимущественно теоретический характер возникшей в России науки. Первым русским учёным, получившим известность в Европе, был М. В. Остроградский — один из отцов математической физики. Он окончил в 1819 году Харьковский университет с блестящим успехом, но у него отобрали диплом по доносу профессора философии, обвинявшего молодого человека в неблагонадёжном образе мыслей. Ему удалось уехать во Францию (где как раз в это время не было революции!); там он завершил своё образование и начал преподавать в одном из парижских коллежей. Между тем, правительство усмотрело, что России нужны инженеры, и в Петербурге был

создан Институт путей сообщения, неизбежно подражавший своей организацией и программой парижским высшим школам. Были даже приглашены профессорами два француза, Клапейрон и Ламе, которые оказались прекрасными математиками и физиками — в то время эти профессии не разделялись. В отличие от приглашённых в университеты немцев, эти французы оставили в науке свои имена. Вскоре к ним присоединился вернувшийся в Россию Остроградский, и в Петербурге возникло научное образование. Между тем, в Казанском университете в то же время (1826 г.) молодой профессор Н. И. Лобачевский доложил работу, содержавшую великое открытие — неевклидову геометрию. Лобачевский никогда не был за границей, он учился у посредственных немецких профессоров. Но поскольку он опередил своё время, его постигла судьба, достойная гения — он был осмеян. Его не поняли даже лучшие учёные того времени. Остроградский, самый авторитетный математик в России, инспирировал статью в журнале, высмеивавшую претензии казанского профессора.

До "эпохи великих реформ", то есть до второй половины XIX века, в России были только отдельные самостоятельные учёные. Но уже самый факт существования университетов, где собралась лучшая русская молодёжь, был важным стимулом развития русской культуры. Процесс развития культуры, как и другие исторические явления, обусловлен "кумулятивным эффектом": постепенное накопление материала приводит к спонтанному возгоранию. Мемуары и публицистика того времени дают об этом ясное представление: достаточно вспомнить "Былое и думы" Герцена и статью Писарева "Наша университетская наука". Беспощадная критика русских университетов уже означала, что было кому их критиковать. Студенты жадно воспринимали науку своего времени, даже если ее преподавали посредственные профессора, и дополняли это дозволенное знание чтением книг, не всегда дозволенных или прямо запрещённых. Напомню, что большинство из них знало французский и немецкий, и что сколько-нибудь важные книги проникали в Россию, несмотря на все меры начальства. Университеты, созданные при Александре I, стали рассадниками новых европейских идей. За редкими исключениями, настроение студентов и даже преподавателей было оппозиционным. Это явление нуждается в объяснении.

Оппозиционность русских университетов

В России становилось всё больше образованных людей. В начале XIX века, как свидетельствуют тиражи русской печати, было всего

несколько тысяч человек читающей публики, а в середине века она уже насчитывала десятки тысяч: вспомним, что и в Западной Европе подавляющая масса населения была в то время неграмотна. Образованные люди происходили теперь из разных слоев общества, и потому назывались "разночинцами". Они были детьми чиновников, ремесленников и торговцев, иногда даже крестьян, но особенно часто они происходили из духовенства: дети священников очень скоро освобождались от религии. Чаще всего им приходилось служить в государственных учреждениях, но в России образование было европейским и неизбежно свободным, а государство деспотическим, и по своему образу действий справедливо считалось азиатским. Между образованными людьми и российским государством возник раскол, не сравнимый ни с чем в истории Европы.

Образование отчуждало человека от русской жизни. Крепостное рабство подавляющей массы населения представлялось ему чудовищной несправедливостью, правящее и не работающее барство — классом паразитов-рабовладельцев, а вся система управления — колоссальной бессмыслицей. Вся официальная идеология была для него очевидным лицемерием, и поскольку она основывалась на православной религии, то и религия стала для него частью этой системы угнетения и лжи. В Европе молодой человек, получивший образование, сохранял уважение к занятиям своего отца и чаще всего наследовал его общественное положение: это была естественная, исторически сложившаяся система воспитания. В России же образованный человек, смотревший с одинаковым отвращением на барскую усадьбу, чиновничью канцелярию и церковь, становился *асоциальным*, не находил себе места в сложившейся русской жизни. Это и была та "беспочвенность" русской интеллигенции, на которую жаловались впоследствии её консервативные ренегаты.

Неизбежный разрыв между идеалом и действительностью принял в России особенно резкую форму, потому что реформы Петра застали её культуру неразвитой и по существу бесписьменной. Развитие воспринималось как подражание "чужому", а когда из этого развития возникали гибридные квазиевропейские учреждения и понятия, из Европы вскоре приходили новые идеи, и всё "своё" снова представлялось нелепым и смешным. Нечто подобное происходило в азиатских странах, например, в Китае и Японии, но там была развитая, давно сложившаяся культура; впрочем, Китаю тоже предстояла необычная судьба.

Разрыв с традицией, происшедший у разночинцев в течение одного поколения, имел особенные психологические следствия. Люди,

получившие европейские понятия из книг и разговоров, придавали европейским идеям полное, бескомпромиссное значение: религия отбрасывалась как "опиум для народа", демократия понималась как "народовластие", и очень скоро выяснилось, что, по выражению Прудона, "собственность — это воровство". Все ограничения и препятствия, возникающие при практическом применении таких идей, русским интеллигентам были неизвестны, потому что практическая жизнь вокруг них была совсем другой. Конечно, они были наивны — часто наивны, как дети. Мемуары XIX века — Герцена, Кропоткина, Морозова — правдиво описывают эту среду.

Русские университеты до революции и зарождение русской интеллигенции

В дореволюционной России было всего десять университетов: Московский (открытый в 1755 году), Казанский и Харьковский (с 1804 года), Петербургский (с 1819 года), Киевский (с 1833 года), Одесский (с 1864 года), и Томский, устроенный на средства сибирских купцов (с 1888 года), а также польский университет в Варшаве, немецкий в Дерпте (нынешний Тарту) и шведско-финский в Гельсингфорсе. В первой половине XIX века в каждом из них было несколько сот студентов, а в 1900 году студенты считались уже тысячами. Состав студентов был с самого начала всесословный, но считалось, что в Московском и Петербургском университетах преобладал чиновничий элемент, в Казанском и Одесском — духовный, в Варшавском — дворянский. Мотивом создания университетов была потребность в образованных чиновниках, без которых нельзя было управлять сложившейся в XVIII веке обширной империей. При централизованном, бюрократическом государственном устройстве роль чиновников была больше, чем где бы то ни было в Европе; а поскольку Россия стала великой европейской державой, функции этих чиновников не могли быть слишком просты.

Но, с другой стороны, университетское образование вносило в понятия студентов европейский элемент, поскольку сами предметы преподавания были неизбежно западного происхождения. Западное влияние, проникавшее в Россию всевозможными путями, было всегда "либеральным", то есть развивало самостоятельность мышления и представление о более свободных формах жизни. Чтобы предотвратить это влияние на русскую молодёжь, правительство, как мы уже видели, выбрало в качестве образца *немецкие* университеты, наименее свободные и сохранившие в своём преподавании ряд средневековых особенностей. Отсюда, как уже было сказано,

произошли непомерно длинные курсы лекций с задиктовыванием по тетради неизменного текста и экзамены, требовавшие зубрёжки. Все эти черты уцелели до наших дней, когда в самой Германии их давно уже нет. Вначале профессоров приглашали тоже из Германии, и лекции читались по-немецки; предполагалось, что студенты их понимают. Потом стали посылать молодых людей в Германию "для подготовки к профессорскому званию". Но русская молодёжь была непохожа на немецкую.

Как видно из мемуаров того времени, особенно из воспоминаний Герцена, студенты отчётливо делились на две категории. Большинство их составляли люди скромного достатка, или просто неимущие, нуждавшиеся в дипломе для карьеры; часть из них получала государственные пособия и жила в чём-то вроде общежитий. Эта, казалось бы, самая демократическая группа студентов не проявляла интереса к новым идеям. Но было значительное меньшинство, настроенное совсем иначе и преследовавшее другие цели. Эти молодые люди, большей частью получившие с детства домашнее образование и знавшие иностранные языки, не довольствовались казённым преподаванием, часто заслуживавшим презрения; они искали знание в иностранных книгах, передавая друг другу и обсуждая не только серьёзные научные труды, но и всевозможную запретную литературу. Из этих кружков и вышла русская *интеллигенция*, хотя этого слова ещё не было в употреблении, и русская *революция* — это слово было известно и вызывало страстный интерес. Таким образом, русское правительство, открыв университеты, вопреки своей воле способствовало формированию оппозиционной среды. Парадоксально и характерно для России то обстоятельство, что враги существующего строя происходили вначале из общественных слоев, занимавших в нём привилегированное положение и, как можно было думать, заинтересованных в его сохранении. Мы уже видели, каким образом в России воспитывалась такая молодёжь. Это явление, единственное в истории, описано в классических русских мемуарах — Герцена, Кропоткина и Морозова.

Уже в 1820-е годы развитие "либеральных" идей в русских университетах вызвало страх у царя Александра Павловича, совершившего к тому времени эволюцию в сторону консервативной реакции. В эти годы царь Александр, в юности заявлявший себя республиканцем и мечтавший бежать от ненавистного рабства в Америку, ударился в христианский мистицизм, в то же время доверившись тупому солдафону Аракчееву с его системой военных поселений. Узнав о "либеральных" тенденциях в им же устроенных универси-

тетах, он подчинил их примитивным обскурантам, никому не известным Магницкому и Руничу, которые принялись насаждать там казарменную дисциплину и казённое православие. Но университеты он всё же не закрыл; обскуранты, как всегда бывает, проворовались, и профессора продолжали свои сомнительные лекции — среди них уже были русские профессора, учившиеся в Германии. Студенты учились у них философии Шеллинга и Гегеля, а из других источников знакомились с наследием вольтерьянцев и якобинцев. Александра Павловича преследовал страх перед революцией, и революция шла уже в головах его молодых подданных. В сущности, у царя не было выхода: Аракчееву нельзя было поручить никакие университеты, а те, какие были, нельзя было ни исправить, ни закрыть. В наше время эти проблемы, наконец, решены: у нас вполне смирные университеты, но Россия перестала быть великой державой. Можно думать, что эти вещи связаны между собой: как говорил некогда Бэкон, "знание — сила".

Восстание декабристов не было делом университетских людей: офицеры имели совсем другое воспитание. Они набрались новых идей во время европейских походов. Это были те же "либеральные" идеи, в самом упрощённом виде, но и этого было достаточно, чтобы пошатнуть царский престол. Николай Павлович, которого не готовили к трону, получил очень узкое образование и вообще никаких идей не любил. Он любил дисциплину и порядок. Сначала он хотел просто закрыть университеты, но передумал и ограничился полумерами. Как известно, градоначальник города Глупова, Угрюм-Бурчеев, "въехал в город на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки". Ясно, кого изображал этот деятель, но идеальные фигуры встречаются только в литературе. Николай Павлович всего лишь сократил число студентов и повысил плату за учение. Кроме того, он упразднил за ненадобностью преподавание философии — всякой философии вообще. Николай Павлович сумел найти также Аракчеева для русской науки: это был Сергей Семёнович Уваров, филолог, занимавшийся греческими древностями и получивший впоследствии — отнюдь не за это — графское звание. Этот молодой человек, учившийся в Геттингене, был однажды принят старым Гёте, который, впрочем, и вообще был вежлив с аристократами. В 1810 году (в возрасте 24 лет!) Уваров был назначен попечителем петербургского учебного округа, в 1818 — президентом Академии Наук. При вступлении в эту должность он говорил ещё о политической свободе, как "последнем и прекраснейшем даре Бога", и был близок к известному литературному кружку "Арзамас". Это не помешало

ему после воцарения Николая переменить позицию: он стал врагом Пушкина, попечителем цензуры и выразил нетерпеливое пожелание: "Когда же, наконец, прекратится русская литература!". Когда в 1833 году он был назначен министром народного просвещения, он писал попечителям учебных округов: "Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединённом духе *православия, самодержавия и народности*". Эти слова, внесённые в графский герб Уварова, стали программой российского казённого образования. "Православие" и "самодержавие" вряд ли нуждаются в пояснениях; что касается "народности", то Уваров принимал меры с целью "удержать низшие сословия в соразмерности с гражданским их бытом в отношении к образованию их детей и побудить их ограничиваться уездными училищами"; для этого был повышен размер платы за обучение в средних и высших учебных заведениях. Президентом Академии Наук он оставался до самой смерти. Заслуги графа Уварова перед русской наукой не уступали, таким образом, его подвигам на поприще русской литературы. Аракчеевы этого рода всегда получаются из ренегатов.

Революция 1848 года грянула, как снег на голову, перекинулась из Франции в Германию и охватила всю Европу. Николай Павлович увидел в этом следствие того же "либерализма" и принял лихорадочные меры, чтобы в России всякий либерализм окончательно извести. Можно предположить, что надлежащими мерами для этого было бы закрытие всех органов печати и всех учебных заведений, но, должно быть, царю объяснили, что такие панические решения были бы приняты иностранными державами за признаки крайнего неблагополучия. Николай ввёл фантастическую, многоступенчатую цензуру печати и привёл самих цензоров в крайнее замешательство, а в университетах устроил систему муштры и доносительства, угрожавшую всем — и студентам, и профессорам — сдачей в солдаты. Крамолой была уже охвачена, как можно было подумать, вся молодёжь, да и вся образованная публика была раздражена бессмысленными строгостями. В стране не было беспокойства — его создавала сама власть. Но уже формировалась новая сила — общественное мнение, ясно видевшее необходимость перемен. Самой необходимой из них была отмена крепостного права. Об этом думал и сам Николай, и этот жгучий вопрос келейно обсуждался в секретных комитетах.

Между тем, царь втянул Россию в безрассудную войну. Он переоценил свою военную силу, которую видел только на парадах. Его

дилетантские выходки против Турции вызвали коалицию Англии и Франции на стороне турок. У России не было союзников, но русские дворяне привыкли побеждать и ждали лёгкой победы. Более того, многие ждали от войны нравственного очищения и — каким-то образом — решения всех проблем. Надо было только отобрать у турок Константинополь и водрузить крест на Святой Софии, остальное сделает бог! Славянофил Хомяков выразил эти упования звучными стихами, попутно описав положение России:

В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймлена,
Бесстыдной лести, лжи тлетворной
И лени мёртвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Так говорил верующий монархист Хомяков, но было всё больше неверующих, а монархия перестала вызывать священный трепет. Рубежом послужила Крымская война. Толстой описал упорную защиту Севастополя и все ужасы организованного убийства. Но была другая сторона этой войны: она подорвала державную уверенность россиян. Произошло нечто неслыханное. Со времён Петра русские не терпели поражений, такого не было в памяти старших и в воспитании младших. Казалось самоочевидным, что турки, уже изгнанные из Крыма и черноморского юга, будут окончательно посрамлены: все войны с этими нехристями триумфально свидетельствовали о русском превосходстве. Как возгласил Державин, "Гром победы, раздавайся!" Да и в Европе, как говорил Суворов, "русские прусских всегда бивали". Вся эта мифология рухнула в Крыму.

Союзники не могли добраться до России сухим путём: Австрия и Пруссия сохраняли нейтралитет. Казалось бы, они могли только помочь туркам в самой Турции. Но они вдруг высадились на русской территории и осадили базу черноморского флота — Севастополь. Можно было подумать, что это было безнадёжное предприятие, что могучая русская армия сбросит их в море. Но ничего подобного не произошло. Вместе с турками высадились англичане и французы, да ещё "сардинцы", то есть северные итальянцы. Они осадили крепость и в конце концов её взяли. И вдруг стало ясно, что продолжать войну невозможно. В России ещё не было железных дорог, солдаты шли пешком, а грузы везли в телегах. Дорога в Крым была долгая и, собственно говоря, вообще не было дорог. Море меньше мешало союзникам, чем русское бездорожье — у них были пароходы, и с ними не мог справиться русский парус-

ный флот. Ружья у них были тоже нового типа, и вся материальная часть была на уровне времени. Русские ощутили, что от них время ушло. Даже русская доблесть мало значила в этот железный век; впрочем, враги были тоже доблестны, и можно было усомниться, всегда ли крепостные солдаты будут безропотно умирать по команде своих господ.

Перемена в общественном мнении застала русское правительство врасплох. Николай умер от загадочной болезни в конце войны, и возникло подозрение, что он покончил с собой. Прежние авторитеты потеряли значение. Гарин-Михайловский вспоминает, как старый генерал жаловался на молодых людей, не замечающих на улице его генеральство. Кропоткин вспоминает, как молодёжь — даже знатного происхождения, как он сам — стала пренебрегать карьерой, стремиться к полезному знанию. Конечно, общее либеральное течение, обновившее русскую жизнь в эпоху великих реформ, должно было со временем разбиться на течения разного направления. Бо́льшая часть либералов надеялась на мирные реформы, на постепенный рост благосостояния и культуры. Но было и радикальное меньшинство, не верившее в намерения начальства и ненавидевшее весь государственный строй России. Правительство, охранявшее бюрократическими мерами этот строй, делало всё, что могло укрепить недоверие и ненависть молодёжи. Короленко описал всё это в своих потрясающих воспоминаниях: он поплатился за независимое поведение ссылкой в Якутию. Кропоткин, сначала ставший выдающимся географом и геологом, бросил науку и ушёл в революцию.

Между тем, университеты продолжали свою работу. Александр II устранил самые одиозные ограничения и восстановил некоторые из “академических свобод”. К университетам прибавилось несколько технических и медицинских институтов, число студентов возросло. Появились русские профессора по всем наукам, и многие из них стояли на уровне европейских. Чиновники следили тогда только за внешним порядком и почти не вмешивались в преподавание и экзамены, кроме гуманитарных наук, где требовалась некоторая умеренность. Надо отдать себе отчёт в том, насколько русские университеты того времени отличались от нынешних. Теперь чуть ли не бо́льшая часть оканчивающих школу идёт в так называемые “вузы”. Сотни тысяч бездельников, по-прежнему именуемых студентами, получают дипломы, всё ещё нужные для карьеры, но уже не составляющие никакого отличия. Иначе было в старой России: доступ к высшему образованию был труден, и диплом требовал

серьёзных усилий. Студенты из бедных семей должны были содержать себя сами; лишь небольшая часть их получала стипендии и освобождалась от платы за учение. На сто тысяч населения даже в конце XIX века приходилось меньше десяти студентов, а общее число их было меньше 15 тысяч. Университеты не беспокоились об "успеваемости": диплом получало меньше половины поступивших. Таким образом, экзаменаторы могли безнаказанно предъявлять студентам серьёзные требования. Хорошим преподавателем считался не тот, кто ставил лучшие оценки — как это установилось при советской власти. Наконец, преподаватели университетов имели время всерьёз заниматься наукой, и почти все серьёзные учёные читали лекции в университетах. Нетрудно понять, что в этих условиях звание профессора, и даже студента, было почётным: университетская среда была подлинной элитой русского общества — его трудовой элитой — в отличие от элиты знатных и богатых, внушавшей молодёжи презрение.

Понятия этой молодёжи правильно отражают тургеневский Базаров и статьи Писарева, умершего очень молодым, а также не очень талантливый, но необходимый для понимания эпохи роман Чернышевского "Что делать". Лопухов и Кирсанов — типичные университетские люди той поры, даже списанные с конкретных исторических лиц; Рахметов же представляет скорее неудачное предсказание более радикальной среды, которой автор ещё не знал. Столкновение интеллигенции с мещанством, изображённое в этом романе, имеет историческое значение — не только для России. Что же такое интеллигенция?

В своём современном значении — это русское слово, перешедшее затем в другие языки (английское *intelligentsia*, и т. д.). Первоначально было слово *intelligence*, *intelligenz*, означавшее просто "умственные способности", но в России 1860-х годов это слово стало применяться для обозначения особого слоя людей, ставивших интересы "народа" выше своих личных. Ещё в начале 60-х годов оно было в устном употреблении: в 1864 году его можно найти в дневнике цензора Никитенко. Но в печати оно впервые появилось, как теперь доказано, в 1868 году, в трёх независимых статьях выдающихся русских публицистов: Н. К. Михайловского, Н. В. Шелгунова и П. Н. Ткачева.

Русские университеты — школа интеллигенции

Русские университеты стали школой интеллигенции. Как уже говорилось, значительное большинство её было настроено либераль-

но, то есть надеялось на мирную эволюцию России, действительно развивавшейся в сторону европейской экономики и культуры. Сторонниками такой эволюции были все выдающиеся учёные России: Менделеев, Чебышев, Сеченов, Павлов, Жуковский, Ковалевский. Впоследствии почти все люди с солидным образованием и собственными достижениями вошли в партию конституционной демократии ("кадетов"). Напротив, крайне радикальные партии чаще всего рекрутировали свои кадры из студентов, не окончивших курса, или даже молодых людей, не окончивших средние учебные заведения. Как правило, эсеры и эсдеки не имели охоты и времени для академических занятий, или изгонялись за участие в сходках и демонстрациях. Такую публику можно назвать "полуинтеллигенцией": вместо толстых книг эти люди читали брошюры, а философию им заменяла партийная идеология. Полуинтеллигенция сыграла ведущую роль во всех французских революциях, а впоследствии и в русской.

Можно было бы думать, что русское правительство постарается ослабить радикализацию молодёжи, отделив её радикальную часть от умеренной, и будет искать взаимопонимания с умеренной. Так поступали правящие круги Англии; в 1832 году они провели избирательную реформу, предотвратив этим назревшую революцию и успокоив умеренную оппозицию. Но русские правители не проявили такой мудрости. Они отвечали на каждую студенческую демонстрацию, и особенно на каждое террористическое покушение, преследованиями и ограничениями, затрагивавшими также умеренную и совершенно непричастную публику. Это паническое поведение, противоречившее прямым интересам самого начальства, вызвало в русских университетах общую ненависть к правительству и недоверие ко всем его намерениям. Впрочем, русское правительство и вообще хотело бы задержать культурное развитие страны, не усматривая связи между этим развитием и материальной силой государства. Уроки Крымской войны были забыты. После убийства Александра II народовольцами правители России пытались остановить образование низших слоев населения, не допуская простолюдинов в университеты, а по возможности и в гимназии. Министр народного просвещения Делянов издал в то время знаменитый "циркуляр о кухаркиных детях" (1887). Дети из нижних слоев населения (следовал перечень, где упоминались дети кухарок) стремятся получить высшее образование, — жаловался Делянов. Этих детей надо было остановить уже на ступени гимназии: "их отнюдь не следует выводить из состояния в коем они родились, исключая разве способности

необыкновенные". Остановить их не удалось, а впоследствии люди с очень обыкновенными способностями расстреляли царя и его министров. Другой министр просвещения, граф Дмитрий Толстой, вообразил, будто всё зло происходит от "реального образования", то есть от естественных наук; чтобы этому противодействовать, он настаивал на изучении древних языков, но и это не помогло: Ленин одолел и греческий, и латынь.

Глупая политика правителей России привела к тому, что среди культурных людей не было сторонников существующего строя: "правые" партии были бездарны. Все таланты были у кадетов, а вся энергия — у радикалов. Два последних русских царя — Александр III и Николай II — как и Николай I, не получили серьёзного образования и были невежественны. Первый из них был, однако, осторожен и избегал войны. Второй втянул Россию в две войны, каждая из которых кончалась революцией; вторая из этих революций, самая страшная революция в истории, покончила со всей старой Россией.

5. Русские университеты при советской власти

Большевики пришли к власти неожиданно для России и для самих себя. Они получили в наследство культуру, которую не умели ценить. Ленин был типичный полуинтеллигент, без серьёзной культуры. Он окончил экстерном юридический факультет, но не обладал ни логикой, ни опытом настоящих юристов, так как никогда не занимался юридической практикой. Замечательно, что он не понимал значения закона для устойчивости государства и успешной хозяйственной деятельности: как большинство русских, он верил во всесилие власти, не замечая её опасностей. Юрист, не понимавший, зачем нужен закон, обосновывал своё невежество марксизмом: он полагал, что законы просто оформляют власть господствующего класса, и мог сослаться на Гегеля с его философией права. Власть, которую хотел создать Ленин, могла быть только произволом фанатиков, а потом — произволом беспринципной диктатуры. Ленин не любил интеллигентов, потому что сам не был интеллигентен. Он ничего не смыслил в искусстве, хотел закрыть Большой театр, потому что рабочим не нужны опера и балет. В Париже и в Лондоне он не бывал в музеях, не ходил в концерты. Литературу он ценил только за её политические тенденции. Гуманитарные науки были ему чужды. Если он рылся в философских книгах, то лишь в поисках полезных цитат. Его собственная философская продукция достаточно

известна: он полагал, что от оппонентов можно отделаться бранью. Думаю, что Ленин мог бы нанести ещё больше вреда, если бы ему не мешали более образованные партийцы. Луначарский помешал ему закрыть оперный театр, но никто из товарищей не помешал ему посадить на пароход и выслать за границу всех гуманитарных учёных, имевших собственное мнение. Их скорее всего расстреляли бы, если бы не пришлось считаться с мнением европейских социалистов. Гуманитарные факультеты превратились в рассадники учёных стукачей.

Естественных наук Ленин никогда не знал. Он готов был поверить, что Пуанкаре, хотя и "мелкий философ", но "крупный физик". В первом он был уверен, второе принимал на веру. Случайно в мои руки попал обзор Дюгема, по которому он сочинял свою книгу; конечно, даже этого поверхностного изложения он понять не мог. Судьба научных факультетов зависела от того, когда там объявятся стукачи. Я прошу прощения за это слово, означающее идейных (или безыдейных) доносчиков и прочно вошедшее в русский язык.

Общая установка партии по отношению к естественным наукам, как полагали большевики, опиралась на марксизм: наука могла содействовать развитию производительных сил, а потому просто закрывать факультеты было нельзя. Это касалось всех наук, упоминаемых Марксом и Энгельсом, и потому имеющих право на существование. Но другие науки, которых ещё не было при Марксе и Энгельсе, можно было не допускать — например, генетику или кибернетику. Даже "социологию" советские чиновники не хотели считать наукой, потому что Маркс не обозначал науку об обществе этим словом. Но старые факультеты — физико-математический, геологический и т. д. — должны были существовать. Такова была линия партии, и её нельзя было оспаривать. Факультеты должны были остаться. Иное дело, какая наука должна была изучаться на этих факультетах. Здесь уже партийные активисты могли себя проявить.

Дело в том, что на факультетах были прежние, старорежимные профессора, классово чуждые люди — по убеждениям кадеты или ещё какие-нибудь либералы. К советской власти они относились явно отрицательно и не были ещё приучены это скрывать. Знаменитый физиолог Павлов, единственный в России лауреат Нобелевской премии, читал своим студентам лекции, обличающие советскую власть. Другие думали так же, а лекции читали невозмутимо, как будто ничего не произошло. Партийные активисты видели в каждом факультете крепость классового врага. Чтобы

прорваться в такую крепость, нужны были лазутчики внутри, учёные, преданные диамату и начальству, — и нужно было, конечно, разрешение начальства. Лазутчиков было очень мало, и они были робки, поскольку не составляли особенной научной силы на своих факультетах; поэтому в двадцатые годы несколько скандалов, устроенных на факультетах марксистами, ни к чему не привели. А высшее начальство было по горло занято своими внутренними сварами, ему было не до учёных. Марксисты среди учёных всё-таки были. Среди математиков был профессор Хинчин, видный специалист по теории вероятностей, уверовавший в диамат, но не искавший никаких выгод для себя: напротив, все его коллеги над ним смеялись. На него опереться нельзя было, потому что он ни на кого не стучал. От таких сторонников не было толку, и факультеты оставались, как были — крепостями классового врага. Большевики пытались улучшить классовый состав студентов. При поступлении в вузы первенство отдавалось детям рабочих и крестьян. Поскольку они были не очень грамотны, для них устроили подготовительные курсы — "рабфаки", то есть "рабочие факультеты". Нечего и говорить, что детям старых правящих классов — насколько они ещё были в наличии — путь к образованию был закрыт. Но в вузы упорно пытались пролезть дети интеллигентов, состав студентов оставался плохим. Тогда ввели особые ограничения по социальному происхождению. Молодые люди, желавшие попасть в университет и имевшие несчастье родиться в семье инженера, учителя или врача, должны были проработать не меньше двух лет на заводе, непременно у станка, положительно проявить себя в общественной работе и получить комсомольскую характеристику. Это в некотором смысле исправляло их классовое сознание, но в анкетах "социальное происхождение" оставалось навсегда — как впоследствии национальность, пресловутый "пятый пункт". Интеллигенты, окопавшиеся в вузах, издевались над рабфаками и комсомольцами, пробивавшими себе путь к диплому. Один молодой учёный безупречного происхождения — таких было немного — получил кличку "сын рабочего и крестьянина". Такова была наглость классового врага! Но главное, студентов там учили всё тем же старым наукам, и трудно было помочь этой беде.

Однажды активистам удалось всё-таки устроить скандал. В 1929 году в Харькове собрался Всесоюзный математический съезд. На этом съезде всё шло, как будто не было революции. Председательствовал московский профессор Егоров, очень известный математик — и, как все знали, верующий в бога. Кто-то из активистов пред-

ложил послать приветственную телеграмму ЦК партии. Профессор Егоров поставил этот вопрос на голосование, и собрание его отвергло. Об этом рассказал мне уцелевший участник этого съезда, так что перед нами удивительный, но несомненный факт. Несмотря на это, приветствие кто-то послал, но было поздно: классовый враг высунулся и по нему нанесли удар. Профессор Егоров был арестован и легко отделался: через год умер в тюремной больнице. Было распущено Московское математическое общество — старейшее учёное общество в России, и был закрыт "Математический сборник", всемирно известный журнал. Порядок взялся навести Отто Юльевич Шмидт, впоследствии знаменитый полярник, но по профессии математик. Он был большевик, но, увы, не стукач: новой крамолы не открыл, а восстановил Общество и журнал, в виде "второй серии". Всё вернулось на круги своя. Активисты снова учинили скандал, собрав враждебные высказывания академика Лузина, возглавлявшего московскую математическую школу. В 1936 году была развёрнута шумная кампания в печати и, казалось, удастся разгромить математический факультет. Но приписать Лузину вредительство было трудно: его работы носили весьма абстрактный характер, и можно было опасаться, что трудящиеся этого не поймут. Сталин велел прекратить кампанию, и математический факультет уцелел. Печально, что при этом нескольких более молодых математиков — учеников Лузина — удалось всё-таки натравить на учителя. Это было многообещающее начало советского стиля в науке.

Разгон биологии

Наконец, удалось сделать прорыв в биологии. Николай Вавилов, уверовавший в коммунизм, поддержал молодого агронома, Трофима Лысенко. Скорее всего, он его поддержал потому, что Трофим Денисович был человек из народа, "незаможник", то есть потомственный бедняк. Это интеллигентское благородство положило начало необычайной карьере Лысенко: тот оказался первоклассным лазутчиком и стукачом. И прежде всего он "заложил", то есть предал своего покровителя Вавилова. Тут помогло то обстоятельство, что Вавилов был генетик, то есть занимался наукой, не упомянутой у Маркса. Поэтому можно было вырвать из биологии всю генетику, объявив её "буржуазной лженаукой"; это легко было сделать, так как ни сам Лысенко, ни его партийные заказчики этой науки не понимали. Сталин тоже не понимал, что генетика давно уже стала основой всей биологии, и ему казалось, что вся эта учёность (с применением математики) — сплошной идеализм. Он дал свою санкцию, и

биология была по существу запрещена. Генетики были посажены в лагеря или сняты с работы; Вавилов, после пыток, был приговорён к расстрелу, но его не успели расстрелять: он умер в лагере от "алиментарной дистрофии", то есть попросту от голода. Остальные биологи должны были повторять построения Лысенко; студенты слушали только такую биологию, и никакой другой. Впрочем, полная унификация биологии заняла много времени. Сталину надо было перебить "врагов народа", а затем пришла война. Но после войны, в 1948 году, назойливые доносы Лысенко возымели действие: была созвана так называемая "сессия ВАСХНИЛ" (Сельскохозяйственной академии им. Ленина), Лысенко прочёл на ней доклад, заранее одобренный ЦК, и начался погром по всем правилам. Другие науки ждали своей очереди: казалось, был установлен образец.

Генетика была уже давно, но после войны возникла кибернетика, от которой тоже можно было отделаться, как от буржуазной лженауки. В самом деле, кибернетика в некотором смысле рассматривала животных и человека как машины, а это не было предусмотрено Марксом. Вначале кибернетика была просто засекречена, и никто ею не занимался; потом, после смерти Сталина, кое-кто стал ею заниматься на свой страх и риск. Точно так же, компьютеры постарались сколько возможно отсрочить, а потом их пришлось покупать за границей.

Физика

Дальше, по-видимому, разрушению подлежала физика. В XX веке физика строилась на двух новых теориях, теории относительности и квантовой механике. Поскольку физика составляла основу всего естествознания, эти две теории, подозрительные и непонятные философам-марксистам, стали мишенью их нападок. Маркс и Ленин ничего о них не сказали, но в распоряжении этих энтузиастов была драгоценная книжечка "Материализм и эмпириокритицизм", где Ленин ругал Пуанкаре, ссылался на физиков старшего поколения (сетовавших, что материя исчезает и остаются одни уравнения), и выставлял неподражаемый тезис о "неисчерпаемости электрона". Доносчики, давно уже обвинявшие физиков в идеализме, просто рвались в бой, как лающие на цепи собаки. Некий Максимов, не способный понять даже классическую механику, отрицал описание траекторий с помощью координат, где уже проявлялась некоторая относительность, и уверял, что каждая частица имеет "одну-единственную траекторию". Физики трепетали, зная, что в их науке буквально всё можно отнести к идеализму; в газетных ста-

тьях уже назывались имена физиков-идеалистов, и это были просто самые известные физики. Готовилась расправа над физикой — по образцу сессии ВАСХНИЛ. Философы искали поддержку в провинциальных университетах; правда, они могли её найти только на других факультетах, поскольку физики понимали, что им лучше молчать. Я присутствовал на одном таком обсуждении теории относительности. Собралась разношёрстная публика, но не было чётких указаний, что говорить и кого разоблачать: каждый говорил, что приходило на ум. Как мне показалось, "материализм" поддерживали люди, похожие на инженеров — непризнанные изобретатели или доморощенные мудрецы вроде Козьмы Пруткова. Мне запомнилось одно высказывание: "Выходит, что время теперь что-то вроде пространства". Физики — в этом случае плохие физики — вяло оправдывались, и собрание разошлось, ничего не решив. Впрочем, движение шло уже на убыль: Сталин умер, и местная инициатива ничего не могла изменить.

Ещё при жизни Сталина активисты пытались устроить в Москве большой идеологический погром. Уже собрали публику отовсюду, с ней проводили предварительную работу, и ждали только команды. Но команды не было. Её мог дать только сам вождь, а он, по-видимому, не мог решиться. Дело в том, что надо было срочно делать атомную бомбу: до Хиросимы Сталин этого не понимал, а потом принял меры. Начальником атомного проекта был Берия, который знал что делать в случае неудачи, но удачу могли обеспечить только физики. Физиков подбирал Курчатов, почему-то внушавший Сталину доверие, и оказалось, что эти физики были как раз те идеалисты, на которых ополчились наши философы. Поэтому не было команды начинать погром: приехавшие на "сессию" провинциалы разъехались, и дело было отложено — очевидно, до тех времён, когда без физики можно будет обойтись.

Математика

Вскоре после этого я услышал закулисные разговоры математиков, ожидавших своей очереди. Были активисты и среди них, жаждавшие исправить свою науку: некий Леднев — как его описывали, пьяница и растленный тип — разъезжал с докладами и свирепствовал против коллег, не проявлявших энтузиазма. Но это была мелкая сошка. Был и крупный математик, А. Д. Александров, уверовавший в марксизм, наподобие "полярника" Шмидта. Его сделали ректором Ленинградского университета и ждали от него решительных мер, но он не оправдал надежд. Он печатал в газетах статьи "Под

знаменем марксизма", "Ленин и диалектика" и так далее, где требовал отделить в теории относительности физику от философии; он цитировал и восхвалял всё, что полагалось; но он лукаво укрыл от репрессий биологический факультет, где отсиживались явные менделисты-морганисты, притворявшиеся, будто они всего-навсего зоологи и ботаники. А потом он устроил дискуссию по статье "Аксиома", неосторожно украсившей первый том Большой советской энциклопедии. Он выпустил докладчицей свою аспирантку, тоже разводившую туманные рассуждения; но враг так и не был назван, и в конечном счёте был наказан только алгебраист Ляпин, которому поставили в вину какие-то полугруппы. И наказание состояло в том, что ему запретили иметь аспирантов по этим полугруппам! Гора родила мышь.

Математика нуждалась в решительной чистке, но не видно было, кому чистить. Президент Академии Наук Несмеянов назвал уже врагов, свивших гнездо в математике: оказывается, это были "монополисты", группа людей, захвативших руководящие посты и вытесняющих прогрессивную молодёжь. Математикам было всё равно, под каким именем их будут громить; они с трепетом следили за развитием событий. Но Сталин увлёкся другим, более срочным делом.

Лингвистика

Оказалось, что не всё было благополучно в гуманитарных науках: осталась без присмотра лингвистика. В России всегда были первоклассные лингвисты, не уступавшие лучшим иностранным. Но после революции среди них завёлся марксист, академик Марр, устроивший в языкознании форменную диктатуру. Он придумал фантастическую теорию происхождения всех языков от звукоподражания, и поскольку он был "историческим материалистом", сумел навязать её всем остальным. Впрочем, в отличие от Лысенко, он не добивался физического уничтожения своих оппонентов. Трудно сказать, почему Сталин так заботился об этом маловажном участке идеологического фронта, но он вспомнил об уже умершем Марре и решил, как это ни странно, исправить его ошибки. Это было сделано необычным путём: была объявлена "свободная дискуссия" по вопросам языкознания, в которой сторонники и противники Марра могли высказать свои взгляды, и их обширные статьи печатались в центральных газетах. Такая процедура выглядела очень странно; не было заранее указано, какая точка зрения правильна, и печатались точки зрения, в самом деле противоположные друг другу. Вероятно,

участники этой дискуссии (боявшиеся от неё уклониться) ожидали в заключение репрессий, но не знали, кого постигнет наказание. Может быть, этим и объясняется вся сталинская затея: он испытывал садистское удовольствие, скрывая свои намерения и собираясь наказать одну из сторон, в равной степени старавшихся ему угодить. Так нередко бывало на заседаниях, где Сталин развлекался, наводя страх на публику.

К общему удивлению, Сталин в конце дискуссии дезавуировал теорию Марра, опубликовав статью "Марксизм и вопросы языкознания". Он высказался за традиционные методы лингвистов. Известно, откуда он взял такую точку зрения, и кто ему внушил нужные выражения: это был известный лингвист академик Виноградов, несколько раз приезжавший к Сталину для продолжительных бесед. Разумеется, статья Сталина завершила дискуссию, и после неё никакой свободы мнений уже не могло быть. Но поразительным образом ни сторонники Марра, ни его противники не были наказаны. Как известно, председатель Мао лучше распорядился дискуссией "ста цветов", но здесь была дискуссия по частному вопросу, и Сталину, вероятно, приятно было считать себя "учёным".

Шёл 1951 год. Корифей всех наук приближался к концу своей карьеры, но в 1952 году выступил с ещё одной теоретической работой под названием "Экономические проблемы социализма". Неизвестно, кто писал или редактировал за него это сочинение, но оно никак не могло отразиться на положении экономической науки: уже с двадцатых годов советские экономисты ограничивались изложением очередных партийных документов. Две последних работы великого корифея должны были "изучать" во всех научных учреждениях и учебных заведениях. "Изучение" означало зазубривание цитат и пересказ священных текстов на обязательных "семинарах", от чего никто не мог уклониться. Смерть Сталина положила конец этому безумию, как и многому другому: впечатление было такое, как будто страну вдруг перестало лихорадить. Но важнейшие черты сталинской политики остались в нашей практике до конца советской власти, и даже после её конца.

Идеология при Сталине

Ещё в середине 30-х годов, едва укрепив свою власть, Сталин приступил к демонтажу коммунистической идеологии. Вместе с большевиками исчезли упования на мировую революцию и так называемый "пролетарский интернационализм". Вряд ли Сталин когда-нибудь во всё это верил: его единственной целью была лич-

ная власть, которую он смог установить "в одной, отдельно взятой стране". Ему с детства внушала глубокое уважение единственно известная ему форма власти — царское самодержавие. Истребив большевиков и дорвавшись до власти, этот едва говоривший по-русски полуграмотный бандит хотел стать русским царём. Вначале он понимал, что "новую" идеологию надо вводить постепенно, чтобы не слишком травмировать народную массу; на старости он утратил осторожность и управлял этой массой, как пьяный кучер управляет лошадьми. Для приличия сохранилась марксистская словесность, но по существу Сталин культивировал русский национализм: "новое" было ещё не забытым, оставшимся в народном сознании старым.

Помогая Гитлеру и подхватывая куски, падавшие со стола завоевателя, Сталин восстанавливал границы русской империи. Он присоединил без спроса "единокровных" западных украинцев и белорусов (поразительный термин, вложенный им в уста лакея Молотова!), отобрал у румын родственную им Бессарабию, пытался захватить Финляндию и Польшу.

После войны молодёжь воспитывалась в духе "русского патриотизма". В число героев советской власти были включены Александр Невский, Суворов, Кутузов; пытались восстановить офицерскую традицию — конечно, без понятия чести. В соответствии с формулой графа Уварова, эта официальная "народность" соединялась с "самодержавием" Сталина, лишённым всякой исторической традиции. Сталин даже пытался возродить "православие", используя уцелевших епископов и изготовляя новых из агентов МГБ. Вместе с реликтами "коммунизма" всё это составляло дурнопахнущую эклектическую смесь, внутренне несостоятельную и недолговечную.

Эта идеология, по существу уже не менявшаяся до конца советской власти, внушалась молодёжи людьми, готовыми говорить что угодно и, следовательно, не верившими ни во что. Последнее поколение людей, принимавших всерьёз коммунистические идеалы, было воспитано в двадцатые годы. Те из них, кто уцелел во время "репрессий", сошли со сцены в шестидесятых годах. В это время можно было ещё увидеть честных и добросовестных директоров советских учреждений. Затем всё охватила коррупция — неизбежное следствие террора.

Особую часть сталинской системы составляло внедрение расизма. Эта политика, прямо противоположная коммунизму, нашла отклик в русском мещанстве, но неизбежно должна была привести к

распаду Советского Союза. “Кадровая политика” в вузах была однозначно направлена против евреев и проводилась с тупостью, свидетельствующей о маразме советской системы. Поскольку эту политику нельзя было провозгласить открыто — при сохранении официальных лозунгов равноправия и “дружбы народов” — она проводилась трусливо, путём всех известных, но “непечатных” бюрократических мер, прикрываемых каким-нибудь предлогом. Наиболее известным “псевдонимом” антисемитизма была “борьба с безродным космополитизмом”; это выражение нашёл у Белинского в другом контексте и подсказал чиновникам какой-то грамотный стукач. Все знали, что “космополиты” — это евреи, но никто этого официально не признавал. Применялся также ряд других запрещений по национальному признаку, какие могли прийти в голову малограмотным чиновникам. В общем, эти ограничения повторяли уже проведённые советской властью, и даже отменённые меры против тех или иных наций. Очевидно, чиновники предполагали, что эти прошлые меры имели какие-то причины, и на всякий случай принимали предосторожности. Эта мышиная возня вокруг “пятого пункта” подрывала доверие к серьёзности системы правления. “Коммунизм” превратился в нечто вроде трусливого фашизма.

В годы застоя

В атмосфере “брежневского застоя” проявились настроения русского мещанства, затронувшие также некультурную часть учёных. Здесь особенно отличились математики Понтрягин и Шафаревич, опозорившие себя патологическим антисемитизмом.

Годы “застоя” означали уже агонию русских университетов, потерявших все импульсы научной деятельности. Экспериментаторы без приборов, теоретики без литературы были изолированы от мира системой бюрократических запретов. Кадровая политика и система доносов, “характеристика” с весьма произвольным пунктом об “общественной работе” — всё это представляло подлинную “стерилизацию” образования. В конечном счёте допущенные к преподаванию кадры стали творчески бесплодны и рабски покорны начальству. Но уцелевшие профессора и доценты напрасно надеялись на безбедное продолжение своей карьеры. Наступила “перестройка”, и инфляция автоматически снизила их заработки до смехотворного уровня. Самое их существование оказалось под угрозой, когда им, по существу, перестали платить. Учёные стали уезжать за границу, и трудно их в этом винить.

Русские университеты, русскую науку и научное образование

придётся строить заново. Эту трагедию надо пережить спокойно. Нельзя гневаться на мелких жуликов: они не ведают, что творят.

Русская интеллигенция

Октябрьский переворот уничтожил свободу и власть закона, провозглашённые Февральской Революцией и столь дорогие русской интеллигенции. Учредительное Собрание, наконец избранное народом, было разогнано самозванной властью террористов. Подавляющее большинство интеллигенции не поддержало большевиков, и среди двух миллионов эмигрантов было несколько сот тысяч лучших интеллигентов, в том числе выдающиеся русские писатели, учёные и общественные деятели. Значительная часть "белой армии", сражавшейся с большевиками во время гражданской войны, состояла из интеллигентной молодёжи, до конца стоявшей за волю народа, выраженную Учредительным Собранием. Оставшаяся в России интеллигенция потеряла свою самую активную и образованную часть во время террора. Лишь немногие из интеллигентов стали большевиками, и все они были уничтожены Сталиным. Распространяемая теперь легенда, пытающаяся свалить на интеллигенцию вину за судьбу России, нужна лишь церковникам, стремящимся навязать России новый обскурантизм, и бывшим советским чиновникам, спасающимся теперь в православии.

Деятельность, направленная на благо других людей, часто встречалась в истории, но в прошлом обычно ограничивалась людьми своей группы, своего племени или своей религии. Представление, что надо "делать добро" чужим людям — людям вообще — развилось не так давно. Людей, помогавших бедным, называли филантропами, но помогать надо не только бедным, и не только каждому отдельно. Для более общей установки деятельного человеколюбия Огюст Конт придумал в прошлом веке название "альтруизм", от латинского *alter*, означающего "другой". Ещё в Ветхом Завете можно прочесть заповеди о том, как надо обращаться с "ближним", но самое слово это напоминает об ограничении заповедей определённым кругом людей — соплеменников или людей той же религии. Христианство привело — не сразу и против воли церковников — к глобализации этой "любви к ближнему", то есть социального инстинкта. Иисус Христос, каким его изображает Новый Завет, был несомненно великий альтруист, отдавший свою жизнь для блага всех людей. Но те христиане, которые заботятся преимущественно о собственном "спасении", должны быть отнесены к эгоистам.

В основе всей жизни русских интеллигентов лежало представление, что важнейшей целью человеческой деятельности должно быть благо народа. В этом представлении соединились влияние западного гуманизма и традиция русского христианства. Разночинцы были дети верующих, воспитанные в христианской религии, но потерявшие веру в бога. Они сохранили важнейшую заповедь этой религии, её этическое содержание: любовь к людям. Первым русским интеллигентом был Радищев, осознавший свою ответственность за судьбу крепостных крестьян. Потом в Россию пришли учения Фурье, романы Жорж Санд, проекты Оуэна и Сен-Симона. Идеи социализма глубоко отразились на мировоззрении русских интеллигентов. Но в российских условиях не могла возникнуть открытая социал-демократическая партия, а в нелегальных группах экстремистов, под действием полицейских репрессий, развилась установка на насильственный переворот.

В действительности русская интеллигенция выработала активный взгляд на общественную жизнь, свойственный всем поднимающимся группам. Русские интеллигенты не имели уважения к учреждениям и обычаям своей страны — с их точки зрения вовсе не заслуживавшим такого уважения. Они верили, что способы общественной жизни людей могут быть изменены сознательной деятельностью, а деятелями считали самих себя. Эту позицию иногда называли "субъективным" взглядом на прогресс; скорее следовало бы называть такой взгляд "активным", поскольку развитие общества объективно зависит не только от исторического прошлого и наличных условий настоящего, но также от сознательной воли людей, составляющей важную компоненту исторического процесса. Непонимание этого факта следовало бы называть *фаталистическим* взглядом на историю, и такой фатализм, сознательный или бессознательный, проявляется во все эпохи застоя и упадка — в частности, в наше время.

Несомненно, русские интеллигенты переоценивали сознательную компоненту исторического процесса и ожидали быстрых результатов от своих действий — легальных или революционных. Поскольку они были оторваны от практической жизни и не могли прямо общаться с народом, они недооценивали темноту и патриархальную инертность русского крестьянства, возлагая на него чрезмерные надежды или приписывая ему неправдоподобную способность к развитию. Впоследствии марксисты перенесли эти иллюзии на рабочих, ещё недавно пришедших из деревни и почти сплошь неграмотных. Более трезвые взгляды были свойственны "либералам", то есть

умеренному крылу интеллигенции, состоявшему главным образом в кадетской партии; но радикальная часть интеллигенции презирала таких людей и обвиняла их в трусости, или прямо объясняла их поведение "буржуазными" интересами. Репрессии царского правительства, направленные прежде всего против радикалов, ставили русских либералов в трудное моральное положение.

Нынешние мещанские публицисты видят главную беду в *Февральской* Революции — в самом деле желанной революции *всей* русской интеллигенции. Они клевещут на интеллигенцию, не понимая, чем она была и чего хотела. Клевета на мёртвых — удобное и безнаказанное дело: интеллигенции в России уже нет. Её истребила та самая коммунистическая власть, которую ей ставят в вину.

Между тем, подавляющее большинство русских интеллигентов — и в том числе все люди высокой культуры, какие были в России — стремились к целям, прямо противоположным результатам октябрьского переворота. Они стремились к свободе и демократии. Идеи демократии, заимствованные с Запада, были поняты в России наивно и буквально — как "народовластие", а западный либерализм означал для русских попросту гражданскую свободу. Европейский либерализм прежде всего означал свободу промышленной деятельности и торговли. Но в России почти до конца XIX века не было этой проблемы, так как не было буржуазии, а население жило, главным образом, "натуральным хозяйством". В России "либералами" называли тех, кто хотел *просто* свободы. Наконец, в России свободолюбие и демократизм, пришедшие с Запада, образовали своеобразный сплав. В России было особое отношение к собственности. Крестьяне, главный трудящийся класс России, не имели собственности, а сами были собственностью; собственниками были помещики, то есть рабовладельцы, а основой их собственности был принудительный труд крепостных. Собственность чиновников имела своим источником, по народным понятиям, лихоимство, а собственность купцов — надувательство. Всё это не могло развить у русских интеллигентов уважение к собственности вообще. Да и в русском народе её не было: недаром поговорка, до сих пор не утратившая справедливости, говорит: "От трудов праведных не наживёшь палат каменных". Здесь главный источник своеобразия русской интеллигенции: она была *бескорыстна.* На Западе *свобода* и *равенство* означали защиту групповых и классовых интересов; в России же эти слова понимались как *братство* со всеми угнетёнными и забвение собственного интереса.

Понятия, перенесённые из Европы, вызвали в России единствен-

ное в своём роде явление: коллективный альтруизм. Всегда и везде были отдельные люди, бескорыстно работавшие на благо других. У христиан их называли "святыми", но их религия давала им санкцию такого поведения и обещала награду. Русские интеллигенты часто жили как святые, хотя были неверующими и не могли рассчитывать на воздаяние ни от земного, ни от небесного начальства. В начале XX века их были уже сотни тысяч: это были учителя, врачи, земские служащие, инженеры, профессора, литераторы, иногда даже чиновники. Братство русских интеллигентов имело свои неписаные законы. Главным законом был у них бескорыстный труд для народа.

Если искать для них сравнения, то они напоминали монашеские ордена, дававшие обет нестяжания. Они исполняли свой обет всерьёз, и даже с радостью, потому что богатство не было для них соблазном. Для некоторых из них соблазном оказалась власть: они хотели употребить ее, чтобы скорее переделать этот мир.

Русские интеллигенты составляли по существу *бесклассовую* группу, так как происходили из всех классов общества и не считались с интересами класса, откуда они вышли. Эта группа, образовавшаяся не генетическим, а культурным путём, была *наследственной*, так как её признаки воспитывались в интеллигентских семьях с раннего детства и сообщали русским интеллигентам особый, ни с чем не сравнимый этический облик. Поэтому бóльшая часть интеллигенции не пошла за марксистами, видевшими в человеке прежде всего представителя своего класса и впоследствии перешедшими к прямому преследованию людей "чуждого" происхождения.

Таким образом, идеология русской интеллигенции сумела подняться выше классовых барьеров — и, конечно, выше национальных преград, потому что вряд ли в истории была когда-нибудь группа людей, столь открытая для мысли и чувства своих иностранных братьев. По существу, организующим началом, которого искали интеллигенты, был *социальный инстинкт.* Кропоткин, вслед за Дарвином, находил его уже в мире животных, а Михайловский называл его "кооперацией".

Конечно, интеллигенты боролись против "угнетателей народа", всех, кто извлекал доходы из эксплуатации трудящихся. Но по существу враждебная им идеологическая установка была также бесклассовой, и также наследственной: Герцен назвал эту установку "*мещанством*". Это слово обозначало бездумную привязанность к установленным нормам жизни, усваиваемую с детства и выражаемую старым правилом: "*Живи, как все*". Позицию русской интеллигенции впервые формулировал А. И. Герцен, а впоследствии развил

блестящий публицист и глубокий мыслитель Н. К. Михайловский.

Русскую интеллигенцию обвиняли в “беспочвенности”, то есть в отрыве от русской действительности. В самом деле, прочные изменения общественной жизни предполагают обычно лежащие в их основе интересы определённого класса людей, постепенно пробивающие себе путь. Интеллигенты же полагали, что выражают интересы трудящегося народа — но *не свои*. Обвинение в “беспочвенности”, выдвинутое христианскими публицистами, с тем же правом можно было бы предъявить святому Франциску, который ушёл голым из дома своего отца. В сущности, это обвинение констатировало у интеллигенции отсутствие классового эгоизма, и в этом смысле было справедливо: она не умела, и не сумела себя сохранить.

Если же “беспочвенность” означала непонимание тех классов, за которые вступались интеллигенты, то в этом было много правды. Народники непомерно идеализировали крестьян, а социалисты — рабочих, и жестоко поплатились за эти ошибки, когда пришлось столкнуться с их психическими установками при устройстве общественных дел. Впрочем, обвинители интеллигенции, свернувшие к православию и монархии, понимали свой народ ещё хуже.

Русская интеллигенция не была обычным общественным классом. Это была *субкультура особого рода, возникшая не генетическим, а культурным путём*. Люди входили в неё не по рождению, а по образу мыслей и чувств. Эта субкультура не была замкнутой, хотя и отгораживалась от окружающей среды, как от “мещанской”. *Она стремилась к общечеловеческим целям, а потому была в оппозиции к той культуре, из которой она родилась*. Я назвал бы такую субкультуру *гуманистической*, потому что в основе её лежала философия гуманизма.

Русская интеллигенция погибла, но в ней можно видеть пример общественного явления, которому принадлежит будущее.

Кто придумал интеллигенцию

Понятие “интеллигенция” и производные от него — “интеллигент” и “интеллигентный” — имеют ключевое значение для понимания русской истории. Можно с уверенностью утверждать, что интеллигенция — в особенном русском смысле этого слова — была главным двигателем исторического развития России и тем самым приобрела всемирное историческое значение, а человеческий тип, обозначенный словом “интеллигент”, стал восприниматься как новый тип человека, привлекая к себе пристальное внимание. В переживаемые нами трудные времена нам предстоит вернуться к обсуждению этих понятий — и восстановить, если мы сумеем, стоявшую за ними русскую культуру.

Но здесь будет речь о частном вопросе — о происхождении самого слова “интеллигенция” и производных от него слов. История этого слова стала мифической, из-за доверчивости некоторых русских исследователей и некрасивого обмана, в котором повинен один русский писатель. Но прежде всего напомню, что особое, возникшее в России и специфически русское слово “интеллигенция” иностранцы не смешивают со словами европейских языков, произведёнными от того же латинского корня. Во французском и английском языках слово *intelligence* означает вовсе не общественную группу или человеческий тип, а *свойство* отдельного человека: энциклопедический словарь Уэбстера определяет его как “способность к размышлению, пониманию и подобным формам умственной деятельности; умение понимать истины, факты, значения и т. п.” Между тем, от русского слова “интеллигенция” производится английское *intelligentsia*, которое пишется по русскому произношению и объясняется в том же словаре: “люди умственного труда (*intellectuals*), рассматриваемые как художественная, общественная или политическая группа или класс, в особенности в качестве элиты”. В немецком языке, кроме указанного выше значения (“способность”), слово *Intelligentz* давно уже имело и другой смысл: “совокупность людей умственного труда (*Intellektuellen*), слой людей с научным образованием” (Duden, *Der große Wörterbuch der deutschen Sprache*, Bd. 3). В том же словаре родственное слово *Intellektueller* имеет и такое значение: “тот, кто занимается общественной критикой и нападает на господствующие учреждения”. Я не знаю, предшествовало ли это

значение русскому понятию "интеллигент", или образовалось под его влиянием. Во всяком случае, уже во время Франкфуртского парламента (1848 г.) словом *Intelligenz* называлась элита образованного класса, преимущественно либерально настроенная — профессора, писатели, адвокаты и т. п.

Особое русское слово "интеллигенция", вошедшее с новым смыслом и в другие языки, возникло в 60-е годы. История этого слова была предметом мистификации — как теперь выяснилось, намеренной — и была восстановлена, парадоксальным образом, усилиями *американских* историков. Предлагаемая статья представляет, по существу, реферат работы Алана П. Полларда "Русская интеллигенция: дух России" (Alan P. Pollard, *The Russian Intelligentsia: The Mind of Russia.* California Slavic Studies, Vol. III, 1964). Работа А. П. Полларда не претендует на полное обсуждение названной в заглавии проблемы, а ограничивается историей *слова* — как и мы в этом реферате. Откуда же взялось это слово?

Большая Советская Энциклопедия утверждает, что слово "интеллигенция" было "введено в обращение в одном из романов писателя П. Д. Боборыкина". Казалось бы, такая фактическая информация должна была просто переписываться из более надёжных источников. Но уже в энциклопедии Брокгауза и Эфрона (1908 г.) говорится: "Слово «интеллигенция», в смысле отдельной общественной группы, появилось в 1860-х годах, первоначально в России; Иванов-Разумник приписывает его введение в общее употребление Боборыкину...". Источником этого утверждения была несомненно вышедшая в том же (1908) году статья Р. В. Иванова-Разумника "Что такое махаевщина?", где, между прочим, содержалась фраза: "Введение этого термина ("интеллигенция") — одна из наибольших заслуг П. Боборыкина". Иванов-Разумник, в свою очередь, мог опираться на известный "Критический и биографический словарь русских писателей" С. А. Венгерова, где впервые упоминается притязание Боборыкина. Венгеров пишет: "Боборыкину принадлежит честь введения в русскую речь... такого важнейшего понятия как «интеллигенция», которого, впрочем, ни один человек не понимает" (!). Венгеров не указывает, где именно Боборыкин использовал это слово (хотя в другом случае он цитирует роман, где тот действительно ввёл слово "жизнерадостный"). Но Венгеров говорит, что имел доступ к краткой автобиографии под названием "Итоги писателя", составленной Боборыкиным в начале 90-х годов для посмертной публикации, получив согласие цитировать её без некоторых интимных деталей. Возможно, там и было притязание; автобиография не была опубли-

кована и пропала. Может быть также, что Боборыкин высказал это в разговоре или письме. Публично он выразил своё утверждение в декабре 1904 года, резюмируя свою речь о русской интеллигенции, произнесённую в предыдущем месяце. Он писал:

“Здесь я позволю себе краткое отступление и публично признаюсь, что около 40 лет назад, в 1866 году, в одной из моих критических статей я пустил в обращение в русский литературный язык или, если угодно, жаргон это самое слово «интеллигенция», придав ему то значение, которое оно приобрело, из других европейских литератур и печати, лишь в немецкой: *интеллигенция*, то есть наиболее образованный, культурный и прогрессивный слой общества данной страны. В то же время я прибавил к нему прилагательное и существительное, ставшие столь же распространёнными... «интеллигент» и «интеллигентный»”. В 1908 году Боборыкин повторяет это притязание в своих мемуарах “Минувшие годы”, а в 1913 году повторяет дату: “слово это пущено было в печать только с 1866 года” (“Русская старина”). В 1914 году, в “беседах” под названием “Старое и новое. Злосчастная интеллигенция”, он пишет:

“Когда и где пущен в ход этот самый термин «интеллигенция»? Судьбе угодно было, чтобы человек, говорящий с вами, стал, так сказать, крестным отцом этого слова, которое приобрело чисто русское значение. Я впервые употребил его как раз в этом значении в 1866 году, в одной моей критической статье... В то же время я прибавил к нему ещё два термина, в которых я лично не вижу ничего особенно непростительного: «интеллигент» и прилагательное «интеллигентный»“. Как мы увидим, всё это — неправда и, без сомнения, сознательный обман. Но кто же такой был сам Боборыкин? Этот писатель давно забыт, но в начале XX века был заметной фигурой среди “ветеранов” русской литературы: он долго жил и много писал. Вот что говорил о нём в 1903 году Энциклопедический словарь братьев Гранат:

“Боборыкин, Пётр Дмитриевич, известный современный писатель, род. в Нижнем Новгороде 15 авг. 1836 г. в богатой дворянской семье... В течение более 30 лет каждый год Б. обогащает русские журналы несколькими большими романами, являя совершенно исключительный у нас пример литературной плодовитости... Большое достоинство произведений Б-а — чуткая отзывчивость на общественные интересы каждого момента... Вместе с тем, произведения его страдают чрезмерным изобилием лиц и эпизодов, затемняющих развитие основной темы и иногда придающих романам Б-а неприятную расплывчатость”.

Где же Боборыкин ввёл в русскую литературу это замечательное слово “интеллигенция”? Американские историки тщательно проверили все его сочинения. Дж. Х. Биллингтон установил, что слово “интеллигенция” и его производные не встречаются ни в одном из его романов (J. H. Billington, “*The Intelligentsia and the Religion of Humanity*”, American Historical Review, 65 (July 1960)). Наконец, А. П. Поллард нашёл *единственную* критическую статью, опубликованную Боборыкиным в 1866 году, к которому он сам и относил своё притязание. Статья эта озаглавлена: “Мир успеха: очерки парижской драматургии. (Памяти М. С. Щепкина)”, и опубликована в журнале “Русский Вестник” за август и сентябрь 1866 года. Вот единственные места этой статьи, содержащие слово “интеллигенция” (производные “интеллигент” и “интеллигентный” в ней вообще не встречаются):

“Как может быть, чтобы публика в двести тысяч или в полмиллиона человек отправляется в Шатле только для того, чтобы увидеть в балете примитивных женщин в костюмах peu étoffés (не плотных), как это изящно называют театральные фельетонисты? Как может быть, чтобы в самих пьесах не было никакого человеческого смысла, ни малейшего намёка на *интеллигенцию* или сценическое достоинство?

Как мы уже сказали, театр Шатле занимает промежуточное место и в отношении своего расположения, и в отношении посещающей его публики. Поэтому его спектакли, ещё больше, чем представления других театров, подходят для масс, без различия *интеллигенции и общественного положения*”. (Курсивы А. П. Полларда).

Ясно, что притязание Боборыкина не находит здесь ни малейшей опоры: слово “интеллигенция” употребляется лишь в его *старом* смысле умственных способностей, но никак не относится к общественной группе с общими интересами. Так же очевидно, что здесь нет никакой связи с русской общественной жизнью. Трудно допустить, что, говоря о критической статье 1866 года, автор её забыл, что она относилась к парижским театрам. Далее, как пишет А. П. Поллард, Боборыкин, издававший в 60-е годы “Библиотеку для чтения”, должен был хорошо знать, кто в самом деле мог претендовать на авторство знаменитого слова (а публика через сорок лет могла забыть!). Да и вообще литературная добросовестность Боборыкина сомнительна: пытаясь “оправдаться” в публикации “реакционного” романа Лескова “Некуда”, он исказил хорошо известные ему факты и был в этом впоследствии обличён. Как считает А. П. Поллард, нельзя избежать вывода, что

притязание Боборыкина на авторство слова “интеллигент” — сознательный обман.

Как же обстояло дело на самом деле? В старом, общеевропейском смысле (“способности”) слово “интеллигенция” впервые отмечено в письме Н. П. Огарёва Т. Н. Грановскому, где говорится о некотором “лице с гигантской интеллигенцией”. В этом же старом смысле, уже исчезнувшем из нашего языка, оно появлялось в печати уже с начала 60-ых годов. По-видимому, первым автором, употребившем его в новом смысле общественной группы (но ещё *не в специфически русском* смысле независимой и политически оппозиционной группы), был И. С. Аксаков. Слово “интеллигентный” встречается впервые в его статье в газете “День” в 1868 году (так называемые интеллигентные, образованные классы у восточных славян). В той же газете, в 1863 году появляется впервые слово “интеллигенция”: “Европу, — пишет он, — нельзя упрекнуть в том, что она считает русских путешественников представителями всей русской нации — *интеллигенцией* русского народа”. (Курсив А. П. Полларда). В 1863—65 годах Аксаков говорит, в той же газете “День”, о “польской интеллигенции”, об “интеллигенции Тамбовской губернии” и о “местной русской интеллигенции на Украине”, а также об отсутствии органической творческой работы у “так называемой русской интеллигенции”. Вспомнив, чем была русская культура в те шестидесятые годы, можно удивиться, как освещал её аксаковский “День”. Но вернёмся к нашему предмету.

Понятие интеллигенции в современном русском смысле этого слова перешло из “фольклора” в печатное слово в 1868 году. Заслуга его введения принадлежит трём выдающимся русским публицистам, увидевшим важное общественное явление и подвергшим его глубокому анализу. Это были “народники” Н. В. Шелгунов и Н. К. Михайловский и “якобинец” П. Н. Ткачёв. Шелгунов, разрабатывавший тему интеллигенции в общем историческом плане, в 68-м году пришёл к пониманию особого характера русской интеллигенции и изобразил её под этим названием в статье “Новый ответ на старые вопросы”. Михайловский опубликовал в том же году, в “Современном сборнике”, статью “Письма о русской интеллигенции”, содержавшую новое слово прямо в заглавии (он писал под псевдонимом А. Протасов). Ткачёв дал почти большевистский по духу, но содержавший немалую долю правды анализ интеллигенции в журнале “Дело”, в одной рецензии (уже в 67-ом году) и затем в статье “Подрастающие силы” (1868 г.). Ткачёва отчасти переиздали; Шелгунов и Михайловский не переиздаются до сих пор.

Итак, три подлинных автора слова “интеллигенция” известны. Спасибо американскому историку за его трудную работу. Эти авторы писали по-русски — не будем же требовать, чтобы иностранцы объяснили нам, *о чём* они писали. Пора уже нам вступить во владение нашим наследством!

Самосознание русской интеллигенции

Есть не так уж много русских слов, вошедших в международное обращение и оказавших влияние на развитие мировой культуры. Слово, стоящее в заглавии этой статьи, заслуживает особого внимания. Смысл его в нынешней России все ещё не утрачен, хотя оно и подверглось девальвации, как и другие важные слова. В наши дни интеллигентом считает себя каждый получивший от государства какой-нибудь диплом; а поскольку без диплома у нас не проживёшь, то, пожалуй, половина населения России может теперь претендовать на принадлежность к интеллигенции. Но в то же время сохранилось и представление, что кроме диплома есть ещё какое-то более высокое качество человека, описываемое как "интеллигентность" и напоминающее о прошлом, когда это качество встречалось чаще и в лучшем виде. О человеке могут сказать, не справляясь о его дипломе, что у него "интеллигентное лицо" или "интеллигентная речь". Представление об "интеллигентности" выражает ностальгию по прежней России.

В действительности русская интеллигенция была важной общественной группой, очень непохожей на нынешних "работников умственного труда" — как правило, государственных служащих с психологией чиновников. Чтобы понять, чем была и чем может быть интеллигенция, надо напомнить, *как она сама себя понимала.*

Многие особенности нашей интеллигенции, часто обсуждавшиеся в литературе, были свойственны исключительно России, как и самое слово "интеллигенция". Французское слово *intelligence*, или английское того же написания, означает "умственную способность", а вовсе не общественную группу людей. Этот новый смысл появился в России и отразился, например, в английской транскрипции intelligentsia, воспроизводящей русское произношение и передающий русский смысл этого слова. Во многих странах обнаружились группы людей, напоминающие русскую интеллигенцию и обозначаемые, основательно или нет, тем же названием. Постепенно наше особенное слово стало международным термином, но вряд ли его подлинное значение было где-нибудь так ясно понято, как в России.

Самое глубокое и общее представление о роли интеллигенции выразил выдающийся русский мыслитель Николай Васильевич Шелгунов. Готовя к печати второе издание своих Сочинений, он предпослал им, в виде общего введения, статью "Европейский Запад", где

историческое значение интеллигенции объясняется так, как понимали его сами русские интеллигенты. Я изложу дальше на современном языке главные идеи этой статьи, раскрыв цензурные недомолвки[1]. Люди каждой культуры живут по её обычаям, придерживаясь некоторой устоявшейся традиции. Они передают от отца к сыну, как надо жить, и, за редкими исключениями, каждый старается жить, как все. Жизнь племени должна быть неизменной, её ограждают безжалостные табу. Но все племена меняются и, если не гибнут, превращаются в нации, которые в свою очередь тоже меняются. Что заставляет их меняться?

В каждом племени изредка являлись нарушители традиции, еретики, искатели новых путей. Мы не знаем, кто изобрёл лук и стрелы, гончарный круг, колесо, кто первый приручил лошадь. Несомненно, в каждом случае это сделал один человек, или немногие отдельные люди; мы не знаем их имён. Это были подлинные герои культуры, нарушившие главное правило: "живи, как все". Ещё больше нарушали традицию люди, сомневавшиеся в каком-нибудь веровании племенной религии: чаще всего они расплачивались за это своей жизнью.

Еретики являлись редко, и культуры развивались медленно. Конфликты между государствами приводили к войнам, но войны мало меняли понятия людей и их образ жизни. Внутри каждого государства возникали социальные конфликты, приводившие к восстаниям, но восставшие всего лишь пытались заменить "плохого" царя "хорошим", не посягая на общественный строй. История изображалась как последовательность войн и династических переворотов.

Но постепенно историки выделили, по крайней мере в истории Европы, три эпохи, отличающиеся особыми чертами, и назвали их "древностью", "Средними веками" и "Новым временем". Резкие изменения, отделявшие эти три эпохи, вызывали пристальное внимание. Историки много спорили, пытаясь установить их временны́е границы. Границей, отделяющей древность от Средних веков, считали 476 год, когда германский князь Одоакр сместил последнего римского императора: до тех пор, полагают, была все ещё "древность". Столь же условно датируется начало Нового времени. Часто считали, что рубежом здесь было открытие Америки Колумбом, происшедшее в 1492 году; но Колумб и его спутники были вполне средневековые

[1]Эти идеи получили подтверждение в современной биологической науке о поведении – этологии, создателем которой был Конрад Лоренц. Следующее дальше описание субкультур пользуется языком этой науки.

люди. Более естественно считать началом Нового времени 1687 год, когда вышла книга Ньютона “Математические начала натуральной философии”. Это было в самом деле начало современной науки, но сам Ньютон занимался еще библейской хронологией, углубляясь в Апокалипсис.

Бессмысленно спрашивать, когда в точности началось средневековье или Новое время — так же бессмысленно, как спрашивать, когда в точности ребенок становится юношей, а юноша становится взрослым. И всё же, различие исторических эпох вполне реально и может быть убедительно описано. Более того, в каждом случае можно указать особые группы людей, которые стояли на границе исторических эпох и доставили идейное обоснование эпохальных перемен. Эти группы, с их уникальными признаками, разделяют исторические эпохи, подчеркивая объективность этого деления.

Культура, как и всякая живая система, неоднородна: в ней образуются субкультуры, обычно отражающие местные особенности или социальные типы. Такие субкультуры могут быть, например, продолжением древних племён, составивших единую нацию, каким были в древней Греции ионийцы, дорийцы и эолийцы, а в древней Руси — поляне, древляне, кривичи и другие племена восточных славян; потомки этих племён различаются диалектами языка и обычаями. В других случаях субкультуры образуются вследствие переселения и колонизации; так из английской культуры выделилась американская субкультура, впоследствии развившаяся в отдельную культуру, а из русской — субкультуры поморов, сибиряков и донских казаков. Во всех таких случаях субкультуры передают свои свойства по наследству генетическим и культурным путём: это значит, что дети, родившиеся от представителей некоторой субкультуры, получают при рождении физические особенности своих родителей, а при воспитании — их культурные особенности.

Но в некоторых случаях образуются субкультуры особого рода, соединяющие людей не случайностью их рождения, а общим образом мыслей и поведения: в определённой исторической ситуации может возникнуть целый слой людей, недовольных всем строем жизни своего общества и стремящихся к его радикальному преобразованию. В отличие от отдельных еретиков, оспаривавших ту или иную доктрину или обычай, эти люди обличают всё, во что веруют их современники, проповедуя новую веру; и они делают это не в одиночку, а вместе, поддерживая друг друга и продвигаясь в одном направлении. Эти субкультуры можно назвать “прогрессивными”, поскольку от них зависят важнейшие перемены в общественной

жизни, обозначаемые словом “прогресс”.

Первой такой субкультурой были ранние христиане. Учение первых христиан было продуктом еврейского мессианизма, созревавшего в течение столетий пророческого движения, проповедовавшего социальную справедливость и принявшего неизбежную в то время религиозную форму. Апостол Павел придал этой еврейской субкультуре универсальный характер, отделив её от племенных обрядов, и из неё развилась христианская культура Европы.

Христианство не разрешило социального вопроса: возникшая из него церковь пошла на соглашение с государством и собственниками. В обществе установился феодальный строй, а труженикам пришлось довольствоваться призрачными вознаграждениями загробного мира. Но религия Христа впервые установила принципиальное равенство всех людей, то есть, в нашем понимании, положила начало представлению о *правах человека* — не грека, не римлянина, не еврея, а *человека вообще*. Более того, христианство провозгласило в своей проповеди “милосердия” первые начала *гуманизма*, прежде понятные лишь немногим мудрецам, а теперь обязательные — по крайней мере на словах — для всех людей. Эти принципы, и сейчас ещё далёкие от осуществления, были началом новой эпохи в истории человечества, которую впоследствии назвали Средними веками.

После полутора тысяч лет средневековья, когда христианство выродилось в систему циничной эксплуатации, духовная жизнь людей снова зашла в тупик, как это было уже в конце Древнего мира. В течение Средних веков много раз возникали ереси и секты, ставившие под сомнение какие-нибудь доктрины или ритуалы церкви; но эти еретики никогда не отвергали христианскую религию в целом. Можно думать, что все это время в Европе не было неверующих.

Переход к Новому времени, так же, как переход от древности к средневековью, отмечен появлением прогрессивной субкультуры — целого слоя людей, полностью отвергших установленные верования и учреждения — церковь и феодальный общественный строй. Эта субкультура, подготовленная английской эмпирической философией и общественной мыслью, сформировалась в середине восемнадцатого века во Франции. Её идеологами были французские просветители, соединившиеся вокруг знаменитой “Энциклопедии” Дидро и Даламбера. В это время и произошёл переход общества к новым формам сознания, а затем к новой организации жизни.

Общество Нового времени мы называем буржуазным, поскольку власть в нем перешла от феодалов к буржуазии. Внешним выражением этого была Французская революция. В новом обществе бы-

ло достигнуто юридическое равноправие граждан, но по-прежнему не был разрешён социальный вопрос: результаты народного труда присваивались собственниками, а народ жил в нищете. Эта трагедия Нового времени вызвала — в передовых странах Европы — массовый протест трудящихся, социалистическое движение. Во главе этого движения стали образованные люди, составившие особую субкультуру. К ним примкнула лучшая часть русского общества, воодушевлённая идеалом освобождения трудового народа. Эта общественная группа, получившая решающее значение в развитии России, называется *интеллигенцией.* Н. В. Шелгунов распространяет это название на все прогрессивные субкультуры Европы, о которых шла речь: на первых христиан, на просветителей и на социалистов. Таким образом, он придаёт термину "интеллигенция" весьма общее значение, видя в интеллигенции движущую силу европейской истории. Конечно, выбор термина представляется нам странным, поскольку мы с трудом можем связать его с первыми христианскими общинами (но уже легче с французскими просветителями и европейскими социалистами). Впрочем, и наш термин ("прогрессивные субкультуры"), хотя и правильно описывает явления культурного развития, тоже плохо звучит — слишком формально и наукообразно. Между тем, речь идёт о вполне реальном механизме смены исторических эпох, заслуживающем серьёзного изучения, тем более, что очередная смена эпох происходит у нас на глазах. Этого не замечают те, кто видит в истории двадцатого века только поражение русской революции, с механическим продолжением буржуазного строя. Может быть, именно неудачная терминология привела к тому, что важное открытие Шелгунова осталось незамеченным. Между тем, оно отчётливо выразило самопонимание интеллигенции, осознавшей свою историческую роль.

В середине шестидесятых годов русская интеллигенция была уже многочисленным слоем населения России, сознававшим свою особенность и называвшим себя этим словом. Так же называли её противники, сторонники старого образа жизни, сознательно или бессознательно заинтересованные в сохранении сословного строя и самодержавной власти. Всю эту массу людей, желавших попросту "жить, как все", интеллигенты называли *мещанством.*

Это ещё одно ключевое слово русского языка, трудно переводимое на иностранные языки. Смысл этого слова почти утрачен.

Первоначально, в официальном языке России, оно означало “мещанское сословие”, то есть городское население, не входившее ни в “более высокие” сословия (дворянство и духовенство), ни в “более низкое” крестьянское сословие. Сюда относились не состоявшие в крепостной зависимости ремесленники, торговцы, заезжие иностранцы, владельцы уже возникших промышленных предприятий, многочисленные чиновники и сами интеллигенты — учителя, врачи, литераторы, адвокаты и другие люди “свободных профессий”. Этим “казённым” термином воспользовался Александр Иванович Герцен для обозначения *западной* буржуазии, которую он изучил в годы своей эмиграции, и которую, в качестве убеждённого социалиста, он считал главным врагом трудящегося народа. Затем этот термин был перенесён русскими интеллигентами на враждебную им окружающую публику, причем была полностью разорвана связь с казённым употреблением слова “мещанство”, сохранившимся в языке царских учреждений. Для полиции сами интеллигенты были “мещане”! История этого слова сама по себе заслуживает изучения как часть не написанной до сих пор новой истории России.

Для русской интеллигенции все её политические враги были “мещане” — в том числе чиновники и дворяне. Более того, смысл этого слова нередко расширялся на всю инертную массу населения Европы, противостоявшую жизненно важному для интеллигенции ходу исторических событий[1]. В наше время термин “мещанство” вряд ли вызывает у русского читателя отчётливые представления. Но его прежнее значение возродится вместе с возрождением нашей интеллигенции, потому что враждебная ей общественная среда не заслуживает иного названия.

Самое понятие “интеллигенция” часто определялось в отрицательном смысле, как “антимещанский” слой населения России. Правильнее было бы определить её как часть образованного населения России, *стремившуюся к просвещению и освобождению трудящегося народа и заботившуюся о его интересах.* Интеллигенция была субкультурой, какую мы описали выше под названием “прогрессивной”. Как и другие субкультуры этого типа, она боролась не за свои

---

[1]Именно так понимал слово “мещанство” Р. В. Иванов-Разумник, автор известного двухтомного труда “История русской общественной мысли” (1907), включивший в европейское “мещанство” не только буржуазию, но и аристократию, и духовенство всей Европы. Эта книга недавно была переиздана. Она была по существу попыткой написать историю русской интеллигенции и содержит много интересного фактического материала, но вряд ли эта попытка удалась, потому что автор пытается заключить явления жизни в мёртвые философские схемы.

собственные интересы, а ставила своей целью благо других. Пользуясь термином Огюста Конта, изобретённым в тридцатых годах девятнадцатого века, можно назвать эту установку интеллигенции "альтруистической". Далее, это была *гуманистическая* субкультура, поскольку её основной ценностью был человек, независимо от его происхождения и социального положения. Русские интеллигенты, сочувствуя главным образом труженикам, боролись за *социальную справедливость*. Но они не отказывали в человеческих правах и людям "нетрудовых" сословий: дискриминация людей по "социальному происхождению", сразу же введённая советской властью, была им чужда, и сами они стали жертвой этой политики. Точно так же, им чужда была любая дискриминация по национальному принципу: наряду с глубокой любовью к своей родине, русская интеллигенция была проникнута чувством интернационализма. Она открыта была всем мыслям и чувствам, приходившим из-за рубежа.

Русская интеллигенция состояла из людей разного происхождения, не придававших своему происхождению никакого значения — если не считать так называемых "кающихся дворян", испытывавших чувство вины перед трудовым народом, перед теми,

> Чьи работают грубые руки,
> Предоставив почтительно нам
> Погружаться в искусство, в науки,
> Предаваться мечтам и страстям.

Эти стихи Некрасова выражали настроение интеллигентов дворянского происхождения, составлявших со второй половины XIX века уже небольшую часть русской интеллигенции. Главной частью её были "разночинцы", то есть люди из "низших" сословий, получившие некоторое образование и усвоившие интеллигентские идеи в так называемых "кружках", стоявших в начале русского общественного движения. Первые из этих кружков приобрели заслуженную известность: таков был кружок "западников" вокруг Герцена и Огарёва, куда входили Грановский, Белинский и Бакунин, кружок "славянофилов" вокруг братьев Аксаковых, Хомякова и Киреевского, кружки "народников", из которых вышла организация "Земля и воля", и впоследствии кружки марксистов.

Большинство разночинцев происходило из городского населения низших сословий и из духовенства, причём дети священников уже в середине столетия легко освобождались от религии, сохраняя привитые им в детстве этические идеалы христианства. При столь разном происхождении, русская интеллигенция приобрела характер *на-*

следственной субкультуры, так как в интеллигентских семьях дети воспитывались в духе бескорыстной, часто аскетически жертвенной работы на благо народа — и с чувством глубокого презрения к "мещанству", с его атрибутами корысти и карьеризма. Интеллигенция, насчитывавшая перед революцией сотни тысяч людей, была единственным в своём роде этическим явлением. Её иногда сравнивали с монашескими орденами, внушавшими своим членам суровое чувство долга; но монахи могли рассчитывать на потустороннее вознаграждение, тогда как интеллигенты, не верившие в такие сказки, могли лишь предвидеть наказания от начальства.

Основной чертой интеллигентской этики была бескорыстная работа на благо народа. Русские интеллигенты резко отличались этим от образованных специалистов Западной Европы. Образованные люди Европы — учителя, врачи, инженеры, юристы, литераторы и учёные — были в основном буржуа по своей психологии и жизненной практике. Они добивались успеха в своей профессии, движимые своими материальными интересами и престижем — даже если делали своё дело добросовестно и талантливо, что было тоже, впрочем, условием успеха. Энтузиасты, сознательно работавшие в общественных целях, встречались редко и вызывали в своей среде недоумение и даже неприязнь.

В России, напротив, сложился другой тип образованного человека. Русские учителя, как правило, ставили себе целью просвещение народа и мирились с самыми скромными условиями жизни. Часто они стремились преподавать в сельских школах, потому что считали неграмотность и отсталость крестьян главным несчастьем России. Вместе с грамотой они прививали детям свои понятия о жизни, свои идеалы справедливости. Это требовало осторожности и нередко вызывало репрессии начальства. Врачи, работавшие в условиях общего невежества и некультурности народной массы, получали бедное жалованье, но не брали денег со своих больных. Русские врачи считали бессовестным извлекать выгоду из страданий простого человека, едва зарабатывающего своё пропитание. Чехов и Вересаев были врачи, видевшие в своей профессии служение народу, но они были и писатели, изобразившие в своих произведениях тёмные стороны жизни. Такая этика всё ещё встречается в нашей стране: все знают, как жили и работали хорошие учителя и врачи, нередко наши отцы или воспитатели. Новый тип специалиста, стремящийся только к собственной выгоде и презирающий тех, кто не может платить, всё ещё кажется нам неестественным, "нерусским" явлением — и это наследие нашей интеллигенции.

Даже инженеры и адвокаты, работавшие на зажиточную публику, нередко имели собственные взгляды и отказывались от бесчестных заработков. Но особенным, беспримерным явлением была русская литература. В условиях царской цензуры литература стала главным выражением общественного мнения, совестью России. В европейской литературе была сильная критическая струя, но не было ничего подобного общественной позиции русского писателя и связи между ним и его публикой. Можно сказать, что русские журналы были голосом страны. В это трудно поверить в наши дни, когда литература просто никому не нужна и — соответственно этому — прекратилась.

Братство интеллигентов было разнообразно. В него входили знаменитые профессора и инженеры, люди с мировой славой, скромные деревенские учителя и врачи, и даже чиновники, пытавшиеся улучшить нравы своего учреждения. Были и богатые люди, искусные дельцы и капиталисты, тратившие свои деньги и отдававшие свой труд для "общего блага". Таковы были братья Третьяковы, создавшие знаменитую картинную галерею, таков был Савва Мамонтов, создавший оперный театр, и совсем уже нельзя назвать капиталистами таких людей, как самоотверженные издатели Павленков, Сытин, Солдатенков, наполнившие Россию прекрасными книгами, или блестящий инженер Николай Георгиевич Михайловский, построивший сибирскую магистраль и ставший, под псевдонимом Гарин, замечательным писателем. У этих людей деньги были не для себя.

Интеллигенция была неоднородна также и в политическом отношении. В самых общих чертах, её можно разделить на радикалов и либералов.

Либералы — в русском смысле этого слова — не были похожи на западные партии этого названия. В Западной Европе либерализмом называлось политическое движение буржуазии, добивавшейся "свободы торговли", то есть отмены государственных ограничений промышленной и торговой деятельности. Поскольку в этом состоял главный интерес поднимавшейся к власти буржуазии, в европейском сознании связь между "торговлей" и "свободой" стала почти аксиоматической, как это видно даже из некоторых мест "Истории философии" Рассела. Но за этим частным аспектом свободы стоял более общий и более важный для человечества вопрос о свободе личности. На Западе, где крепостное право исчезло уже в конце средневековья, и где личность человека — во всяком случае, личность собственника — была в значительной степени ограждена от произвола властей, лозунг "свободы" относился именно к свобо-

де экономической деятельности. Европейский либерализм выражал интересы буржуазии и имел, таким образом, корыстный, эгоистический характер. Конечно, буржуазия, защищая свои материальные интересы, тем самым выступала как представитель общечеловеческого интереса: освобождая себя от феодальных уз, она не могла не содействовать освобождению человека вообще.

В России, где до конца XIX века почти не было буржуазии, заимствованный с Запада либерализм приобрёл прямой характер, более связанный с первоначальным смыслом слова *libertas*, "свобода". Точно так же, русские придали прямой смысл термину "демократия", понимая под этим не западную систему представительного правления, а "народоправство" в общем и не очень определённом смысле этого слова. Для русских либералов важна была не "свобода торговли", а *просто свобода.* Либералами были декабристы и Пушкин, не имевшие отношения к торговле, либералами были чиновники вроде Сперанского, генералы вроде Милютина, юристы вроде сенатора Кони, а в двадцатом веке — кадеты, то есть члены конституционно-демократической партии, иначе называвшей себя "партией народной свободы". Многие из русских либералов были люди с глубоким образованием и гуманными чувствами, немало сделавшие для развития России. Этот слой русской интеллигенции дорожил условиями своей жизни, не следуя примеру аскетов и подвижников, так что радикальные интеллигенты часто подозревали в либералах неискренних союзников или даже врагов.

Если судить о человеке с точки зрения его общественной функции, то к интеллигентам надо отнести и некоторых людей, не сочувствовавших либеральным доктринам, и даже прямо противостоявших интеллигентскому радикализму. Достаточно упомянуть помещиков-славянофилов или таких писателей, как Гоголь, Толстой и Достоевский. Конечно, вопрос о том, кого следует считать интеллигентом, отнюдь не прост. Радикальные русские интеллигенты сказали бы, что славянофилы и Гоголь им чужды, а Толстой и Достоевский хотя и радикальны, но в другом направлении. Эти крайние случаи иллюстрируют сложность занимающего нас вопроса.

Чем же была *радикальная* интеллигенция, неприязненно относившаяся к барскому либерализму и не верившая ни в царя, ни в бога? Значительное большинство русской интеллигенции усвоило, в той или иной форме, идеи европейского *социализма.* Это слово

весьма скомпрометировано в нынешней России, поскольку им пользовалась советская пропаганда — для прикрытия нашего рабства и нищеты. Поэтому надо разъяснить, что означало для русских интеллигентов слово "социализм".

Французская революция выдвинула девиз: "свобода, равенство, братство", распространившийся по всему миру и определивший чаяния новой исторической эпохи. Люди, принявшие этот лозунг всерьёз — и во Франции, и в других странах, — придавали ему глубокое значение, далеко выходившее за рамки того, что было достигнуто революцией. После поражения крайних революционеров — якобинцев — и последовавшей затем диктатуры Наполеона и реставрации, во Франции установился компромиссный государственный строй — буржуазная монархия Луи-Филиппа. С 1830 года "свобода" понималась как соблюдение законов, то есть прекращение феодального произвола, а "равенство" означало юридическое равноправие всех граждан, то есть устранение сословных привилегий. Это устраивало буржуазию, ставшую господствующим классом вместо дворянства, богатых крестьян, которые могли больше не опасаться за приобретённые после революции земли, и городских предпринимателей, торговцев и банкиров, которые могли беспрепятственно обогащаться. "Четвёртое сословие" — неимущие труженики, составлявшие подавляющее большинство населения, — не получило ничего, кроме юридических фикций: по известному афоризму, при буржуазном строе "богатый и бедный имели одинаковое право ночевать под мостами Сены". К этому свелись "свобода" и "равенство" для простого народа; о "братстве" можно было и вовсе забыть.

Народ не мирился с властью денег, обрекавшей его на нищету и бесправие. Революция 1848 года свергла монархию, но завершилась кровавой расправой над парижскими рабочими. Политическая власть осталась в руках богатых, бесстыдно выставлявших напоказ свою роскошь. После трёх лет буржуазной республики, ничего не изменившей в положении народа, власть захватил племянник Наполеона, назвавший себя "Наполеоном Третьим". Это была власть буржуазии без всякого парламентского прикрытия.

В эти годы, тридцатые и сороковые, появились социалистические учения. Учителями были бескорыстные энтузиасты — конторщик Фурье, разорившийся аристократ Сен-Симон, английский фабрикант-филантроп Оуэн. Их последователей стали называть "социалистами". Подобно первым христианам, социалисты не посягали на государственный строй и вначале считали безразличной форму правления. Но, в отличие от первых христиан, они видели главное

зло в *частной собственности* и понимали, что подлинная свобода, настоящее равенство и братство людей невозможны, пока все богатства находятся в руках немногих, а всем остальным приходится добывать себе пропитание наёмным трудом. Социалисты верили, что можно устроить справедливое общество, где все будут работать и никто не будет собственником средств производства — земли, фабрик и заводов. Они верили, что такой справедливый строй может быть установлен мирными средствами: злополучные революции свидетельствовали, что этого нельзя добиться силой. Поскольку их вера казалась безумной, таких энтузиастов прозвали "утопистами", от греческого выражения "место, которого нет".

Безумные мечтатели, предлагавшие невозможные проекты, являлись во все времена: они хотели летать, передавать мысли на расстоянии и даже добраться до Луны и планет. Их высмеивали, но иногда их мечты со временем исполнялись. Общество, какое представляли себе социалисты, не могло быть столь простым, как они думали, но и ковёр-самолёт был проще настоящего самолёта. Очень скоро выяснилось, что богатые и власть имущие не проявляют доброй воли и не хотят расстаться со своей собственностью. Тогда явились другие люди, возложившие свои надежды на захват власти. Это было возвращение к насилию, глубоко чуждому первым социалистам. Из мечты о социальной справедливости возникла "диктатура пролетариата", потом "советская власть", "национал-социализм", и так далее.

Но русская интеллигенция восприняла социализм в его первоначальной форме, как борьбу за социальную справедливость. Учения "утопистов" и романы Жорж Санд нашли в России благоприятную почву. Их сразу усвоили Герцен и Огарёв; их обсуждали в кружке Петрашевского, где начинал свой путь Достоевский; к ним пришёл в конце жизни Белинский. Щедрин всю жизнь был фурьеристом, а Чернышевский и Добролюбов уже не довольствовались мирным социализмом и замышляли немирные средства. Постепенно в России проявились все цвета социалистического спектра.

Русская интеллигенция формировалась под знаком социализма. Даже русские либералы не были чужды этих идей: кадеты были, как правило, тоже ревностные сторонники социальной справедливости, возлагавшие надежды на мирную эволюцию. Более того, Толстой и Достоевский, искавшие спасения на путях религии, всегда стремились к равенству и братству людей, как бы мало они ни ценили свободу. Невозможно найти интеллигента, избежавшего влияния социализма, — во всяком случае, после декабристов. При-

чиной этого было особое отношение к собственности, всегда характерное для России.

Изречение Прудона “собственность — это воровство” нигде не было так справедливо, как в нашей стране. В России собственность редко была плодом личного труда. Труженик был неимущ, а в самом обычном случае он сам был крепостной собственностью. Главное имущество — земля — доставалась по наследству и была в руках дворян. Иначе говоря, в России продолжался сословный строй, какой был в Европе в Средние века. В эту отсталую страну, начиная со времени Петра, непрерывно доставлялись мысли европейского производства, на несколько столетий опережавшие её убогую действительность. И, прежде всего, сама русская интеллигенция была неимущей — если не считать “кающихся дворян”. Сыновья священников, мелких чиновников или крестьян, бывшие семинаристы и студенты, ходившие в рваных сапогах, с продранными локтями, пробивались “в люди”, зарабатывали себе на жизнь, но редко обзаводились собственностью. Собственность вызывала у них естественную неприязнь, но никоим образом не зависть: они слишком хорошо знали, откуда берётся эта собственность.

Россия, географически принадлежащая к Европе, была не только отсталой страной, это была страна азиатского беззакония. Помещики распоряжались крестьянами без всяких правовых ограничений, а те отплачивали им, воруя все, что плохо лежит; маркиз де Кюстин не переставал удивляться этому, не умея уберечь свои чемоданы. Чиновники ничего не делали без взяток: “не подмажешь — не поедешь”. Купцы твёрдо знали главное правило коммерции: “не обманешь — не продашь”. Русский интеллигент, начавший об этом задумываться, не мог проникнуться уважением к собственности. Даже русский барин, читавший французские книги, начинал стыдиться своей собственности и искал ей какое-нибудь оправдание; если не находил, становился интеллигентом и социалистом. Можно сказать, что идеи социализма принялись в России, как нигде в мире, и должны были принести урожай. К несчастью, выросло не то, что сеяли интеллигенты, но это уже другой разговор, и это была не их вина.

Все идеи, приходившие в Россию с Запада, воспринимались как “последнее слово науки”. Это не так уж удивительно, поскольку отсталость нашей страны была очевидна, и превосходство европейской культуры бросалось в глаза всем, кто имел к ней доступ. Русским не очень дозволялось ездить в Европу, но потребности имперской бюрократии заставляли посылать туда молодых людей — “для подго-

товки к профессорскому званию", или для обучения какому-нибудь полезному искусству. А главное — в Россию все время проникали иностранные книги. Знание языков было тогда началом всякого образования; во всяком случае, все окончившие гимназию читали по-французски. Из французских книг, часто не прошедших никакой цензуры, можно было узнать много интересных вещей. В частности, идеи социалистов вскоре приобрели наукообразный характер. Виктор Консидеран рационально изложил мысли Фурье, ученики Сен-Симона придали его идеям систематический вид, наконец, Луи Блан и Прудон писали уже учёные трактаты, доказывая неизбежность социальных перемен. Следующей стадией "научного социализма" был, разумеется, марксизм; но к нему интеллигенты обратились лишь в конце девятнадцатого века. Когда первые русские интеллигенты ссылались на "новейшие достижения науки", они имели в виду все еще "утопический социализм", с его мирными средствами просвещения и кооперации.

Идеи революционного насилия тоже явились не без влияния Запада. Декабристы принялись устраивать, в сущности, дворцовый переворот по образцу русского восемнадцатого века, но уже под влиянием Французской революции. Офицеры научили солдат кричать "Ура, Константин!", что солдатам было понятно, но, сверх того, "Ура, конституция!", что было уже совсем не по-русски. Есть версия, что солдаты считали Конституцию женой Константина. Народовольцы перешли от пропаганды к террору — от отчаяния. Их вылавливали и казнили, и они хотели было устроить восстание, или, как вспоминает Вера Фигнер, "инсуррекцию": у них не было русского слова. Подсчитав сторонников, обнаружили всего несколько сот "инсургентов", что было явно недостаточно. В таких случаях "террор" возникает сам собой, а потом ему ищут обоснование.

Наконец, из Европы пришёл совсем уже научный социализм, или коммунизм, в котором насилие, по-видимому, объявлялось законным и желательным. Так поняли марксизм некоторые русские интеллигенты. Это было не совсем верно: европейские социалисты обошлись без насилия. Но Россия, погрязшая в насилии, должна ещё этому научиться.

Задача, которую ставили себе русские интеллигенты, была непомерно трудна. Они хотели осуществить свои идеалы в стране, ещё не вышедшей из феодального строя, с самодержавной монархией

и бюрократическим управлением, подавлявшим всякую общественную инициативу. Очевидный путь развития страны шёл через капитализм, и буржуазия, уже сложившаяся в начале двадцатого века, готовилась захватить власть. Радикальная интеллигенция, видевшая перед собой буржуазную Европу, не хотела такого будущего. Русские интеллигенты видели в своём народе задатки нового общества. Они находили их в крестьянской общине, где сохранились навыки сотрудничества и самоуправления, и пытались привить крестьянам современную кооперацию. Они устраивали рабочие профсоюзы. Учителя учили детей грамоте, врачи боролись с болезнями и суевериями. Вся интеллигенция поднималась на борьбу с голодом и холерой.

В несколько десятилетий русские интеллигенты проделали огромную работу, приблизив Россию к европейской культуре. Их усилиями были созданы университеты с высокими научными традициями, научные школы, получившие мировое признание. Начало века Россия встретила бурным развитием промышленности и железных дорог: все это строили русские инженеры. Русская литература, музыка и искусство, мощно развившись в девятнадцатом веке, в начале двадцатого удивили мир своей силой и новизной.

Культурный рост России не был стихийным процессом. То, что было сделано в России, не могло быть сделано без энтузиазма. Здесь была та же энергия человеческого духа, которая просветила варваров Европы, выстроила соборы, создала современную цивилизацию. Но, несомненно, здесь было больше разумного, сознательного деяния. Это было деяние русских интеллигентов, благородных и бескорыстных создателей нашей культуры. То, что они сделали, не должно быть забыто. Но роль интеллигенции вовсе не исчерпана. Напротив, она неизбежно должна снова взять на себя историческую функцию, которую не может выполнить никто другой.

Судьба русской интеллигенции была трагична. Все знают мещанскую версию русской истории, сваливающую на интеллигенцию вину за неудавшуюся революцию. Но революции не устраиваются по замыслу людей — они *происходят*. Так произошла, в условиях проигранной войны и отчаяния народной массы, Февральская революция. Стихийное движение обычно находит вождей в образованных классах общества, и эти вожди в значительной мере случайны. Так было во Французской революции, и так случилось в России. Подлинные вдохновители интеллигенции не дожили до революции. А люди

действия, берущие на себя организацию революционных учреждений, обычно не бывают выдающимися людьми. Развитие событий, последовавшее за Февральской революцией, не было результатом какого-нибудь плана: революционные события всегда случайны, хотя люди пытаются придать им определённое направление. Военный путч, устроенный большевиками и названный "Октябрьской революцией", отдал власть в руки сектантов, вообразивших себя единственными толкователями и исполнителями марксизма. Большевики были фанатики, как правило не имевшие серьёзного образования: их можно назвать полуинтеллигентами. Вождь большевиков Ульянов, известный под псевдонимом "Ленин", был ловкий политический тактик, использовавший общую усталость от войны. Его партия готова была заключить мир на любых условиях, и это доставило ей решающую поддержку солдат и матросов. Именно этим объясняется успех большевистского переворота. Поскольку Маркс и Энгельс не оставили никаких указаний об организации нового общества, большевики не знали, что делать со свалившейся в их руки властью, и принялись импровизировать, разрушив хозяйственную систему страны и не умея заменить её ничем другим.

Русская интеллигенция хотела изменить государственный строй России. В феврале 1917 года она приветствовала взрыв народного гнева, свергнувший гнилую монархию, но она же отвергла октябрьский переворот. Учредительное Собрание, избранное единственным в истории России свободным голосованием, было творением интеллигенции, её гордостью и надеждой. Интеллигенты не сумели защитить Собрание от горстки сектантов, навязавших России свою волю. Грустная правда состоит в том, что народ, измученный войной, подчинился этой воле. Русская интеллигенция противилась ей, сколько могла. Но она не умела ни вести войну, ни выйти из войны. Историческая вина интеллигенции была именно в том, что она не умела организовать насилие.

Подавляющее большинство интеллигенции было потрясено разгоном Учредительного Собрания и произволом большевиков. Интеллигентная молодёжь боролась с ними на фронтах гражданской войны. Заключив с Германией Брестский мир, большевики смогли демобилизовать армию и удержать власть. Они обеспечили нейтралитет крестьян, проведя задуманную эсерами аграрную реформу. Боровшиеся против них силы не имели общей программы и не могли выработать общую политику. "Белая" армия была неестественным союзом монархистов с либералами, и в послевоенной разрухе иностранные государства не могли повлиять на ход российских со-

бытий. Большевики выиграли гражданскую войну и сумели продлить свою власть на несколько лет, допустив частное хозяйство под названием "новой экономической политики". Но, конечно, их утопические планы не удались. Сотни тысяч интеллигентов, спасаясь от большевистского террора, ушли в эмиграцию, в том числе самые активные общественные деятели и самые способные люди науки и искусства.

В середине двадцатых годов большевики потеряли власть. Установился фашистский режим во главе с малоизвестным партийным бюрократом Джугашвили, выступавшим под псевдонимом "Сталин". Фашистский период в истории двадцатого века надо рассматривать как промежуточное явление на границе двух исторических эпох, вызванное пережитками феодализма и непрочностью капитализма в отсталых странах Европы и Азии. Сталинский режим использовал невиданные в истории карательные методы, почти полностью уничтожив всю активную часть русского общества. Самое существование "советского общества" было лишь хозяйственным каннибализмом, принесением в жертву людей для продления несостоятельной системы власти. Анализ советской истории выходит за рамки этой статьи. Но последняя фашистская империя развалились навсегда, и мы оказались в буржуазном мире, где никому до нас нет дела.

Теперь у нас пытаются восстановить капитализм, но это невозможно без законного порядка. Нынешние политики и журналисты принимают за образец рыночное хозяйство в его современном виде, то есть *умирающий* капитализм. В сущности, эта система давно уже находится в тупике, у неё нет новых идей, нет планов на будущее. Правители западных стран пытаются справиться с безработицей, искусственно стимулируя бессмысленно раздутое потребление. Не видно выхода из хозяйственного застоя. А главное, западное общество трагически лишено общественных идеалов — целей человеческой деятельности. Мы видим жалкую возню наших правителей, пытающихся соорудить какую-нибудь идеологию. Нами правят нищие духом. Рыночное хозяйство само по себе не может быть целью. Молодые люди ищут смысла в жизни, им нельзя сказать: "Идите на рынок".

Свободного рынка в старом смысле слова, где состязаются независимые производители, давно уже нет. Государственное вмешательство в экономику стало общим правилом, крупные предприятия принадлежат уже не отдельным капиталистам, а сложным корпорациям, управляемым менеджерами и инженерами. Западная эконо-

мическая система, в сущности, давно превратилась в пародию на государственный социализм. В этой системе нет разума. Она напоминает машину, движущуюся неизвестно куда, с перегретым мотором и водителем, едва успевающим следить за показаниями приборов. Она утратила ориентацию на человека и ориентируется на вещи. Нам незачем подражать этой обречённой цивилизации: мы должны понять, что́ должно её сменить.

Эпоха капитализма приходит к концу. Интеллигенция стоит на рубеже исторических эпох, между застоем настоящего и трудными решениями будущего. Традиция русской интеллигенции жива. Россия, никогда не принимавшая буржуазного равнодушия к человеку, не мирится с возникающим бесчеловечным обществом, где удачливые воры выставляют напоказ свою роскошь, где образование становится товаром, за который надо платить, где врач спекулирует на страданиях больного, где виновных больше не судят, а неудобных безнаказанно убивают. Нравственные убеждения, завещанные поколениями русских интеллигентов, вызывают в лучших людях нашего времени непреодолимое отвращение к тому, что происходит в России. Такого общества мы не хотим.

Осмысление происходящего и выработка будущих целей является задачей интеллигенции. Русская интеллигенция должна прежде всего думать о восстановлении русской культуры. Мы не можем надеяться, что кто-нибудь это сделает за нас. Мы не можем рассчитывать на импорт идеологии, как это делали наши предки. Запад может доставить нам только новые товары: у него нет больше новых идей. Россия, где нет буржуазных традиций и где собственность не имеет престижа, может быть местом, где возникнут эти идеи.

Большевики и советская власть

Нынешнее положение нашей страны объясняется её прошлым и, прежде всего, октябрьской революцией. Люди, устроившие эту революцию, назывались большевиками. Наши современники не понимают большевиков. Им ставят в вину гибель многих миллионов людей, разорение и культурное опустошение России, а потому считают их очень плохими людьми. В иных случаях это говорят даже их дети, помнящие своих отцов, потому что перед лицом общего мнения лишь немногие смеют полагаться на своё.

В нашей стране выжило и победило мещанство. Мещанином всегда движет личный интерес, и он не понимает других мотивов человеческого поведения, подставляя вместо них свои. Он ищет у большевиков корыстолюбие и карьеризм.

Простейшее объяснение поведения большевиков состоит в том, что они попросту хотели нажиться и придумали способ присвоить себе чужое добро. Сторонники такого объяснения не принимают всерьёз идеологию большевиков, а уподобляют их уголовным преступникам. Но воры и грабители ни разу в истории не совершили революции, не вели гражданской войны, не создали новое государство. Они не обладают для этого воображением, энергией и, тем более, способностью к самопожертвованию. Шайки уголовников действуют в рамках существующего строя, применяясь к его условиям. Конечно, можно называть уголовниками всех, кто посягает на собственность и личную безопасность, но тогда история превращается в детективный роман. Кто не понимает разницы между грабителем и революционером, тот может безбедно прожить в устойчивом обществе, но вряд ли поймёт, что происходит в этом мире в эпохи роковых перемен.

По другой версии, большевики устроили весь этот переворот потому, что стремились к власти. Конечно, властолюбие всегда играло свою роль, но этим никак нельзя объяснить поведение миллионов людей, уверовавших в идеи большевиков. Честолюбцы нередко используют общественное недовольство, прибегая к демагогии, и этим можно при желании объяснить не только нашу революцию, но всю историю вообще: содержанием её оказывается всего-навсего борьба за власть между отдельными личностями и группами. Сторонники такого взгляда возвращаются к наивности средневековых хронистов, изображавших историю в виде последовательности дворцовых

переворотов и завоевательных войн, и первых атеистов, считавших все религии делом рук бессовестных обманщиков.

Многие в нашей стране полагают, что мы и до сих пор живём при советской власти, продолжающейся с 1917 года, и что нами управляют большевики, прямые преемники большевиков, устроивших октябрьскую революцию. Так же рассуждают и мыслители русской эмиграции, имеющие для мышления несравненно более благоприятные условия. Но большевики были истреблены, и наши правители нисколько на них не похожи. Точно так же, в нашем опыте нет ничего, связанного с советской властью: её помнят только люди, которым сейчас за восемьдесят лет, и которые ни тогда, ни впоследствии не принимали никакого участия в общественной жизни, что и дало им возможность так долго прожить.

Советская власть давно прошла, плохо изучена и основательно забыта. Продолжалась она около десяти лет — с осени 1917 года до 1927 или 1928 года, когда большевики были отстранены от власти. Иллюзия преемственности, сохраняемая и по сей день в названиях некоторых учреждений и в официальной словесной идеологии, может обмануть только людей, не знающих истории.

В начале нашей эры римский император Октавиан, принявший титул Августа (что значит "величественный" или "высочайший"), установил свою власть на обломках римской республики. Он сохранил при этом все внешние формы республиканского правления и всячески демонстрировал уважение к учреждениям, превращённым в его послушные орудия. Звание императора не означало в то время монарха, а было лишь воинской почестью, воздаваемой солдатами победоносному полководцу. Октавиан не принял никакого звания, несовместимого с республиканской традицией. Он сосредоточил в своих руках ряд государственных должностей — народного трибуна, верховного первосвященника и т. д. — а в сенате довольствовался вновь введённым статусом принцепса — первоприсутствующего сенатора, председательствовавшего на заседаниях, но формально имевшего, как и все сенаторы, лишь один голос. Его официальным званием и стало слово "принцепс". Поскольку граждане и до того очень мало участвовали в управлении государством, сохранение привычных форм и наименований обеспечивало их спокойствие и послушание.

Политическое мошенничество Октавиана было новшеством в древней истории. До того всякий государственный переворот сопровождался видимой переменой способа правления: если республика превращалась в тиранию, то тиран не притворялся лучшим

из республиканцев. Но после незаметного переворота, устроенного Октавианом, граждане могли любоваться регулярным функционированием республиканских учреждений.

Вряд ли Сталин так же ясно понимал, что значил произведённый им государственный переворот. Возможно, этот малограмотный авантюрист до конца своих дней считал себя лучшим из большевиков, имевшим поэтому право перебить всех остальных. Такое субъективное представление вполне совместимо с примитивностью его мышления, полным отсутствием чувства юмора и прогрессировавшим с годами психическим расстройством. Но дело не в субъективных представлениях, а в том, что через десять лет после революции произошёл государственный переворот, уничтоживший созданный революцией политический строй, — следовательно,*контрреволюционный* переворот. Внешним признаком его было отстранение от власти лидеров, выдвинутых революцией, а ещё через несколько лет, в 1937 году, большевики были истреблены. Разумеется, их судили и убивали в соответствии с правилами этого маскарада — как *контрреволюционеров.*

Последние месяцы жизни Ленина были заполнены отчаянной борьбой с неудержимо разраставшейся бюрократией. Сталинская контрреволюция и была победой советской бюрократии над советской властью.

История революции и советской власти до сих пор не написана. Внутри страны писали только официальные фальшивки, а в эмиграции — пристрастные политические памфлеты и воспоминания. Не было ни одной попытки осмыслить это забытое, но бесконечно важное для нас прошлое. Это удивительно, потому что распад русской культуры произошёл не сразу, и в двадцатые годы были ещё мыслящие люди, казалось бы, просто обязанные заняться только что свершившимся прошлым. Вероятно, весь образованный слой русского общества был деморализован катастрофическим провалом всех своих надежд. Ведь русская революция решительно не удалась, и вся вековая жертвенная борьба нашей интеллигенции завела Россию в тупик.

В этом кратком очерке я предлагаю объяснение особого типа людей, именуемых большевиками, и особого общественного строя, именуемого советской властью. Надеюсь, моё отношение к людям и событиям объективно, или, лучше сказать, справедливо. Но это вовсе не значит, что я не придерживаюсь определённой точки зрения: сейчас объясню, в чём она состоит.

Я не верю ни в какой исторический детерминизм — ни в смыс-

ле экономической неизбежности, ни в смысле божественного провидения. Принудительная последовательность причин и следствий возможна лишь там, где нет человека, ставящего себе цели. В природе настоящее и будущее определяется прошлым — это и есть детерминизм. Но в жизни человека и общества желательное будущее зачастую оказывается важнее прошлого, состязаясь с ним в борьбе за настоящее. Человек *свободен*, он может сознательно влиять на историю, производя в обществе желательные для него изменения.

Свобода человека ограничена законами природы, но им не противоречит. Неверно, что желания человека полностью определяются его внешним окружением. Человек начинается с того, что бытие не определяет сознания. Самое понятие сознания означает выделение человека из мира животных, полностью зависящих от внешних условий, и начало разумного изменения этих условий. Итак, я убеждён в свободе человеческой воли, не стеснённой никаким предопределением. Отсюда ясно, что мне чужды все религии и всякий консерватизм. Если бы я был уверен, что нынешние социалисты сохранили веру в человека и его творческую свободу, я назвал бы себя социалистом.

Конечно, я не разделяю политическую философию большевиков, фатальным образом не понимавших значение свободы. Но позиция, о которой я говорил, кажется мне благоприятной для понимания большевизма. В самом деле, мы понимаем в других людях лишь то, что в какой-то степени не чуждо и нам самим. Поэтому нельзя ожидать понимания большевиков от тех, кто цепляется за спасительные формулы предков и установленные традиции — искренне или притворно. Я имею в виду всех авторов, заявляющих о своей преданности самодержавию, православию и народности, или стыдливо умалчивающих о каком-нибудь члене этого заклинания.

Чтобы понять большевиков, надо разделять их веру и надежду: веру в творческое своеволие человека, способное изменить судьбу человечества, и надежду внести в это дело свой личный вклад. Но, конечно, вовсе не надо разделять их неверие и их безнадёжность, породившие сектантскую изоляцию в политике и партийную стадность, как единственно безопасную психическую установку индивида. Иначе говоря, надо быть более радикальным оптимистом, чем большевики. Такое требование трудновыполнимо. Но, по-видимому, подлинный оптимизм должен быть нетороплив.

Диссиденты

1.

Система власти, сложившаяся в нашей стране, у многих вызывает недовольство и отвращение. Сталин уничтожил все следы организованного сопротивления и поддерживал покорность населения с помощью кровавого террора. Но условия, при которых возможны были террористические кампании, исчезли вместе с поколением людей, принимавших всерьёз общественные дела. На смену им пришли чиновники, соблюдающие лишь собственные, личные интересы, и террор, каким он был в сталинское время, прекратился, поглотив всех, кто способен был его проводить. На развалинах сталинской системы установилось некоторое равновесие, при котором уже невозможны массовые кампании, политические убийства родни и, вследствие этого, снизился уровень страха. В первые годы после смерти диктатора недовольство выражалось в косвенных формах, искало себе всякие лазейки в рамках партийной идеологии и прикрывалось двадцатым съездом. Уже не было условий для террора, но сохранилась инерция страха, и у власти стояли очень уж знакомые лица. Первые открытые проявления несогласия начались в 1964 году, после устранения Хрущёва.

Я имею в виду не простое недовольство системой, всегда сохранявшееся в народе, а более или менее сознательное расхождение с этой системой по идейным причинам. Поскольку обращение идей в нашей стране крайне сузилось, то за редкими исключениями, такое расхождение наблюдается у так называемой интеллигенции. Всякое несогласие с господствующей в этой стране системой иностранцы прозвали “инакомыслием”. “Инакомыслящий” — это приблизительный перевод английского слова “Диссидент”, первоначально означавшего — в Англии XVII и XVIII столетий — сектантов, отколовшихся от официальной религии. Конечно, английские диссиденты вовсе не отвергали христианскую религию, а претендовали на более правильное ее истолкование. Поэтому иностранцы называют всех наших недовольных интеллигентов словом, влекущим за собой некоторую аналогию: собственно говоря, диссидентами в нашей стране следовало бы называть людей, не отвергающих советскую систему, но предлагающих её реформировать и исправить. Кроме

того, иностранцы имеют привычку сваливать всех "инакомыслящих" в одну кучу. Они представляют их себе наподобие "оппозиции" существующему правительству, применяя к России собственные мерки политического мышления. Если в правительстве сидят "консерваторы", или "правые", то в оппозиции должны быть "левые", или "радикалы", и обратно. Между тем, наши "инакомыслящие" делятся на глубоко различные течения, по-разному относящиеся также к существующему режиму. Впрочем, у иностранцев можно найти и попытки классификации. Чаще всего наших "инакомыслящих" делят на три группы: "марксистов", "православных" и "правозащитников", или "демократов".

"Марксистами" у нас называют людей, верующих в экономическое учение Маркса и в основном одобряющих замыслы большевиков, но считающих, что на каком-то этапе большевистская система испортилась, подверглась извращению. Эти люди хотели бы исправить все извращения советской системы и вернуть её к некоторой "первоначальной чистоте". Конечно, такого "чистого" состояния системы никогда не было, и его приходится заново конструировать в терминах марксистского миропонимания. Иначе говоря, приходится начать всё с начала, исходя из тех же идей, которых придерживались лучшие большевики, но на этот раз уже не делать ошибок, не допускать "извращений". Один из представителей этой точки зрения, Жорес Медведев, попытался даже некоторым образом оправдать то, что произошло в нашей стране: "Марксизм, — заявил он уже в эмиграции, — как всякая научная теория, имел право на эксперимент". Вряд ли стоит опровергать это изречение: научные эксперименты крайне нежелательно ставить на людях, а если это неизбежно, то требуется согласие подопытных лиц. Таким образом, любое испытание "марксистской" теории требовало бы какой-то формы демократического опроса публики, во избежание ещё одной "диктатуры пролетариата". Но публика у нас вполне равнодушна к "марксизму". Братья Медведевы — едва ли не единственные "марксисты", не ужившиеся в государственном аппарате. Те же, кто сидит в этом аппарате, вовсе не враждебны ему, а хотели бы его отремонтировать и укрепить. Если угодно, они и есть "диссиденты" в точном смысле этого слова: советского мировоззрения они не отвергают. Поскольку нас интересуют люди, всерьёз расходящиеся с режимом, мы можем оставить "марксистов" в стороне.

Другое течение нашего "инакомыслия" составляют "православные" или, как они более откровенно себя называют, — русские националисты. Конечно, я имею здесь в виду не просто религиозных

людей, а тех, кто связывает с религией (и прикрывает религией) вполне определённую политическую идеологию. Они видят спасение России в отказе от марксистской "интернациональной" фразеологии, уже потерявшей всякое значение в государственной практике нынешнего режима, и в переходе на путь русского шовинизма. Представители этого направления надеются опереться на шовинистическое крыло партийного аппарата и ищут соглашения с ним. Более покладистые "православные" превосходно ладят с режимом, хорошо устроены в нём, и в таком комфортабельном положении готовы ждать лучших времён. Все эти Солоухины, Аверинцевы, Глазуновы проделывают время от времени ритуальные жесты повиновения власти, и никто не беспокоится об их "православии". Менее покладистые деятели, отказывающиеся демонстрировать повиновение, подвергаются преследованию, но они также стремятся к компромиссу с режимом, как это видно из опубликованного Солженицыным "Письма вождям". Они хотели бы видеть в нашей стране, как выразился этот писатель, "авторитарную власть", которая обеспечит русским "национальное возрождение". Сочетание "авторитарности" с национализмом господствующей нации хорошо известно в политической жизни двадцатого века: оно называется фашизмом. Русские националисты предлагают нам, в старом монархическом костюме "самодержавия, православия и народности", русский фашизм. Тенденция "аппаратных" шовинистов и мечтательный империализм "внеаппаратных" не оставляют в этом никакого сомнения. Люди этого направления хотят "отеческой" попечительной власти, им глубоко чужда демократия с её открытой борьбой взглядов и интересов. "Соборность", о которой они мечтают, есть ещё один "проект установления единомыслия в России", по классическому выражению Козьмы Пруткова.

Желательное состояние "православного единомыслия" они видят в прошлом России, но, конечно, никакая историческая эпоха не годится для этой цели, так что "первоначальную Русь" им приходится искусственно конструировать, так же, как "марксисты" конструируют "первоначальный", неизвращённый большевизм. Построением идеала "первоначальной Руси" занимались их идейные предки, так называемые славянофилы. Русские националисты стремятся к воплощению в нынешних условиях своей идеальной Руси. Предполагается, что единомыслие установится в ней по воле божьей, в лоне православной монархии; но если не совершится такое чудо, то, как всегда бывало в истории, русские националисты возьмут *на себя* осуществление своего проекта, и всем "инакомыслящим" будет ху-

до. "Теократическое" управление, о котором они хлопочут, на наших глазах испытывается в Иране. "Православные", как и "марксисты" не любят и *не хотят свободы*; при всём различии их мировоззрений те и другие представляют себе будущее в виде государственной опеки над вечно несовершеннолетним народом, те и другие стремятся к компромиссу с режимом. Конечно, компромисс с одними не может удовлетворить других, но в принципе компромисс в обоих случаях возможен: режим может покаяться на польский манер и начать "марксистское обновление", или же может повернуть на рельсы откровенного шовинизма. В обоих случаях интересы нашей господствующей бюрократии будут сохранены.

Третье направление нашего "инакомыслия", при всей его слабости и непоследовательности, принципиально несовместимо, не допускает никакого компромисса с нашим режимом. "Правозащитники" требуют от власти соблюдения законов, уважения к правам человека, — иначе говоря, *свободы*. Но режим не выносит свободы, не может существовать вместе в нею, начинает разрушаться при первых её проявлениях. Чехословакия и Польша доказывают абсолютную непримиримость "реального социализма" с любой концепцией законности и свободы. Поскольку никакая эволюция режима в этом направлении невозможна, наши "правозащитники", хотят они этого или нет, понимают или не понимают, объективно оказываются врагами режима. Им и посвящается эта работа. Достаточно известно, каковы друзья нашего режима — посмотрим же, кто его враги.

"Правозащитники" глубоко страдают от рабства и произвола. Некоторые их них проявили мужество и терпение, вынесли тюрьму, ссылку, лишение работы, продолжая говорить и делать одно и то же. Другие, не выдержав давления, дали выгнать себя в эмиграцию. В первое время, когда власти, никогда не видевшие открытого протеста, несколько растерялись, у этих людей могли быть разные иллюзии. Но прошло пятнадцать лет, и в нашей стране не больше свободы, чем было в середине шестидесятых годов; в некоторых отношениях стало даже заметно хуже. Единственным "достижением" правозащитников можно считать разработку техники эмиграции, то есть самоудаления из отечества. Власти научились справляться с разными видами "протеста", меньше считаются с заграничным общественным мнением. Сейчас, по-видимому, все видят, что "правозащитное движение" оказалось в тупике, и продолжение того же образа действий может привести лишь к очень определённым последствиям, к механическим реакциям государственной машины, без труда поглощающей очередную протестующую лич-

ность или вытесняющей её за границу. Все видят, что дальше так продолжать нельзя.

Настало время подумать, *почему* зашло в тупик "правозащитное движение", что в его идеологии обрекло это движение на неудачу. В русской истории было когда-то неудавшееся движение, с которого началась русская революция, — так называемое "хождение в народ". Юноши и девушки, руководствуясь фантастическими представлениями о русском народе и государстве, шли просвещать народ или поднимать его на восстание против общественного строя России. Мужики слушали их и толковали об услышанном без особенного понимания, а нередко связывали их и сдавали в полицию. Было это больше ста лет назад. После нескольких лет такого хождения инакомыслящие прошлого века разочаровались в этом образе действий, но, может быть, не очень хорошо обдумали, что им делать дальше: самые энергичные из них затеяли террор. Конечно, нам не угрожает подобное бедствие, и трудно предвидеть, в чём может выразиться в наших условиях разочарование и отчаяние. Мне кажется, пришло время обдумать создавшееся положение.

Думать всерьёз — значит думать беспощадно. Можно уважать в человеке его мужество и спокойно разбирать его мнения. После всех жертв, принесённых хорошими людьми, правомерно поставить вопрос, чего эти люди хотели, зачем они эти жертвы принесли. Это нужно для того, чтобы новые люди, готовые включиться в общественную работу, могли сознательно решать, будут ли они следовать своим предшественникам, или займутся чем-нибудь другим.

2.

Чего же хотели эти люди? Было бы странно считать, что у них не было никакой цели, что они просто выражали свои чувства по отношению к существующему режиму. Да и самые слова "правозащитное движение" указывают на некоторую цель: тот, кто возмущается нарушением человеческих прав при некотором строе, не может не хотеть другого строя жизни, при котором эти права были бы защищены. Если составить грустный перечень "нарушений", то избавление от них само по себе уже является целью — и цель эту ставят себе все, кому дороги человеческое достоинство и свобода. Таким образом, любое серьёзное стремление что-нибудь изменить в общественной жизни предполагает уже общественные цели — пусть, на первых порах, чисто отрицающие, цели избавления от самых очевидных недугов. Отвращение к слову "цель", наблюдаемое

у некоторых лучших представителей “правозащитного движения”, основано на недоразумении: они опасаются *слишком определённых целей*, напоминающих политическую программу. Совсем бесцельное поведение чисто реактивно. Понятие цели неотделимо от всего живого и даже может служить определением жизни, поскольку живые существа отличаются от неживых предметов именно тем, что ставят себе цели. Можно было бы сказать, что страх перед целью есть попросту замаскированный страх перед жизнью; но видим здесь семантическое недоразумение. “Правозащитники” в действительности ставят себе цели. Но они не задумываются, каким образом могут быть достигнуты эти цели, или описывают желательное для них состояние общества неопределённым термином “демократия”. Понятно, что при нынешнем состоянии нашего общества трудно выдвигать более определённые общественные задачи. Если человек не знает, как можно достигнуть желательного состояния “демократии”, это не его вина: для нынешней России это куда более трудная задача, чем было, например, для России 1917 года. Хуже, если такой человек пытается обратить своё неведение в особенную добродетель и утверждает, что этого *никто* не может знать, что это вообще знать невозможно. Потому что при таком подходе “демократия” теряет какие-либо определённые эмпирические признаки и становится благим пожеланием, не очень чуждым тем представлениям о лучшем мире, какие нам предлагают все религии. В самом деле, каждому дозволено заниматься вопросами представительства, налогообложения, разделения властей и т. п.; но было бы кощунством доискиваться, как должна быть устроена система управления в раю.

В таком употреблении слова “демократия” нетрудно усмотреть старую русскую традицию. Русские люди, не ездившие за границу или плохо понимавшие иностранные учреждения, обычно не представляли себе демократию в действии, в виде реально существующей политической системы. “Демократия” понималась в некотором “очищенном”, изолированном виде, соответственно буквальному переводу: для русских “демократия” означала “народовластие”. Носителем этой власти считался некий абстрактный субъект по имени “народ”, которому приписывались самые удивительные свойства, очень далёкие от свойств окружающего населения. Сто лет назад молодая русская интеллигенция, получившая религиозное воспитание или даже просто вышедшая из духовенства, разочаровалась в религии и перенесла свой религиозный пыл на это новое божество. Естественно, блаженное состояние человеческого общества стало именоваться “демократией”. Религиозные импульсы, лежавшие в ос-

нове русского революционного движения, давно уже распознали проницательные наблюдатели, не увлечённые этим движением, например, Бердяев. Русскому революционному движению было присуще внутреннее противоречие: оно ставило себе мистические цели и пыталось добиться этих целей своими руками, без помощи свыше. Религиозные доктрины прошлого обещали своим приверженцам сверхъестественную помощь божества и райское блаженство после смерти. Это были могучие стимулы человеческого поведения: крестоносцы шли в неведомые страны по кличу "так хочет бог", а воины Магомета знали, что каждый погибший за святое дело тотчас же окажется в раю. Религиозные стимулы русских революционеров были не столь очевидны, они не обещали себе ни сверхъестественной поддержки, ни загробного блаженства: это была религия, переодетая наукой. И всё же вера продолжала творить чудеса, потому что у русских революционеров была вера. Они *верили* в достижение своих целей, верили в то, что увидят "коммунизм" своими глазами, точно так же, как ждали царства небесного первые христиане.

Ничего подобного мы не видим у наших нынешних "демократов". Подобно своим предкам, русским интеллигентам, они соединяют неопределённый идеал "демократии" с неверием в сверхъестественную поддержку своих стремлений. Но они не верят и в самую возможность достигнуть этого идеала. И отсюда происходит их бессилие. Потому что лишь те цели способны вдохновить человека на активную борьбу, которые для него безусловно осуществимы. Наши "правозащитники" в этом смысле не борцы. Они не из тех, кто может когда-нибудь перейти в наступление, и самая мысль об этом их удивляет. Единственно понятное им поведение — это упорная оборона, но без причинения противнику какого-нибудь вреда. Это армия, состоящая из одной медицинской части: когда в кого-нибудь попадают, соседи его перевязывают и громко выражают своё негодование. На первый взгляд, это похоже на движение ненасилия, ненасильственного сопротивления, во главе которого стоял Ганди. Но это только кажется: трудно представить себе наших "правозащитников" в роли организаторов какого-нибудь практического массового движения, например, неуплаты налогов или незаконной выварки соли. У Ганди был политический расчёт, связанный с основными свойствами его страны, и расчёт этот оказался верным. Между тем, наши "демократы" считают ниже своего достоинства любые политические расчёты. Наше "правозащитное движение", по-видимому, не похоже ни на одно общественное движение, бывшее до сих пор. Может быть оно лучше, нравственнее всех бывших в истории движений?

Представьте себе Ганди, отбросившего всякие тактические расчёты. Увы, в этом случае Индия осталась бы английской колонией, в которой стало бы больше одним святым! Может быть, следует напомнить, что лучшие люди тогдашней Индии не считали иностранное господство желательным для себя состоянием. Желательное состояние они описывали словом “независимость”. Следовательно, это было *политическое* движение.

С кем же можно сравнить наших “демократов”, избегающих всякого намёка на политическую программу и настойчиво подчёркивающих свои чисто *нравственные* устремления? Больше всего они напоминают христианских сектантов, но не организованных в общины и управляющихся сектантов, таких, как баптисты или адвентисты, а сектантов вроде толстовцев или последователей Альберта Швейцера, не организованных, живущих в одиночку или небольшими группами и проповедующих своё учение. Иначе говоря, наши “правозащитники” по своему психологическому типу и образу действий напоминают христианских сектантов-одиночек, не образующих никакой церкви еретиков. Но и среди этих христиан-отщепенцев есть разные направления. Этическое учение Швейцера основано на христианской мистике и, при всей ненавязчивости его в отношении догматов, предполагает постоянную связь с нематериальной основой бытия, мистическое напряжение духа, воспитываемое лишь в школе религиозной традиции. Всего этого в наших “правозащитниках” не увидишь. Они как-то очень уж далеки от всякой мистики. Приземлённость их этических понятий, я сказал бы: бездуховность их этики больше всего напоминает самую бездуховную секту христианской религии — толстовство. При внимательном чтении Толстого складывается впечатление, что вся сверхъестественная сторона религии была неинтересна. Вряд ли он всерьёз верил в загробную жизнь, все его заботы относились к земной жизни человека. Во всей религии его занимала только этическая сторона, которую он понимал как свод удобопонятных предписаний для практической жизни. Христос нужен был ему лишь в качестве привычного авторитета, поддерживающего эти предписания, и он охотно заменял его другими авторитетами, если это было в интересах его учения: Буддой, Магометом и даже наукой, поскольку “и по науке выходит то же”. И вот, если мы возьмём толстовское стремление к чистой жизни, толстовскую чувствительность ко всякой неправде, непреодолимое желание высказать свой протест (“не могу молчать”), и если отбросим остатки христианского вероучения или ослабим их до ни к чему не обязывающего симпатического отношения к нему,

то мы получим довольно точное представление о душевном облике наших “демократов” Таким образом, эти люди — не что иное как толстовцы конца двадцатого века.

3.

С практически-нравоучительной тенденцией толстовства связано пристрастие наших “демократов” к “закону”, их юридическая одержимость. С толстовским непониманием и неприятием общественных механизмов связана их неприязнь к “политике”, страх перед соблазнами власти. Прямо напоминает Толстого их недоверие к “прогрессу”, неуважение к человеческому разуму, действующему в повседневной жизни и истории. Все эти черты нашего “демократического” мышления важны для его понимания, и мы их в дальнейшем подробно разберём. Но прежде всего мы должны понять основное различие между толстовцами конца двадцатого века и Львом Толстым, жившим сто лет назад. Различие в том, что за эти сто лет у русского интеллигента совсем умерла *вера.*

Что же такое вера?

В наше время распространено недоразумение, отождествляющее веру с религией. Философы определяют веру как особое состояние психики, связанное с ожиданием некоторого события. В этом смысле мы верим, что солнце завтра утром взойдёт на востоке, верим во многие другие вещи на основании прошлого опыта или интуитивного предвидения, и без такой веры не могли бы, конечно, прожить и одного дня. Простейшие виды поведения, выражающие веру, есть и у животных: собака, застывшая в ожидании притаившейся добычи, демонстрирует элементарный акт веры. Более сложные формы веры лежат в основе науки: всякая естественная наука предполагает веру в обязательную повторяемость, воспроизводимость тех или иных явлений, более того, веру в закономерности природы, позволяющую экстраполировать их далеко за пределы опытных данных. Вера в науку — то есть в человеческий разум — может быть плодотворной, может давать человеку прочную основу для жизни и работы, если познание становится его главным интересом, иначе говоря — если он учёный. Трудно отделаться от впечатления, что у многих учёных, воспитанных в девятнадцатом веке, вера в науку была чем-то вроде религии: прежде всего приходят на ум русские учёные демократического направления, но и на западе были столь же яркие явления. У Фрейда последовательный научный позитивизм доходит до такой силы внутреннего убеждения,

что наши философы — будь они поумнее — могли бы использовать его в качестве образцового учёного-материалиста. У Эйнштейна вера в красоту и стройность законов природы достигает высоты мистического вдохновения.

Более известны проявления веры в искусстве. Если учёный верит в истину, то художник — если он заслуживает этого имени — непоколебимо верит в красоту. Он живёт в непрерывном ожидании, предчувствии красоты, являющейся ему во внешнем мире и во внутреннем мире его творческого воображения. Художник, точно так же, как и учёный, переживает состояния экстаза, родственные тем, какие вызывает у верующего молитва. Нет границы, отделяющей истину от красоты: есть только разница в человеческих способностях, по-разному познающих человека в его отношениях к миру и к себе.

Синтезом жизни всегда была философия, пытавшаяся понять смысл человеческого существования. Здесь не может быть доказательства, но может быть прозрение и постижение. Это значит, что человек, живущий в определённое время, созданный определённой историей, пытается интуитивно понять самого себя и собрать это понимание в стройную систему. Интуиция может перейти в дальнейшем в точное знание, и тогда философия переходит в науку; но к тому времени человек уже не тот, и полученное знание не может заменить ему философию. Итак, философия есть опережающее науку самопознание человека. Философу, не умеющему принудительно доказать свои постижения, более чем учёному нужна вера. Только вера может поддержать в нём напряжённое, длящееся всю его жизнь складывание, сопоставление разрозненных элементов бытия: для этого он должен прежде всего верить в *целое*, в существование некоего смысла, который он пытается отыскать. И нельзя сказать, что это целое уже до него существует, что ему остаётся лишь его открыть: философ стоит между учёным и художником, потому что находит в окружающем мире и в самом себе объективные истины, не образующие стройного целого, и творит из них это целое — для себя и людей.

История человеческого духа изобилует примерами глубокой веры, не связанной с какой-либо позитивной религией, то есть с общественно признанной системой догм и обрядов. Сократ не верил в богов, которым поклонялись в Афинах, и все философы были плохими прихожанами своей церкви. Но они умели жить и умирать в согласии со своими убеждениями. То, что давало им силу жить и умирать, не было религией — но это была вера.

Как мы сказали, в основе веры лежит напряжённое ожидание. У человека ожидание событий не обязательно должно совершиться во внешнем мире, как это происходит у животных. Человек может верить в нечто, заведомо не бывшее в его опыте и не появившееся в течение его жизни: в Справедливость, в Мировой порядок, в Человека с большой буквы, каким он должен быть, но никогда не бывает. Способность к сублимации позволяет нам отодвинуть ожидаемый предмет веры за пределы чувственного опыта, но от этого не слабеет напряжение ожидания и предчувствия: напротив, удивительное свойство нашей психики состоит в том, что бесконечно далёкий предмет нашего желания скрепляется с душой человека нерасторжимыми связями, несравненно прочнее, чем преходящие предметы повседневных желаний. Это и есть способность к вере. Она не обязательно должна быть в человеке, как способность есть или спать. В некоторые эпохи способность к вере может столь основательно отмереть, что возникает надобность писать о ней объяснения.

Более обыкновенная и, на первый взгляд, всем известная форма веры — это позитивная религия, у которой есть священные книги, церковь и, конечно, жрецы. Каждая такая религия считает, что она обладает истинной верой, а все остальные лгут. Пока религия сильна и активна, никакой верующий не согласится признать, что в другой части света может быть вера в том же значении этого слова, как его собственная, что специальная форма этой веры зависит от случайности рождения его в такое-то время в такой-то стране. Если верующий проявляет такое великодушие, то можно не сомневаться, что религия его переживает упадок. С точки зрения свободно мыслящего человека вера одинаково присутствует во всех религиях, вызывая всюду явления того же рода. Особые психические состояния, связанные с верой, повторялись — и ещё повторяются — у бесчисленных миллионов верующих людей. Эти состояния ещё не изучены психологией, но нет сомнений в их реальности, поскольку о них свидетельствует не только самонаблюдение верующих, но и объективное наблюдение со стороны. На языке религии — это состояние молитвенного экстаза, благодати и греха. Традиционные религии обладают механизмами, регулярно вызывающими у верующих эти состояния. В основе этих механизмов лежит молитва, и есть основания думать, что они должны быть приведены в действие в раннем детстве субъекта, подобно другим “механизмам запуска”, уже изученным в этологии. Иначе говоря, способность к религиозному переживанию предполагает “религиозное воспитание” в детстве: если его не было, то всякие религи-

озные обращения не вызывают доверия. Нынешняя мода на религию у нашей интеллигенции есть наивная имитация религиозных обрядов и разговоров людьми, не способными к подлинному религиозному переживанию.

Трудно понять, каким образом возникает способность к вере вне установленной религии. Конечно, в этом случае решающую роль играет воспитание в детстве, подсознательное запечатление под действием родительского влияния. Для этого надо, чтобы родители сами обладали этой способностью. Мы имеем здесь дело с передачей некоторого наследия нашего вида не генетическим, а культурным путём, путём традиции и воспитания. Биологи показали, что у человека оба способа наследования необходимы для сохранения вида, и выпадение существенной части культурного наследства может вызывать очень серьёзные расстройства, вплоть до вырождения и гибели человеческого рода. Нет сомнения, что способность к вере является существенной частью нашего наследства, и что эта часть нашего достояния находится теперь под угрозой.

Переход от религиозной веры к религиозному сомнению и, наконец, к прямому отвержению религии вовсе не обязательно сопровождается потерей способности к вере. Эта способность может сохраниться, перейдя на новые предметы и, таким образом, может сохраниться сильный и жизнеспособный тип человека. Способность к вере сохранялась не только при перемене общепринятой религии, но и при отказе от религии в обычном смысле этого слова: об этом свидетельствует история европейского просвещения, социализма и, в особенности, русской интеллигенции. Таким образом, понятие веры связано с определёнными состояниями, объективно существующими в нашем психическом аппарате и нейтральными к конкретному содержанию веры. Назовём эти состояния — за неимением лучшего термина — экстатическими состояниями психики, подчёркивая этим их специфическую интенсивность и сопутствующие им физиологические проявления. Одно и то же экстатическое состояние могут вызывать самые различные материальные и воображаемые предметы: различия между такими состояниями не связаны с этими предметами, а относятся к физиологии мозга.

Очень важно понять, что мы говорим здесь о некоторой общей способности человека, а не о религиозности в традиционном смысле этого слова. Вряд ли кто-нибудь, кроме верующих в этом традиционном смысле, станет утверждать, что подлинно возвышенные душевные состояния вызывает, скажем, лишь христианская религия, а еврейская, мусульманская или буддийская вызывают совсем

другие состояния, низшего порядка. Наши инакомыслящие охотно призна́ют, что все религии имеют возвышающее и укрепляющее действие на психику человека. Но они не призна́ют, что наука и искусство способны производить действия того же рода, и уж конечно с негодованием отвергнут мысль, что в определённую эпоху так же действовали на людей доктрины социализма и коммунизма. Возвышающее действие признается лишь за теми доктринами, которые претендуют на сверхъестественное происхождение. Такое почтение к установленным религиям очень смешно со стороны неверующих, но не только смешно. Оно связано с *общественным* характером этих религий и свидетельствует о социальной зависимости нашего инакомыслящего интеллигента, о его неверии в духовные силы отдельного человека, — в общем, о его неразвитой, слабой личности, ищущей поддержки во мнении других людей и доверяющей лишь установленным авторитетам. Наш интеллигент не назовёт верующими Сократа, Бетховена и Эйнштейна, но безоговорочно признает таковыми шаманов любого установленного культа.

Если воспользоваться аналогией, то способность к вере напоминает музыкальность: человек может быть восприимчив к музыке независимо от того, какую музыку он предпочитает вследствие своего воспитания, вкуса и привычек. И он может быть неспособен воспринимать музыку, даже если в его окружении принято ценить этот вид искусства. Люди, связывающие явление веры с определённой установленной религией или вообще с какой-нибудь установленной религией, так же заблуждаются, как если бы они связывали музыкальность с определёнными музыкальными произведениями или некоторым видом музыки, вошедшими в обычный репертуар.

Высокое состояние психики, дающее человеку веру, почти неизвестно нынешней науке. Психическая жизнь человека скрывает в себе возможности, о которых мы не подозреваем. Начинается она с простейших реактивных состояний, возникающих от физического раздражения: голода, страха или полового влечения; на другом конце находятся сложные состояния вдохновения, восторга, мистического экстаза. О них мы очень мало знаем, и самое существование их достоверно известно лишь тому, кто их испытал. Во всяком случае, наша психическая жизнь делится на этажи, последовательно возникавшие в ходе эволюции. “Рациональное мышление”, подсчитывающее выгоды и преимущества — то, что Фрейд обозначал термином “Эго”, — далеко не высший этаж, и при всей изощрённости этой вычислительной машины у нынешнего человека этот вид мышления относится к очень раннему, почти животному слою

нашего психического аппарата. “Эго” научилось пользоваться высшими логическими способностями человека, но не усвоило никаких целей, кроме стремления к безопасности и разрядке психического напряжения. Это не может быть целью культуры, более того — несовместимо ни с какой культурой.

В самом деле, какие цели ставит себе культура? Культура — это некоторый образ жизни сообщества людей, способ организации этого сообщества, система его занятий, обычаев и вкусов, в общем некоторое материальное и духовное единство, исторически сложившееся в этом сообществе и воспроизводящееся в нём посредством традиции. Культура подобна биологическому виду, с той разницей, что наследование информации происходит в ней путём обучения. Этнографы научили нас видеть развитую, очень сложную и утонченную культуру в жизни каждого, даже очень примитивного племени; еще более сложны и утонченны культуры народов, оставивших глубокий след в истории: таковы были исчезнувшие культуры — египетская, китайская, греческая, культура средневековой Европы, такова и современная западная культура, находящаяся теперь в упадке. Вряд ли можно говорить о цели биологического вида: он попросту существует, можно считать, что вид процветает, если он воспроизводится в достаточном числе индивидов. И здесь кончается аналогия между видом и культурой, потому что культура имеет внутренние, присущие ей цели, не сводимые к простому воспроизводству. Воспроизводство земледельческой культуры в долине Нила было бы вполне возможно без пирамид, а греческая городская культура могла бы лучше сохраниться, если бы на средства Афинского союза не был построен Парфенон, а были бы возведены какие-нибудь особенно длинные и высокие стены. Но тогда перед нами была бы уже не египетская и не греческая культура, потому что каждая культура имеет свою цель. Жизнь муравьёв сводится к определённым трудовым процессам, защите от всевозможных нарушений экологического равновесия, произведению потомства и обучению потомства повторению тех же операций. Человеческое общество, низведённое до этого цикла простого воспроизводства, вырождается и гибнет. Человеческому обществу нужны цели, достаточно высоко стоящие над этой рутиной повседневного быта. Целью общества не может быть сооружение вещей, что особенно ясно в наше время, когда производство вещей достигло невиданного совершенства. Пирамиды и храмы нужны были не сами по себе, а ради связанных с ними *переживаний.* Чтобы понять возможные цели греческой культуры, надо представить себе чувства людей,

восходивших по ступеням Пропилей к жилищу своей богини. Камни — только средства, как и всё, что мы совершаем вовне: цели же достигаются внутри нас.

Целью каждой культуры является достижение высоких состояний психики. По отношению к этой цели всё остальное в культуре представляет *средства*. Культура, в которой мы живём — называемая “культурой массового потребления”, — потеряла свою цель и полностью сосредоточилась на средствах. Поэтому в ней господствует так называемое “рациональное мышление”. Но это, собственно, уже не культура, а промежуточный продукт распада “западной культуры”. Конечным продуктом этого распада должно быть, по-видимому, состояние человека вне культуры. Но это невозможно, потому что человек вне культуры уже не является человеком, теряет главный образующий признак своего вида. Итак, “рациональное мышление” — всего лишь замысловатый способ коллективного самоубийства нашего вида.

“Экстатические состояния” психики представляют высший этаж нашей психической жизни, и наши современники потеряли способность подниматься на этот высший этаж. Люди, лишённые способности к вере, склонны отрицать эту способность; человек так устроен, что все недоступные ему способности презирает, предполагает даже, что ничего такого не бывает. Это общая установка нашей цивилизации.

Нам надо было напомнить эти очевидные истины, потому что они основательно забыты. Мир вокруг нас не живёт уже духовной жизнью, а довольствуется материальной. И большинство окружающих нас людей лишено способности к вере, потому что не получило этой способности в своём воспитании. Речь идёт о вполне реальных психических состояниях, которые могут быть у любого человека, получившего в детстве необходимую подготовку. Но если в его детстве не было такой подготовки, если детство его было духовно нищим — например, оттого что нищие были уже его родители, — тогда человек не способен к вере. В крайнем случае он даже не верит, что бывает вера, и не тревожится из-за таких пустяков. Образование не может здесь помочь: мы живём среди инвалидов образования, компенсирующих свою неполноценность какой-нибудь информацией.

Очень важно, что вера имеет *положительное* содержание. Это значит, что некоторые вещи человек считает правильными, желательными и прекрасными и глубоко убеждён в непреодолимой силе этих идей, в их непременном торжестве. Убеждение это не основано на материальном расчёте — в основе его лежит вера. Может по-

казаться, что такое убеждение противоречит разуму и несовместимо с современным научным мировоззрением. Говоря с современным человеком, часто обнаруживаешь недоумение: как можно верить в вещи, которых нельзя *доказать*?

Но "доказать" можно лишь то, что уже слишком хорошо известно, чтобы стать серьёзной целью. Даже научное исследование не начинается с доказательства: в лучшем случае, оно появляется в конце. Для любого дела нужно *предварительное* убеждение в его возможности, вовсе не опирающееся на точное знание. Загадочная способность человека предвидеть наперёд то, что должно быть, называется *интуицией*. Сделаны лишь первые шаги в изучении этого удивительного явления. Как было сказано в самом начале, вера в своём элементарном виде есть напряжённое ожидание. Отсюда ясно, что интуиция теснейшим образом связана с верой. Без веры нельзя сделать никакое научное открытие: от "разумной" деятельности остаётся лишь лабораторная рутина, стандартизованные измерения и "метод проб и ошибок". В человеческих и общественных делах, где редко бывает "точное знание", и в самом деле мало что можно "доказать". Но это вовсе не значит, что в таких делах невозможно никакое знание. И, как всегда, знанию предшествует интуиция.

Интуитивное понимание духовных потребностей человека было в основе всех великих общественных движений. Оно могло принимать странную, чуждую нам историческую окраску, но это было правильное в своей основе, глубокое понимание. Наша "западная цивилизация", от которой почти все теперь отреклись, выросла из такого понимания, из некоего интуитивного открытия, обычно связываемого с Христом. Конечно, это открытие не было делом одного человека, и первые его проповедники никак не могли что-нибудь "доказать". Этого требовали от них люди здравого смысла — фарисеи. Откровения, касающиеся человека, в прошлом непременно принимали вид религии. Но эти откровения развивались вместе с сознанием человека. Для современного сознания откровение не может быть похоже на религию в старом смысле слова. Поэтому так безнадёжны усилия людей, латающих старые мехи: сперва надо иметь молодое вино. Выработка новых общественных идеалов есть серьёзная работа, требующая творческой интуиции и ясного мышления — одно не противоречит другому. И, конечно, на этом пути не сделать и шагу без глумления современных фарисеев, которым ничего нельзя "доказать".

Но вернёмся к нашей теме. Упадок веры в нашей интеллигенции связан с тем, что её религиозные источники иссякли, а взамен их не

были выработаны новые идеалы. Марксизм оказался удивительно бедным в отношении положительных идеалов; можно сказать, что он выдохся сразу же, как только получил возможность приступить к их осуществлению. Весь пафос коммунизма был в *отрицании* старого мира, справедливом и сильном отрицании, но для нового мира у коммунизма было лишь несколько словесных пожеланий. Самое главное, чего недоставало коммунизму, — это идеал человека (или, как теперь выражаются, "модель человека": не правда ли, звучит почти научно?). В начале века, когда среди прочих русских интеллигентов были и последователи Толстого, хватало ещё пережитков старой веры. Во всяком случае, сам Толстой считал своё учение очевидным и ожидал только, когда люди увидят истину и обратятся. Он нисколько не сомневался, что так должно быть и так будет. Столь же пламенно верил в своё дело Ленин, предвидевший построение коммунизма в 10–15 лет. Вся русская история до конца большевистской власти — т. е. до 1927–28 года — объяснима лишь как история общества, одержимого верой.

Мы ограничимся одним очевидным выводом: удалившись от своих источников, вера как массовое явление умерла, нынешний русский интеллигент не имеет веры и к вере не способен. Неспособность эта прежде всего проявляется в том, что он не умеет составить себе никакого идеала, перед ним не стоит идеальное общество и идеальный человек. Он не верит больше в бога — и не способен уверовать в Человека. Он тоскует в своём неверии: Человек он пишет с малой буквы, а бога с большой. Иначе говоря, в поисках идеала он смотрит назад, в прошлое, с которым у него уже порваны связи: "распалась связь времён".

Наш инакомыслящий интеллигент не имеет положительной веры, а стало быть, не имеет веры вообще. В нём осталось одно отрицание, отвращение от всего плохого, происходящего вокруг. Но подлинная вера не строится на отрицании.

4.

Прежде всего, наши инакомыслящие не верят в человеческий разум. Для верующих в традиционном смысле слова это и не обязательно: они руководствуются священным писанием и указаниями жрецов. Всякая установленная религия помещала человеческий разум в узкие пределы. Епископ Боссюэ объяснил, в полном соответствии с учением церкви, что разум — источник всех ересей: "Еретик, — сказал он, — тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением". Люди, не доверяющие своему разуму и

не верующие в сверхъестественное откровение, поистине находятся в жалком положении. Поскольку они не обладают церковным учением, объясняющим всё необходимое о человеке и общественной жизни, они вынуждены полагаться лишь на человеческое суждение. Однако, именно те виды человеческого суждения, которые для этого необходимы, внушают им наибольшее недоверие. Эти формы мышления относятся к так называемым "гуманитарным наукам", положение которых в наше время особенно шатко.

В точном смысле слова "гуманитарные науки" — это науки, касающиеся человека. По традиции из этих наук исключаются анатомия, физиология и медицина, опирающиеся на наблюдения и измерения. Они не имеют отношения к нашему предмету, поскольку лишь косвенно связаны с духовной и общественной жизнью человека. Гораздо важнее в этой связи психология, всё более принимающая характер естественной науки, но всё ещё причисляемая к гуманитарным. Далее, к гуманитарным наукам относится история, она в некоторых отношениях наука, но в других часто становится философией и художественной литературой; политическая экономия, где больше науки и меньше литературы; социология, где научная сторона возникла в последние десятилетия; этика и эстетика, которые вовсе не науки. Видное место в гуманитарном образовании занимает изучение языков. Вне этого ряда "гуманитарных" наук оказывается этология человека; она и в самом деле естественная наука, но имеет прямое отношение к нашему предмету. Наконец, для человека важнее всех других наук философия, вовсе не наука в своей главной части. Этот последний вид деятельности особенно скомпрометирован в наше время, и философы предпочитают теперь заниматься не философией, а логикой, гносеологией или чем-нибудь другим.

Когда-то — в прошлом веке и начале нынешнего — "гуманитарным" наукам, и в особенности философии, придавали огромное значение. Предки наши, начиная с Белинского и Герцена, ревностно изучали историю, а от философии ожидали решения всех вопросов жизни. Позже, к концу девятнадцатого века, под влиянием успехов естествознания престиж философии несколько снизился, и решения всех вопросов ожидали от политической экономии и социологии; историю изучали столь же прилежно, обращая внимание на развитие общественных учреждений. Наши предки формировали своё мировоззрение, главным образом, путём изучения "гуманитарных" наук. И всегда — изучали и знали языки.

Люди, среди которых мы живём, сформировались совсем иначе, получили иное образование. "Гуманитарной" школы они не прошли.

В этом больше всего проявился разрыв с традицией, о котором мы выше сказали словами Шекспира[1], началось с того, что попали в немилость древние языки, целое поколение просветителей добивалось — и в конце концов добилось — устранения этих языков из школьной программы. Предполагалось, что вместо ненужной классической премудрости дети будут лучше усваивать элементы естествознания. Вряд ли это делается теперь лучше, чем в классической гимназии, но живая связь с источниками европейской культуры была прервана — может быть, навсегда. Кстати, все великие физики и математики прошлого, вплоть до создателей квантовой механики, прошли через классическую гимназию, а они "право же стоили нынешних", как сказал по другому случаю поэт[2].

Вслед за древними языками перестали учить и новые. Правда, они остались в программах, но изучение их приняло "практический" характер, стало ориентироваться на чтение научной и технической литературы, или на торговлю, туризм и другие виды поверхностного общения. Очень скоро эта установка привела к практическому незнанию иностранных языков: если в начале века все образованные русские читали, а часто и говорили на главных европейских языках, то в наше время этот навык стал уделом "специалистов".

Трудно оценить, как может повлиять на судьбу культура выпадения "языковой" традиции. Традиция эта очень старая. Она возникла вместе с цивилизацией. Все образованные люди владели латынью — международным языком, превращавшим все университеты Европы в единую семью: это называлось "республикой наук и искусств". Позже к латыни присоединился в качестве столь же универсального языка французский, позволявший образованным людям XVIII и XIX века объясняться друг с другом. У образованных людей был не только общий язык для разговора, но и общий круг исторических воспоминаний, поэтических образов, мудрых изречений. Мы обнаруживали этот мир классического образования у всех старых писателей, и смутное чувство беспокойства возникает при мысли, что у предков наших было нечто очень важное, чего у нас уже нет. И это ещё не всё. Можно предполагать, что владение "чужим" языком способствует гибкости мышления, развивает человеческое мышление в глубину, прокладывая в нём какие-то особенные пути, недоступные формально-логическому мышлению. Но об этом ещё будет речь впереди. Когда классики русской литературы,

[1]"Распалась связь времён" — очень подходящий для нашей цели перевод; буквальный перевод: "Время вывихнулось из суставов".

[2]Верлен: "Мудрецы прошлого, право же стоившие нынешних… "

желая лучше выразить свою (или чужую) мысль, сплошь и рядом использовали иностранные слова, то делали они это, право же, не от плохого владения русским языком, и не из снобизма, как это часто случается в наше время: знание языков тогда просто подразумевалось, и Лев Толстой не предполагал, что к "Войне и миру" потребуется словарь. Об иностранных выражениях Герцена можно было бы писать диссертацию, но желающих, по-видимому, нет.

Можно, конечно, думать, что всё это мы потеряли, но получили другие вещи взамен, так что произошло естественное развитие культуры. Невозможно настаивать, что все навыки прошлого сохранялись: среди нас нет рапсодов, хранящих в памяти древние сказания, потому что любой текст удобнее хранить на бумаге, и скоро школьники не будут учиться считать, потому что для этого есть удобные машины. Можно думать, что прогресс требует в какой-то мере забвения; можно думать даже, что культивируемая традиция убивает в человеке непосредственную радость жизни и творческую силу. Так думал когда-то Ницше, но это слишком сложное извращение для нашей эпохи: прошло сто лет, и процесс распада не находит уже поэтического выражения.

Всё это мы потеряли; посмотрим, что мы получили взамен.

"Классическое" образование ещё до революции начало вытесняться "реальным", а после революции было сразу отменено. Тип образования, сложившийся в двадцатые и тридцатые годы, не только игнорировал, но высмеивал и обесценивал "гуманитарные" цели образования. Легче всего было скомпрометировать древние языки, потому что значение их в системе воспитания трудно было понять выходцам из малограмотных общественных слоёв, заполнившим послереволюционную школу. Но и все вообще "гуманитарные науки" стали внушать недоверие и должны были разделить судьбу древних языков: их перестали принимать всерьёз. В отличие от "естественных" и, тем более, "точных" наук, гуманитарная учёность не обладала принудительной силой: всё касающееся человека и общества можно было толковать самым различным образом, в зависимости от унаследованных ценностей, общественного вкуса и привычек. Революционная перестройка образования нанесла "гуманитарным наукам" смертельный удар, поскольку оказалось возможным сразу переменить все выводы философии, истории, и даже все оценки художественной литературы. Вначале многие приняли всерьёз новую гуманитарную учёность — диамат, истмат и партийные резолюции; но в конечном счёте и эта учёность скомпрометировала себя, слишком часто меняясь в зависимости от сиюминут-

ных интересов. По сравнению с этим алгебра и геометрии Киселёва казались оплотом здравого смысла, надёжной опорой в этом слишком быстро меняющемся мире[1].

Авторитет новой системы образования опирался на непреложную логику "точных" наук, прежде всего, на математику и физику, бурно развивавшихся в начале века. Конечно, молодёжь, пришедшая после революции в советские школы и вузы, не могла понять культурных и философских предпосылок современной науки, да и самую науку им, как правило, преподавали поспешно и упрощённо, с утилитарным уклоном. Точно так же, как во времена Петра, Россия впитывала в себя научные знания ради их *технических* применений. Все более глубокие аспекты образования, сложившиеся в послепетровской России, были нетерпеливо отброшены с сторону, количественное расширение образования сопровождалось его качественным обеднением. Образование всё меньше воспитывало, всё больше набивало информацией, пока не превратилось в наши дни в чисто формальную процедуру. Поэтому образование, сложившееся после революции, можно и по содержанию, и по способу выполнения назвать *техническим образованием.*

Человек, получивший такое образование, совсем не похож на прежнего русского интеллигента. Прежде всего, ему недостаёт *личного* развития: взгляды его лишены индивидуальности, потому что не выработаны им самим. Впрочем, у него и нет определённых взглядов на человеческие и общественные дела, потому что источником их были те самые "гуманитарные науки", от которых он презрительно отвернулся. "Позитивное" знание он, конечно, уважает, но оказывается, что все эти точные и естественные науки ничего не говорят о смысле жизни, о хорошем и плохом поведении, о нём самом и об окружающем его *человеческом* мире. Какие-то мнения об этих вещах необходимы, потому что "человеческий" мир гораздо важнее для человека, чем "мир вещей", и даже вещи мы ценим в зависимости от их общественной оценки. Поскольку нас интересует не средний советский обыватель, а "инакомыслящий интеллигент", у него должны быть какие-то мнения о "человеческом мире". Мнения эти представляют осколки некогда бытовавших в России общественных доктрин, образующие в неискушённом уме нашего инакомыслящего самые курьёзные сочетания.

Принудительный характер точных наук составляет, конечно, их

[1]Забавно, какое место занимает школьный учебник геометрии в идейном хозяйстве А. И. Солженицына, во многом очень характерного советского человека.

сильную сторону: они объективны, выводы их не зависят от личных и общественных вкусов и могут быть, при желании, проверены шаг за шагом. Проверка эта, впрочем, слишком сложна, и в определённой дидактической обстановке выводы точных наук охотно принимаются на веру. Человек, привыкший принимать без проверки заведомо достоверное знание, не имеющий опыта борьбы за своё личное мнение, пусть не столь обязательное для других, но выстраданное и необходимое ему знание, в некотором отношении напоминает иждивенца, привыкшего жить на готовом. Поскольку он не прилагал собственные силы к трудным задачам мировоззрения, а принял раз навсегда некие надёжные истины, когда-то найденные другими, то он и не верит в свою способность справиться с каким-нибудь глубоким вопросом. Если ему случалось решать трудные задачи в своей специальности, он верит в свой специальный талант. Но перед общими вопросами мировоззрения он вполне беспомощен, потому что в этих вопросах привык получать готовые решения. Он не верит в собственный *разум*, потому что разум его не развит, не применялся на деле. Но отсюда вытекает его неверие в *человеческий* разум: нельзя ожидать от человека веры в такую способность, которой он не обладает сам и не видит в своём окружении.

Естественно, при этих условиях единственным источником его мнений оказывается *авторитет*. Следует заметить, что потребность в авторитете всегда возникает от слишком лёгкого, слишком податливого отношения к *принуждению*. В жизни интересующего нас человека есть и другие принудительные условия, не всегда вызывающие блаженную расслабленность воли, как принудительная объективность точных наук. Есть и другие авторитеты, которым *приходится* подчиняться. Он привык подчиняться, не умеет жить без авторитета. И если уж ему приходится порвать с авторитетом власти или науки, то он непременно должен найти себе другой.

5.

Недоверие к "гуманитарному" мышлению становится понятным, если сравнить его с "научным" мышлением, которое в наше время считается единственно надёжным. Исходный материал "научного" мышления составляют эмпирические данные, иногда простейшие данные повседневного опыта, как в арифметике и геометрии, в более сложных предметах — результаты тщательно проверенных наблюдений и экспериментов. Эти исходные данные вполне объективны, во всяком случае, не вызывают сомнения у человека без философской подготовки. Из такого материала делаются затем логические

умозаключения, составляющие научные теории; в крайнем случае, способы заключений достигают математической очевидности, но во всех случаях поддаются контролю и подчиняются надёжным правилам, выработанным в каждой области науки и опробованным на огромном числе применений.

В "гуманитарных" науках всё обстоит иначе. Прежде всего, каждый вправе принять или опровергнуть их исходный материал. В основе философии лежит та или иная система ценностей, некоторое первичное представление о человеческой жизни, не поддающееся никакой объективной проверке. Вы можете разделять или отвергать эту систему ценностей, и от этого зависит для вас ценность предлагаемой философии. В основе истории лежит некая концепция исторического процесса, и если дело не ограничивается заучиванием хронологии, то вы можете принять или отвергнуть эту концепцию. И уж конечно, каждый вправе судить, приемлемо для него или нет особое ви́дение мира, заложенное в художественном произведении. Поэтому нет единственной философии, истории, эстетики и т. д., а есть множество философских, исторических и эстетических учений. В отличие от "научных" дисциплин, здесь человеку предоставляется *выбор*, он находится не в условиях принуждения, а в условиях *свободы*. Вопрос в том, захочет ли он воспользоваться этой свободой — насколько ему эта свобода нужна?

"Гуманитарные науки" удовлетворяли некогда очень сильные потребности людей. Людям важно было знать, *что для них* хорошо и прекрасно. Иначе говоря, человек обладал в те времена сильным стремлением к этическому и эстетическому самоопределению, возникшему в итоге длительного исторического развития. Конечно, основные ценности человек получал в детстве от своих воспитателей, ценности вообще обусловлены традицией и вначале воспринимаются некритически из окружающей среды. Но ценности были достаточно сильны, чтобы причинять людям постоянное беспокойство, они побуждали их строить своё мировоззрение, сопоставляя идеальные понятия с окружающим миром. Человек с сильной потребностью в цельном мировоззрении обращался за помощью к философии, истории, эстетике, он выбирал себе учение, наиболее подходящее к полученной им психической установке. Таким образом, в условиях сильной и разнообразной традиции сильный человек пользовался своей свободой. Видимая произвольность исходных посылок, из которых развиваются "гуманитарные науки", отвечала этой глубокой потребности человека и поддерживала естественное ветвление живой культуры. Человек, лишённый глубокой потребности в са-

моопределении, обходящийся без цельного мировоззрения — вовсе не желает пользоваться своей свободой. Ему удобнее жить в условиях принуждения, и он переносит эту привычку к подчинению в область науки. Отсюда ясно, почему он возмущается произвольностью исходных посылок философии: ему вообще не очень *нужна* философия, иначе он искал бы философию *для себя* и не жаловался бы, что ему предлагают выбор.

Интересно отношение нашего интеллигента к "гуманитарным" построениям и рассуждениям. Здесь он совершает грубую ошибку: видимая произвольность предпосылок заставляет его предполагать произвольность умозаключений. И в самом деле, способы заключений, принятые, например, в философии, совсем не похожи на те, к каким он привык относиться с доверием, встречая их в учебниках и научных статьях. "Научное" умозаключение имеет обычно чётко выраженный формальный характер, и в каждой области науки имеются свои правила и свой уровень формализации. Правда, формальные рассуждения представляют лишь конечный результат некоторого интуитивного процесса, предполагающее сначала *человеческое понимание*, и серьёзное чтение научного текста означает "декодирование" формального изложения, восстановление этого исходного понимания. Точно так же музыкант восстанавливает музыку по нотам, но это не значит, что не может быть музыки без нот. В науке есть своя музыка рассуждения, доступная посвящённым. Есть она и философии, но философские книги попросту разучились читать.

В действительности, язык философии гораздо ближе к языку науки, чем самый последовательный музыкальный рассказ. Философия произвольна в своих посылках, но логична в своих заключениях; более того, одна из важнейших задач философии именно в том, чтобы последовательно вывести свои заключения из данной системы ценностей, лучше сказать — чтобы создать *систему* из некоторой психической установки. Потребность в такой системе характерна для человека, соединяющего в одно целое свои мысли и поступки — для *цельного* человека, каким он был когда-то, и каким он должен быть. Принятый в философии способ заключения не поддаётся формализации в том смысле, как это делается в точных науках. Он ближе к тому уровню рассуждения, который мы выше назвали "человеческим пониманием". Хорошая философия всегда логична, но надо учиться её читать, потому что и в философии есть некоторая условная терминология, различная к тому же у разных авторов и в разное время. Умение понимать философию называется "философской культурой".

Понятно, что в отрыве от культурной традиции возникает человек, не умеющий читать философские книги, да и вообще не нуждающийся в философии. Для такого человека философские рассуждения не имеют убедительной силы, поскольку они не представлены в единственно привычном для него "формализованном" виде. Более того, у него имеется подсознательный критерий достоверности: он доверяет лишь тексту, содержащему формулы, и тем самым напоминающему привычные для него научные тексты. По поводу философии такой человек, может быть, скажет и что-нибудь приятное, но отнесёт её к чему-то вроде скучной художественной литературы. Между тем, философия прежде всего *логична*, вся сила её в том, что принявший её посылки должен неизбежно пройти весь путь, и зачастую приходит к неожиданным, страшным для себя следствиям. Несчастье нашего времени в том, что настоящих философов у нас нет.

Мы можем теперь дополнить нашу характеристику советского интеллигента: раньше мы видели, что ему недостаёт веры; теперь мы убедились, что у него нет *высших духовных интересов.* У него нет потребности в мировоззрении, он не стремится познать мир и самого себя. На языке старой русской интеллигенции это человек, не способный к "развитию", "не работающий над собой". Старые русские интеллигенты жадно учились, старались быть в курсе духовной жизни своего времени. Нынешние интеллигенты, как ни грустно это признать, глубоко невежественны, и вовсе не потому, что живут в трудных условиях, а потому, что им неинтересно чему-нибудь учиться. Предки наши не меньше страдали от безобразий окружающей жизни, но они верили, что эту безобразную жизнь можно исправить, если достаточно знать и уметь. У наших современников такой веры нет. Они только *протестуют*, но для этого не надо много знать.

Что же представляет собой наш "инакомыслящий" в смысле образования? Обычно это человек с дипломом о высшем образовании, чаще всего техническом или научном, служащий (или служивший) в каком-нибудь техническом или научном учреждении. Прежде чем прийти к "инакомыслию", он делал обычную карьеру советского служащего, добиваясь в своей области некоторых успехов. Как правило он вовсе не относится к разряду "неудачников", не сумевших добиться официального признания: такая мотивировка "инакомыслия", подсовываемая казённой печатью, рассчитана на чиновничью психологию. Напротив, среди "инакомыслящих" очень много талантливых людей, доказавших свои способности и в ка-

зённом смысле этого слова, то есть получением степеней и званий. Доля таких “дипломированных” талантов среди инакомыслящих во много раз выше, чем у их “немыслящих” собратьев по профессии. В большинстве случаев “инакомыслящие” сохраняют свои профессиональные интересы даже через много лет после изгнания с работы. Это особенно трагично для людей, специальность которых требует технических условий. Типичный инакомыслящий — это солидный специалист, знающий своё ремесло и пытавшийся добросовестно выполнять свою работу.

Вне своей работы он мало что знает. Как правило, он не любит и не знает литературы. К русским писателям он относится с вежливым безразличием: вежливости он научился сам, а безразличие ему привили в школе. На его книжных полках вы найдёте почти обязательный ассортимент популярной литературы: если верить корешкам книг, хозяина интересуют Пастернак, Цветаева, Ахматова и Мандельштам. Если он их в самом деле читает, не любя Пушкина, то есть не чувствуя русского стиха, то перед нами проблема; но, как правило, он их не читает, а следует моде. Далее, вы обнаружите на полках советских прозаиков и поэтов, обличающих очень нетребовательный вкус. У него могут быть и пластинки; он держит старинную музыку, но не брезгует и самой новой, у него мирно сожительствуют Моцарт и Высоцкий. На стене может быть какая-нибудь сюрреалистическая картина.

Иностранные языки он знает плохо, за редчайшими исключениями на них не говорит, и не читает без крайней необходимости и без словаря. Иностранную литературу у него представляют Моэм, Сартр и Камю. Вряд ли он их читал, но как-то в доме завелись. Разговорившись с ним, вы обнаружите, что он не читал ни Диккенса, ни Бальзака, или читал случайно какой-нибудь роман. Старая литература ему скучна.

Он совсем не знает истории. Вы можете у него найти какие-нибудь запрещённые книги о Ленине, революции или Великом терроре. Эти книги он читал, но мало что помнит, сохранил общее впечатление. Вся остальная история осталась в школе, где он её сдал. Философии он не касался, разве что ему попадался модный парижский философ, Булгаков или Бердяев. Этих он похвалит, но ничего вразумительного о них не скажет. Вообще, он не интересуется стариной. Он человек современный.

Но этого он вам прямо не скажет. В нём есть некое бессильное почтение перед культурой. Он не агрессивен в своём неприятии прошлого, оно его просто не интересует. Распалась связь времён.

6.

Человек, которого мы описали, вступает в конфликт с советским государством, потому что сознает его безнравственность и несправедливость. Это сознание приходит к нему, как мы знаем из ряда типичных автобиографий, довольно поздно. До 20–30 лет, а то и дальше, он живёт в советском обществе, не понимая, что делается вокруг: учится, делает первые шаги профессиональной карьеры, ходит на собрания, участвует в выборах — и, по-видимому, ничего не понимает, может быть, ощущает лишь смутное беспокойство при виде некоторых явлений. Затем — он прозревает. Моральное беспокойство, охватывающее его при виде всего, что творится кругом, становится невыносимым и толкает его на странные поступки, непредсказуемые по его прежней жизни. Что же с ним происходит? Почему он до зрелого возраста не понимает самых очевидных вещей, а потом вдруг постигает их, проявляя крайнее негодование и удивление?

Чтобы понять всё это, надо иметь в виду, что интересующий нас человек живёт во вполне определённое время. Время его созревания — переломные шестидесятые годы, а теперь ему 40–50 лет. Описываемый здесь человек — *переходный* тип, невозможный ни раньше, ни позже. Он не мог появиться раньше, потому что страх сковывал тогда всякую мысль, и потому что при всех ужасах террора была некоторая возможность сохранять иллюзии и верить в осмысленность и допустимость общественного порядка. Он не мог появиться и позже, потому что верить в существующий порядок стало уже невозможно, и вера эта исчезла, а вместе с тем, по внутренним законам развития чиновничьего аппарата, снизился барьер страха. Человек, которого мы описываем, вырос в *советской* псевдоинтеллигентской семье. Родители его выросли уже при советской власти и не знали никакой другой идеологии, кроме сталинизма. Как правило, родители вышли из мещанской или крестьянской среды, и даже в семьях интеллигентского происхождения старшее поколение было вырвано террором, когда наш человек ещё не родился на свет. Следовательно, связь времён распалась задолго до него, и вокруг него не нашлось уже никого, кто мог бы всё это связать. Родители его — честные советские труженики, то есть не совсем советские, а пережиточно-советские, всё ещё держащиеся десяти заповедей в сфере личной жизни и работы, но сохраняющие лояльность режиму и иллюзии тридцатых годов по поводу его содержания. Они передают своему сыну или дочери десять заповедей —

твёрдую традиционную основу поведения — и советские иллюзии, создавая этим условия для будущего морального потрясения. Ещё раз заметим, что всё это уже невозможно *теперь*, когда коррупция разъела жизнь до мельчайших ячеек, проникла в семью, вытеснила все заповеди, так что ребёнок проходит школу приспособления к подлостей, не оставляющую места ни для каких иллюзий — и с самого начала принимает (или, в редких случаях, отвергает) навязываемые ему правила игры. Но ребёнок, судьбу которого мы хотим проследить, входит в жизнь "честным советским человеком", невозможной химерой, которая не может сохраниться. Зрелость его приходится на шестидесятые годы, а это примечательный период нашей истории. В шестидесятые годы окончательно устраняются все пережитки большевизма — за исключением некоторых названий. До этого люди верили в систему и боялись наказания, в частности, боялись красть. В шестидесятые годы кончилось царство страха, началось царство необузданного стяжания. С этого времени перестали действовать письма в газеты и жалобы в ЦК: выдохлась инерция большевистской системы. Всё это сваливается на вступающего в жизнь "честного советского человека", а заодно с этим доходят до него первые звуки независимой информации. Он узнаёт, что *можно* сомневаться и начинает думать и сомневаться. Откровения, к которым он приходит, поразительно наивны. Оказывается, жизнь вокруг него расходится с официальной доктриной, всё происходит не так, как должно быть по советской идеологии, а нередко и до сих пор — после XX съезда — нарушается советский закон. Охватившее его моральное беспокойство ищет выхода. Надо что-то делать, добиваться справедливости — но от кого? К кому обращаться? Очевидно, к начальству. Ведь это советское начальство, оно не может терпеть беззакония, воровства и развала советской системы. Там, наверху, не видят и не понимают, что происходит, надо им всё объяснить.

Может быть вам кажется, что я рисую карикатуру? Перечитайте письма А. Д. Сахарова, с которых он начал свою общественную жизнь. У этого выдающегося учёного только что описанные иллюзии удержались до начала семидесятых годов, а другие иллюзии, тоже не выдерживающие проверки простым наблюдением, сохраняются и по сей день.

Повторяю, что вся эта невероятная наивность — переходное явление. Теперь у нас другие типы и другие проблемы. Но продолжим биографию нашего недовольного интеллигента. Его протесты и заявления, естественно, нарушают спокойствие чиновников. Они при-

выкли уже игнорировать “жалобы трудящихся”, каждый из которых жалуется на свои собственные обиды. Но тут им пришлось встретиться с совсем новым явлением — с жалобами *не личного* характера, выражающими не личные, а общественные интересы. При всей наивности этого выражения, в нём есть что-то небывалое, вызывающее поначалу растерянность. Ведь этого не было с двадцатых годов! С двадцатых годов никто не решался вступиться за общественные интересы, оспаривая какие-то недостатки системы. Людей, видевших такие споры, давно уже нет в живых. Чиновники теряются и не могут действовать без указаний.

Паническая реакция властей на первые “письма” и демонстрации вызывает у инакомыслящих ещё более смешные иллюзии. Они начинают надеяться, что систему и в самом деле можно будет исправить, если и дальше смело протестовать. Они начинают сознавать себя чем-то вроде общественной силы. Самые глупые из них думают, что могут уже ставить чиновникам свои условия, и ждут в ближайшем будущем великих событий. Дело в том, что инакомыслящие открывают в это время два слабых места системы.

Оказалось, что наша бюрократия не подготовлена к юридическим невязкам и к утечке информации. Обе эти слабости тесно связаны между собой. В былые времена никого не беспокоили юридические нелепости. Но был XX съезд, наша “оттепель”, или, если угодно назвать это польским термином, наше первое “обновление”. Восстановлена “социалистическая законность”, то есть порядок, при котором наши аппаратные воры могут не опасаться личной расправы. Долго и трудно постигали они, что не может быть других гарантий безопасности, кроме общезначимого, универсального закона. Каждая конфигурация сил, каждое распределение влияний неизбежно кончалось тем, что летели головы и “чужих”, и “своих”, и чиновники осознали, что для них нет спасения, кроме *формального* применения законов. В Англии эту истину поняли в тринадцатом веке, но мы живём в слаборазвитой стране. Итак, наши господа установили законный порядок, как они его понимали, — установили его *для себя.* Но инерция закона такова, что он выходит за пределы частных интересов и начинает в какой-то мере защищать другие интересы, не имевшиеся в виду. Суды и следователи, от которых стали требовать формального применения законов — а это были уже новые люди, не судьи и следователи тридцатых годов — терялись и допускали ошибки. “Политические” дела были для них чем-то совсем непривычным, в этих делах у них не было опыта фальсификации закона. Когда некоторые инакомыслящие додума-

лись предъявить начальству формальные возражения, опираясь на статьи закона, это вызвало вначале “юридический стресс”. Теперь уже трудно представить А. С. Есенина-Вольпина, обсуждающего со следователем логические парадоксы, или профессора Чалидзе, демонстрирующего в КГБ свои безупречные манеры. Вначале это действовало, в соединении с другим стрессом, *информационным.* Вся их карьера проходила в обстановке негласного подавления, и они привыкли подавлять, не вызывая шума. Да и кто мог бы шуметь? Внутри страны были перекрыты все пути человеческого общения. Была ещё, конечно, заграница, но связи с ней были до того страшны, что всё иностранное воспринималось как нереальный, почти потусторонний мир. И вот оказалось, что не так уж трудно передать информацию “на тот свет”. Иностранные корреспонденты смотрели на Москву как на место ссылки, потому что в Москве никогда ничего не происходит. Естественно, советские граждане, желающие сообщить нечто по собственной инициативе, произвели впечатление сенсации. И вот о беззакониях в Советском Союзе узнал весь мир! Удивительно, что иностранные корреспонденты всегда сидели в Москве, сидели и в те времена, когда миллионы людей гибли без малейших юридических оснований. И они об этом ничего не сообщали. Конечно, до них доходили слухи, но ни одна редакция не напечатает статью, основанную на слухах. Да они и сами не знали, чему верить: всё это было слишком невероятно. Другое дело, когда какой-нибудь живой человек подходит к иностранному корреспонденту, называет своё имя и рассказывает ему, что произошло с его друзьями или с ним самим. Конечно, для этого нужна была храбрость, и это делали храбрые люди. Раньше их не было: поступок означал верную смерть. Такие люди явились, когда снизился уровень страха.

Соединение юридических придирок с шумом в иностранной печати вызвало колебания в аппарате. Особенно неприятны были эти явления для министерства иностранных дел и учреждений, занятых заграничной пропагандой. Они начали жаловаться на грубую работу ГБ, возникли ведомственные трения и замешательство чиновников. Некоторых людей выпустили, другим смягчили режим. Таким образом возник механизм “шумовой защиты”: инакомыслящие, проживавшие в Москве и имевшие доступ к иностранным корреспондентам, сразу же поднимали шум при попытке тронуть их самих или близких к ним людей, и нередко власти отступали, оставляя их на свободе. Этот временный эффект произвёл на некоторых деятелей сильное впечатление. Якир гордо расхаживал в со-

провождении эскорта шпиков и, кажется, уверовал в свою неприкосновенность. Конечно, не все инакомыслящие были так глупы, но и лучшие из них регулярно поднимали шум, чтобы защитить своих друзей. Они вели странную жизнь и стали играть двойственную роль, потому что аппарат ГБ оправился от двойного стресса и начал использовать их в своих интересах. Мы расскажем дальше эту грустную историю. Если она и не поможет людям шестидесятых годов, то может предостеречь других.

7.

Как известно, инакомыслящие называют себя "правозащитным движением". Но они защищают права человека, защищая *советский закон*; каждому, кто знаком с этой средой, бросается в глаза их "юридическая установка". Главный предмет, о котором говорят "правозащитники", — это кого, на сколько и каким образом посадили; может сложиться впечатление, что другие вещи их не интересуют. Понятно, что судьба арестованных друзей, да и вообще людей, страдающих от произвола, их глубоко беспокоит. Гораздо хуже то, что их не беспокоит ничто другое; в частности, они очень мало думают о целях, ради которых дают себя сажать. Как я уже говорил, самое понятие цели, целесообразности в жизни человека представляется им чуждым и подозрительным. "Посадочная" проблематика позволяет им всего этого избежать. Но мы ещё вернёмся к вопросу о целях, имеющему далеко идущие следствия. Теперь же примем в качестве наблюдаемого факта, что они защищают людей от посадки, и посмотрим, как они это делают. За прошедшие полтора десятилетия они не придумали ничего нового, кроме двух описанных выше приёмов: шума за границей и юридических придирок. Не будем их в этом винить, поскольку более действенные приёмы расходятся со всем их образом мыслей. Нас интересует теперь другая сторона дела: их отношение к советскому закону. При виде их негодования по поводу советских порядков напрашивается мысль, что советский закон, по которому терзают и убивают их друзей, может внушать им лишь глубокое отвращение и, следовательно, их жалобы на возможные нарушения этого закона — не что иное, как тактический приём. Но оказывается, что они думают иначе: не признают вообще никаких тактических приёмов, а рассматривают советский закон как нечто заслуживающее уважения. Это кажется настолько нелепым, что начинаешь переспрашивать, и тебе снова настойчиво повторяют: "Да, мы уважаем советский закон, было бы лицемерием,

если бы мы выступали против нарушений этого закона, а сами его не уважали. Мы соблюдаем все советские законы, а они нарушают их, и в этом наше моральное превосходство".

Из дальнейших разговоров выясняется, что правозащитники не строят себе иллюзий по поводу статей и параграфов, на которые привыкли ссылаться. Они признаю́т, что советские законы не содержат точных определений, намеренно оставляя место для произвольного толкования, что они противоречат друг другу, что они и вовсе не предназначены их составителями для серьёзного применения. Известные статьи, по которым сажают всех недовольных, вызывают их неодобрение. Они считают, что эти статьи незаконны, потому что противоречат конституции. Тем самым наши "правозащитники" берут на себя функции американского верховного суда, что выглядит довольно странно после заверений о их строго юридическом подходе. Да и что такое конституция, и можно ли уважать нашу конституцию? "Да, — говорят они, — конституция — это основной закон, и мы её уважаем". Всё это противоречит здравому смыслу: наши законы сто́ят ровно столько, сколько сочинившие их законодатели, к тому же вовсе не имевшие намерения их выполнять. Дальше выясняется, однако, что "правозащитники" видят в советском законе некие внутренние достоинства, не зависящие от наших законодательных учреждений и не уничтожаемые несовершенством отдельных статей. "Видите ли, — объясняют они, — советский закон — это в основном хороший закон. Он признаёт основные ценности нашей цивилизации и содержит много положений, входящих во все кодексы мира. Вот мы и берём этот закон, как он есть, не думая о том, кто и зачем его составил, отмечаем в нём некоторые статьи, противоречащие конституции, и принимаем его за основу нашего гражданского поведения. Вы ведь не станете отрицать, что обществу нужен формальный закон, объясняющий, что можно делать и что нельзя. Иначе нам угрожает анархия. Если каждый начнёт ссылаться на своё моральное чувство, из этого получится *самоволие*, а отсюда, как предвидел Достоевский, произошли все ужасы революции. Так вот, раз у нас нет лучшего закона, мы принимаем советский закон, очищенный от некоторых очевидных недостатков, и стараемся его соблюдать. Лучше уж такой закон, чем никакого закона".

Читатели могут заподозрить, что я извратил мнение моих собеседников, чтобы представить инакомыслящих в смешном виде, опорочить их способность суждения. Нет, я передал эти мнения почти буквально, и слышал их от очень хороших людей, выражаю-

щих типичное мышление своей среды. Мышление это беспомощно, но не случайно; оно произошло от очень понятных страхов и опасений, связанных с нашим прошлым, и, более того, содержит в фантастической форме некоторую политическую идею.

Страхи и опасения вполне понятны: в них отразился исторический опыт России. Несчастье России было вовсе не в том, что в ней произошла революция, даже три революции. О революциях и паническом страхе перед ними ещё будет речь дальше. Может быть, величайшее несчастье России было в том, что Октябрьская революция, и ещё больше контрреволюция, означавшая её поражение, сопровождались невиданным в истории общественным развалом.

Каждое серьёзное потрясение в жизни общества приводит не только к изменению и перестройке общественных связей, но ещё и к простому *разрушению* этих связей. Каждая культура есть продукт длительного исторического развития. Система отношений между людьми, сложившаяся в культуре, гораздо сложнее первичных стимулов человеческого поведения, животных инстинктов, унаследованных нами от обезьян. Более того, она гораздо сложнее первичных форм общественной жизни: семейных привязанностей, личных симпатий, групповых интересов. Система эта чрезвычайно сложна и утонченна и, как все сложные и утонченные механизмы, весьма уязвима. Всевозможные общественные движения ставят себе целью улучшение унаследованной культуры, устранение её устаревших, изживших себя проявлений, более последовательное осуществление идеальных ценностей этой культуры. Слишком часто при этом упускают из виду, что социальные потрясения, вызванные таким движением, могут привести к *общему* разрушению культуры, гораздо худшему, чем пороки её, породившие самое движение. Народная мудрость создала множество пословиц, общий смысл которых сводится к тому, что лучше уж терпеть разные неприятности в своём доме, чем поджечь его, чтобы радикальным образом устранить все его недостатки. К сожалению, общественными движениями управляют страсти. Ненависть — неизбежная и плодотворная, но самая опасная из страстей: не сдерживаемая мудростью, она перебрасывается с вызвавшего её предмета на все связанные с ним вещи, или даже не связанные, но попавшие в поле зрения вращающего глазами гнева. И так возникает пожар, уничтожающий всё подряд.

Самые страшные потрясения происходят, когда внезапно падает некий *сдерживающий принцип* и оказывается *дозволенным* всё, что может придумать человеческая страсть и человеческое воображение. Мне приходят на ум великие катастрофы истории, обрушив-

шие на целые части света лавину разрушений: судьба Македонской империи после смерти Александра или судьба индейской Америки после высадки конквистадоров.

Нельзя сказать, чтобы эти мысли были совсем неизвестны в России семнадцатого года. Над осторожными людьми, предостерегавшими от общего разрушения культуры, много смеялись: в их опасениях видели мещанскую привычку к установленному порядку, трусость и личные интересы. Не очень умный, но изощрённый поэт Сологуб в самый момент октябрьского восстания предложил вынести гражданские раздоры за городскую черту Петербурга, чтобы затем в город вошли победители и, тем самым, сохранились бы памятники культуры. Это выступление вызвало общий смех, в нём усмотрели выходку интеллигентского снобизма, неспособного понять величие исторических событий. Конечно, это было сказано не мудрым человеком и в нарочито-вызывающей форме, но в сущности это была здравая идея. Уничтожение памятников прошлого во время военных действий справедливо считается варварством, каковы бы ни были причины войны. Можно было бы выработать что-нибудь вроде конвенции об охране культуры, охватывающей также и революции, — конечно, договориться об этом труднее, если обе враждующих армии говорят на одном языке.

Гораздо больше мудрости проявил свидетель революции и гражданской войны В. Г. Короленко. Дневники его и письма к наркому просвещения Луначарскому содержат простые и важные идеи. Пытаясь объяснить эти идеи марксистам, Короленко особенно подчёркивает *экономическую* разруху, вызванную действиями новых властей. Он видит главную опасность не в военных разрушениях, а в бессмысленном управлении хозяйством, преследующим чисто идеологические цели и не видящим грозящего общенародного бедствия. Чтобы как можно скорее изгнать из хозяйства частного собственника, — говорит Короленко, — разрушаются сложившиеся, работающие хозяйственные устройства. Не месте их создаются бюрократические учреждения, импровизирующие новые устройства и управляющие ими на бумаге. Неизбежными результатами такого экономического авантюризма будут *голод и нищета.* Короленко доказывает это на примерах. Но он видит и более глубокие разрушения, затрагивающие самые основы культуры: распадаются навыки человеческого поведения.

Короленко напоминает, что программа коммунистов исходит из высоких идеалов гуманизма, что целью своей партии коммунисты объявляют справедливый и человечный порядок. Но *средства*, при-

меняемые для достижения этих целей предполагают уничтожение классового врага, а классовые враги — тоже люди. Людей преследуют и истребляют не потому, что они совершили преступления, а за самую их принадлежность к ненавистному классу. И самое худшее — это произвол, беззаконие, отдающее человеческую жизнь в руки случайных людей. делающих расстрелы массовым мероприятием, выполнением какой-нибудь общей инструкции или предметом административного усердия местного начальства. Произвольная власть над человеческой жизнью, при любом идеологическом обосновании, означает моральный распад, деградацию самих носителей этой власти, а затем всех, кто прямо или косвенно этой власти подчинён. И тогда, — говорит Короленко, — не из чего уже строить справедливое и человеческое общество: недостойные средства уничтожают самую цель.

Большевики не склонны были прислушиваться к этим мыслям, подозрительно напоминавшим рассуждения их заклятых врагов, кадетов. Так называли членов "конституционно-демократической" партии, по начальным буквам её наименования; впрочем, официально эта партия называлась "партией народной свободы". Она считалась "буржуазной". Но состояла преимущественно из русской интеллигенции умеренно-конституционного направления. Кадеты считали, что Россия должна пройти долгий путь экономического, политического и культурного развития. И хотели, чтобы она прошла этот путь, по возможности без резких переворотов и потрясений. Они были "государственники" и "конституционалисты": это значит, что они опасались разрушения государственного аппарата, ведущего к анархии и распаду нравственного поведения, и требовали проведения реформ в условиях строгой законности, обеспечивающей личные и имущественные права граждан. Таким образом, в отличие от революционных партий, кадеты придавали важное значение *средствам* общественных преобразований, они ясно видели опасность развала экономики и культуры, которой грозили России революционные эксперименты. Но кадеты не очень ясно и далеко не одинаково представляли себе цели будущих преобразований. Партия их была неоднородна, в неё входили — или ей сочувствовали — весьма различные слои общества, от богатых заводчиков до бескорыстных подвижников, земских учителей и врачей. К ней примыкали почти все русские профессора: вся способная, уравновешенная, солидно-профессиональная мысль России была на стороне кадетов. В общем, кадеты хотели для России конституционной монархии на английский лад, где фактическая власть принадлежала бы выбор-

ному парламенту, где строго соблюдались бы законы (то, что теперь называют “правами человека”) и были бы проведены необходимые реформы, облегчающие положение крестьян и рабочих; и прежде всего они хотели гласности, то есть гражданской свободы, свободы слова, печати, политической деятельности всех направлений. В этих *ближайших* целях кадеты были между собой согласны. Что же касается дальнейших, то примыкавшие к партии капиталисты ничего дальнейшего и не желали, довольствуясь нужными им условиями для хозяйственного развития России; между тем, кадетская интеллигенция думала и о более глубоких преобразованиях в направлении общественной справедливости, но непременно в условиях порядка и свободы. Эти неторопливые реформаторы, во главе которых стоял профессор П. Н. Милюков, больше всего напоминали *нынешних* западных социал-демократов.

Естественно, логика партийной борьбы и марксистский “классовый” подход сделали большевиков непримиримыми врагами кадетов. Они толковали их прямолинейно и однозначно как партию русской буржуазии, а все опасения и предостережения, напоминавшие кадетскую идеологию — как выражение охранительных интересов классового врага. Отсюда ясно, какие причины сделали большевиков глухими к доводам здравого смысла, касавшимся самых очевидных хозяйственных дел. Голод в Поволжье был вызван изъятием семенного зерна.

Если большевики так мало думали о сохранении экономических механизмов, составлявших главный предмет их мировоззрения, то ещё меньше волновали их “свободы” и “гражданские права”, о которых толковали кадеты. Они и в этом видели проявление классового интереса: естественно, капиталисты заботились о своей личной безопасности, о своих излюбленных парламентских учреждениях, судах присяжных и прочих видимостях для обмана рабочего класса. Человеческая личность никогда не стояла в центре марксистского мировоззрения: марксисты мыслили суммарно, массами классово однородных людей, а процветание отдельного человека отодвигалось в бесконечность завершённого коммунизма. Известно, что сам Маркс этого испугался и выразился однажды, что уж он-то, во всяком случае, не марксист.

Таким образом, развал человеческого общества в России был вызван фантастическим применением большевистской партийной доктрины — не злой волей отдельных людей, не зловещим заговором властолюбцев, а трагическим заблуждением бескорыстного, благонамеренного, но узко-сектантского мышления. Носители этого мыш-

ления были истреблены при повторении тех же заклинаний, под которые сами они истребляли других.

Революция и контрреволюция в России — в особенности заключительная контрреволюция 1937 года — сопровождались необузданной оргией истребления людей, оставившей следы едва ли не в каждой семье. Особенно это коснулось интеллигентских семей, поскольку напряжение “репрессий” было пропорционально уровню культуры. Ясно поэтому, что именно в интеллигентской среде “репрессии” оставили самые глубокие раны. Но страшнее, чем потеря близких людей, была потеря самих себя. Люди, беспомощные перед стихией обезумевшей общественной жизни, перестали верить в себя, в своё суждение, в способность воздействовать на что-нибудь вокруг. Они больше не отождествляли себя с государством, с “партией”, как большевики, или с какой-нибудь дореволюционной системой взглядов, как не-большевики. У них попросту не было уже *взглядов*, остались одни эмоции. И общественная действительность стояла перед ними в виде непостижимого государства-Левиафана, пожиравшего по своему капризу то одного, то другого из своих рабов. Государство не было для них машиной для регулирования жизни, существующей с согласия заинтересованных граждан, оно было для них некоей высшей силой, независимой от их воли и заданной раз навсегда, как законы природы. Против такой зависимости, они уже, в сущности не возражали, но для самоуважения им надо было *уважать* неизбежное повиновение этой власти; а для этого надо было, чтобы власть была, как природа, — закономерной. Рождённый в рабстве не ставит под сомнение институт рабства и считает естественным, что *у него есть хозяин*, но он хотел бы, чтобы хозяин был справедлив, поступал с ним *по закону*, как хороший хозяин должен поступать с послушным рабом. Понятно, что непослушный раб должен быть наказан, но должны быть точно определены границы рабского послушания. Для этого хозяин должен придерживаться некоторых правил, которые он сам должен сочинить и вывесить для всеобщего обозрения.

Всё это смахивает на пародию, но признать за некоторой не зависящей от тебя властью *право* законодательства — это значит признать, что у тебя есть *хозяин*. Одно дело — необходимость подчинения навязанному закону: при первой возможности от него отделываются и живут, как считают нужным. Другое дело — подчинение навязанному закону *с уважением* к нему, это и есть подлинное рабство. Я не знаю более страшного клейма рабства, чем это “уважение” к закону у наших инакомыслящих. Было бы слишком просто

считать это недомыслием, передвинув тем самым вопрос в пределы сознания. Нет, здесь гораздо более глубокое, *подсознательное* уважение к хозяину, олицетворяемому его *законом*. Это рабство.

Попробуем, однако, исследовать дальнейший аргумент: "мы принимаем этот закон, потому что у нас нет другого". Как же так? Разве нет внутри нас нравственного закона, несравненно более заслуживающего уважения, чем жалкий советский закон? Разве нет у нас способности к суждению, чтобы решить в каждом случае, что говорит нам этот нравственный закон? Уголовные кодексы существуют для жуликов, от которых не отделаешься без казённого правосудия. Но зачем нужен кодекс человеку, уверенному в своей нравственной силе и в своей способности суждения? Там, где есть закон, честный человек его не знает. И если люди, претендующие быть выразителями общественного мнения, протестующие против безнравственного управления рассматривают уголовный кодекс как *мерило* своего поведения — довольствуясь самым лицемерным бессмысленным кодексом в истории, — то я вынужден думать, что эти люди *не уверены* в своей нравственной силе и в своей способности суждения. Очевидно, эти люди готовы опереться на любой авторитет, и советское государство является для них бóльшим авторитетом, чем собственная совесть и собственный разум. Искреннее возмущение нарушением такой-то статьи столь же комично, как возмущение раба, высеченного не так, как положено. Позор не в том, *как* тебя секут, *не этим* надо возмущаться. Позор в том, что у тебя есть хозяин, который может снять с тебя штаны и высечь тебя — и мы дожили до того, что это приходится объяснять!

Иное дело — юридические претензии, применяемые в виде тактического приёма. До революции была почтенная категория адвокатов, защищавшая политических обвиняемых перед царским судом, нередко облегчая судьбу своих клиентов. Но царские законы они *не уважали*. Они сознательно совали палки в колеса этого закона.

Как мы увидим дальше, "уважение" к советскому закону — вовсе не изолированное явление, не случайность, а естественная часть некоторого мировоззрения, рассматривающего советское государство как *своё* государство, считающего хорошим то, что для него хорошо, и плохим то, что для него плохо. Общество и государство смешиваются в этом мировоззрении столь же наивно, как если бы кто-нибудь смешал лошадь и седло. Лошадь, по-видимому , не размышляет, является ли седло частью её тела, и это лошадиное безмыслие очень удобно для седока.

Мы видели, каким образом страх перед беззаконием толкнул на-

шего инакомыслящего в объятия *советского* закона, наполнил их жизнь юридическими рассуждениями и эмоциями по поводу тех или других статей. Пусть не говорят мне, что эти люди всего лишь озабочены судьбой своих арестованных друзей. Нет, им попросту нечем заполнить свою жизнь, советский закон заменяет им общественное мышление, даёт им тему для разговоров. В самом деле, для юридической помощи заключённым, насколько это возможно в наших условиях, достаточно иметь адвокатов, любители-юристы для этого не нужны. Они обсуждают юридические тонкости, потому что им не о чём говорить.

Те же страхи и опасения достаточно объясняют, почему наши диссиденты исключительно заняты вопросом о посадке. В отношении некоторых очень храбрых людей я полагаю, что они просто не знают другого занятия и, так сказать, вошли во вкус, специализировались на посадках. Но подавляющая часть диссидентов фиксирует внимание на посадке потому, что их главным подсознательным двигателем был и остаётся *страх*. И если какие-то личные и общественные мотивы вынуждают их выдвинуться, попасть в поле зрения начальства, то затем уже страх не даёт им заняться чем-нибудь кроме посадочного вопроса. Страшно быть диссидентом, я видел очень много *спокойных* диссидентов. Это были, к несчастью, люди, не нашедшие для себя никакого общественного дела. Поневоле они занимались одной посадочной темой. Никто из них не верил в успех своей деятельности, потому что у них не было *дела*, а были *занятия*.

Теперь я хотел бы сказать, в чём состоит связанная с этим мировоззрением *политическая идея*. Наши инакомыслящие очень удивились бы, что им приписываются политические идеи. По их уверениям, они политикой не занимаются, деятельность их носит чисто нравственный характер. Но так уж устроен человек, что политика постоянно вторгается во все закоулки его мышления: ведь он общественное животное, "зоон политикон", так что политика входит, некоторым образом, в самое первое определение человека. Так вот, привязанность диссидентов к советскому закону имеет не только указанные выше причины, о которых они говорят сами. Есть и другие причины, о которых они не говорят, и эти причины важны. Вовсе незачем "уважать" советский закон или советскую систему, чтобы представить себе нечто ещё хуже, ещё страшнее: *полный развал* государственного механизма. Такой развал, при котором вовсе не будут ходить автобусы и поезда, совсем ничего нельзя будет купить в магазинах и ничто не будет удерживать преступные элементы, ко-

гда обезумевшие массы людей, запертые в больших городах, будут метаться в поисках пропитания, когда не будет *никакого* молока для детей, *никаких* лекарств для больных, когда замёрзнут радиаторы отопления и в кранах не будет воды. Всё это было в гражданскую войну, но теперь это будет куда страшнее: ведь теперь *всё* хозяйство государственное, *всё* централизовано и, стало быть, развалится *всё сразу*. Слабое понятие об этом даёт то, что сейчас происходит в Польше, — *слабое* понятие, потому что в Польше сохранилось частное землевладение и некоторые навыки самоуправления и общественной организации. Мне хотелось бы сказать: этого не будет, но если дела в нашей стране и дальше пойдут, как шли до сих пор, то вряд ли всего этого удастся избежать.

Всё это — вполне реальная перспектива, и перед лицом такой катастрофы, напоминающей описания атомной войны, приходится пожелать, чтобы советская система не рухнула *сразу*, не развалилась нацело, а продержалась до тех пор, когда созреют новые люди и новые общественные организации, или, лучше всего, чтобы она как-то эволюционировала, менялась, чтобы в ней осталась какая-то жизнеспособность. К несчастью, всё указывает на неспособность этой системы к развитию, и крах её представляется делом ближайших нескольких лет. Это чувствуют все, но мало кто решается об этом сказать, потому что догма о вечности советской системы крепко сидит в голове советского человека.

Исторический опыт вынуждает нас внимательно отнестись к мысли Короленко, к осторожности кадетов. Мы должны во что бы то ни стало избежать внезапного краха государственной системы, а для этого не надо желать её *простого* разрушения. Не сомневаюсь, что эти доводы вскоре будут выдвинуты и людьми, стоящими во главе системы. В этом смысле все заинтересованы в этом балагане, но — *только* в этом. Для нас, не желающих жить в рабстве, вопрос состоит не в том, чтобы помочь этой системе, а в том, как её осторожно демонтировать, чтобы на нас не обрушился весь этот накопившийся хлам.

Подсознательный страх перед полным развалом системы составляет, как я убеждён, важнейшую компоненту психики нашего диссидента. Ему трудно отделаться от представления, что "лучше уж *это*, чем ничего". "Юридические" формулы, приведённые выше, — не что иное, как рационализация этого страха окончательной общественной катастрофы. Мы видим теперь возможное объяснение удивительной психологии, описанной в начале этой главы.

Трудно удержаться от сравнения, уводящего нас в отдалённую

эпоху, когда тоже расшатались общественные устои, и когда лучшие умы стремились их укрепить. Сохранением существующего порядка был особенно озабочен Платон "Если мы лишимся этих преданий, — говорил великий философ, — то где и у кого возьмём мы другие?".

8.

Самое название "правозащитное движение" предполагает, что наши инакомыслящие защищают *человеческие права.* Как известно, борьба за "права человека", всегда была важной частью политической деятельности: правительства всегда защищали те или иные социальные интересы, классовые, национальные или религиозные привилегии, в то время как лишённая этих привилегий часть населения добивалась для себя равноправия. Трудно даже указать форму политической деятельности в нашем, русском её понимании, которая не вмещалась бы в эту ёмкую формулу: "права человека". Всякая революция нового времени непременно завершалась какой-нибудь "декларацией о правах человека и гражданина", "биллем о правах", и т. д. Вне вопроса о правах человека от политики остаются, пожалуй, только препирательства о налогах и тарифах между разными группами влияния, административные вопросы, да ещё внешняя политика, — всё это вещи, не столь важные для русского интеллигента, главной заботой которого всегда *была социальная справедливость*, то есть опять же "права человека".

И вот, диссиденты говорят, что они *не занимаются политикой*, что их интересуют только нарушаемые в нашей стране права человека. Здесь опять может показаться, что перед нами тактический приём. Написано же в Гданьском соглашении, что новый профсоюз не будет заниматься политикой, что он будет заниматься лишь защитой экономических, социальных и культурных интересов трудящихся! Очень трудно придумать политический вопрос, который бы в эту формулу не вместился, и в Гданьске всем было ясно, что́, собственно имелось в виду: по разным соображениям обеим сторонам надо было, чтобы "профсоюз" не называл себя политической партией. Но, как мы уже говорили, наши инакомыслящие не признаю́т никаких тактических приёмов. Они и в самом деле убеждены, что не занимаются политикой. Все эти разговоры напоминают мне одного мольеровского героя, уверявшего, что отец его не был купцом. Отец мой, — говорил этот человек, — вовсе не занимался торговлей. Но он был очень любезный, услужливый человек; видя, что друзья его нуждаются в иностранных товарах, он без устали

путешествовал, покупал всевозможные вещи, с трудом и издержками доставлял их к себе домой, а затем уступал их своим друзьям за приличное вознаграждение.

Можно было бы истолковать деятельность наших “правозащитников” таким образом, что сами они не вмешиваются в политику, а предоставляют это делать другим, других за это сажают, и в этом случае диссиденты позволяют себе действовать: они приходят на помощь заключённым. Но тогда остаётся единственное право человека, которое их интересует: право прилично сидеть. Всё это вздор. Люди, берущие под защиту рабочих, помещаемых в психиатрические тюрьмы, всевозможных борцов за национальные права, всех пострадавших от воровства, произвола и коррупции, осуждающие всю судебную, тюремную и полицейскую систему этой страны, безусловно занимают *политическую* позицию, занимаются *политической* деятельностью, направленной против существующего режима. Это — факт, от которого невозможно уйти: требования наших “правозащитников” касаются самой сущности этого режима и могут прекратиться лишь вместе с ним.

Мы видим, что они пытаются делать; разберёмся теперь в том, что они говорят. Если расспросить наших инакомыслящих, почему они так боятся политики, то вы услышите исторические рассуждения. “Политика, — говорят они, — всегда была нехорошим занятием; недаром французская пословица называет её грязным делом. Политические партии могут, конечно возникнуть из чистых, нравственных побуждений; но как только в них возникает *организация*, всегда одно и то же неизбежное зло. Руководство партией непременно оказывается в руках политиканов, стремящихся, прежде всего, к личному успеху и власти. В руководстве тут же возникают интриги, фракционная борьба, и очень скоро первоначальные цели партии забываются, а обманутые партийные массы становятся орудием в руках бессовестных властолюбцев. Если же партия приходит к власти, то она преследует всех несогласных, и дело кончается кровавым террором. Так было всегда, и так всегда будет. Поэтому мы не хотим заниматься политикой. У нас чистая совесть и чистые руки”.

Если вы продолжите настаивать на неизбежности какой-то общественной организации, то на сцену выступает их любимый герой — Нечаев. По их мнению, это типичный политический деятель, а его организация — типичный пример политической организации. Нечаев должен предостеречь нас от всяких политических предприятий: в нём корень всех заблуждений, начало всякого большевизма, в общем, объяснение всех несчастий, приключившихся с Россией.

В действительности, с Нечаевым связано особенное психологическое извращение в русском революционном движении. Нечаев был полуграмотный юноша, очень поверхностно усвоивший революционные взгляды своих интеллигентных знакомых. Образ действий этих знакомых показался ему невыносимо медлительным и скучным. Нечаев был наделён нездоровой энергией параноика, побуждающей человека к безумным предприятиям и внушающей ему веру в успех этих предприятий. Энергия и вера в успех всегда заразительны, особенно в неразвитой, вялой среде. Нечаев приступил к созданию организации, чтобы как можно скорее устроить революционный переворот, и вскоре оказался во главе нескольких кружков молодых людей, ожидавших от него руководства. Чтобы привлечь людей, Нечаев беззастенчиво надувал их: он выдавал себя за представителя некой всемирной революционной организации под названием "Интернационал", уверял, что Россия покрылась уже сетью ячеек этой организации, что не сегодня-завтра начнутся решающие события, и каждый должен торопиться принять в них участие. Организация должна была иметь иерархическое устройство, формальные и торжественные церемонии вступления, строгую конспирацию. Политической программой был всероссийский бунт, истребление господствующих классов и установление неопределённого вида народовластия. Нечаев не сомневался, что Россия — нечто вроде пороховой бочки со вставленным фитилём, и задачу свою видел в том, чтобы этот фитиль поджечь. Он не сомневался в том, что созданная им организация будет расти, размножаться сама собой, в общем, распространяться, как пламя, если только создать надлежащую горячую точку, откуда это пламя пойдёт. Нечаев вообще не способен был задумываться и сомневаться.

Главная трудность Нечаева была в том, чтобы найти для своих последователей какие-то занятия. Вскоре представился случай испытать их решительность и верность. Один из членов организации заявил, что разочаровался в ней и решил из неё выйти. Такой человек был опасен, он знал секреты и мог их выдать полиции. Нечаев объявил, что этот человек — провокатор и, по правилам организации, подлежит уничтожению. Предложение это вызвало колебания, но Нечаев настоял на своём: отступника заманили в пещеру и убили. Началось уголовное следствие, организация провалилась, а Нечаев бежал за границу.

За границей Нечаев вошёл в близкие отношения с русской революционной эмиграцией, где историю его кружка плохо знали. Он пытался войти в доверие к Герцену и, нуждаясь в деньгах для своих

революционных замыслов, пробовал соблазнить его дочь. В конце концов его бессовестные приёмы оттолкнули от него всех, разочаровался даже анархист Бакунин, проповедовавший, подобно Нечаеву, народный бунт и истребление эксплуататоров, но имевший другие понятия об этике революционера. Царское правительство потребовало от Швейцарии выдачи Нечаева как уголовного преступника и предъявило доказательства устроенного им убийства. Нечаев был выдан, хотя политических беглецов не выдавали, и заключён в крепость. Там он ухитрился распропагандировать охрану и подготовил её к мятежу, но в последний момент дело сорвалось. Нечаев умер в заключении.

Конечно, этика Нечаева была вовсе не характерна для русских революционеров, её следует рассматривать как патологическое явление. Напротив, в революционных кружках, а затем в революционных партиях преобладающим настроением была братская солидарность, чувство товарищества, готовность на любые жертвы для спасения товарищей. В революционном кружке или партии находили чувство единения с людьми, обретали любовь к людям. Читая воспоминания первых революционеров, невольно сравниваешь этих людей с первыми христианами, в катакомбах другой безумной империи. Прочтите книги Кравчинского, воспоминания Морозова и Веры Фигнер. Чувство партийной сплочённости пережило все революции, все интриги, все расколы. Достаточно вспомнить, что Сталин не мог расстреливать *членов партии* до 1936 года: чтобы отделаться от самых неудобных, применялась ссылка или, в отдельных случаях, тайные убийства.

Но когда Сталин мог свободно распоряжаться жизнью большевиков, уже не было в России власти большевиков — так называемой советской власти. Советская власть продержалась около десяти лет, до 1927—28 года. Кто же были большевики, и какова была советская власть?

Если послушать наших инакомыслящих, то вы услышите по этому поводу сказки, созданные их услужливым воображением и ничем не лучше, чем выдуманный шовинистами миф об иноплеменных обольстителях невинной России. Инакомыслящие не настаивают на том, что большевики были агентами немецкого генерального штаба или международного сионистского центра, что они были прежде всего евреи, затем латыши, поляки, мадьяры, китайцы и бог знает кто ещё, с прибавлением небольшого числа обманутых русских дурачков. Но миф о русской революции, выдуманный нашими правозащитниками, в основном своём содержании очень близок к ми-

фу черносотенцев, подновлённому Солженицыным и его друзьями. Нас уверяют, что большевики были небольшой шайкой заговорщиков, стремившихся к власти ради самой власти и связанных с нею удовольствий, обманывавших публику идеологией, которую меняли по обстоятельствам и сами не принимали всерьёз и действовавших наподобие обыкновенных воров и бандитов.

Это очень удивительно для всякого, сколько-нибудь знающего историю. Прежде всего, большевики были не единственной, а одной из нескольких партий, стремившихся изменить государственный строй России. Было широкое общественное движение, состоявшее из самых различных политических течений, единодушных в ненависти к самодержавию. Монархия Романовых, к которой обращаются теперь бессильные сожаления ретроградов, была ненавистна не отдельным кружкам озлобленных интеллигентов, а всей русской культурной среде и значительной части русского рабочего класса, потрясённого царским расстрелом. История России требует *серьёзных* объяснений. Уголовники грабят и убивают, но от этого не бывает революций; карьеристы устраиваются, как могут, в государственном аппарате, но не сокрушают государства. Ничтожество мотивов, приписываемых большевикам, очевидным образом противоречит значительности событий, которые им ставят в вину. Они вовсе не были так жалки, они были достаточно значительны, чтобы три поколения стукачей и воров гримировались под большевиков. И наши диссиденты принимают эту комедию всерьёз, они верят, что нами и сейчас правят последователи и потомки большевиков. Гейне говорил когда-то: "когда герой умер, из его трупа выползли черви, выдающие себя за его наследников".

Большевики были, прежде всего, *революционеры*. Они верили, что можно сознательно перестроить общественную жизнь, планомерно устранить из неё несправедливость, угнетение, классовые привилегии. И в этом была их *сильная* сторона. Это и значит быть революционером. Есть другие системы мышления, считающие историю не делом рук человеческих, а непостижимой биографией божества, игрой абсолютного духа. Философу такого направления непростительно проявлять какое-нибудь историческое самоволие. Но большевики так не думали. Они объясняли историю простым экономическим механизмом — как мы теперь понимаем, недостаточным для её объяснения, но и не выдуманным, а имеющим прямое отношение к делу. Маркс был выдающимся учёным, оказавшим сильное влияние на мышление своей эпохи. Он никогда не сводил историю к одним только объективным экономическим процессам, а допускал

сознательное воздействие человека на историю. Беда большевиков была не в том, что они были марксисты, а в том, что они были плохие марксисты. Люди, лучше понимавшие Маркса, были в России в то время, но не входили в их партию. По проницательному замечанию Бердяева, с большевистской точки зрения Маркс и Энгельс были, конечно, меньшевики.

Большевики представляли своеобразное, чисто русское явление, далёкое от европейской социал-демократии. Они были сектанты с сильной религиозной закваской, верившие в торжество доброй воли над злой, в скорую и окончательную победу желательного для них фантастического общественного строя — коммунизма. Контрастным противопоставлением добра и зла в человеке они напоминали раннюю христианскую секту — манихеев, у которых равноправное положение занимали бог и дьявол, делившие между собой власть над миром. Но они вложили в эти понятия своеобразный смысл, отождествив злое начало в человеческом обществе с прибавочной стоимостью и её виновником — капиталистом, а доброе начало — с сознательным пролетариатом. Для Маркса и европейских марксистов речь шла, в первую очередь, об экономических и политических категориях, а потом уже о моральных, поскольку всё моральное для Маркса было производным от материальной основы. Тем самым, марксисты боролись прежде всего против некоторой экономической системы, а затем уже, в случае необходимости, против защищавших её людей. В каждой вере бывает более мягкая тенденция, ненавидящая не грешника, а самый грех, и пытающаяся спасти грешника от его греха, и более жёсткая тенденция, угрожающая истребить грешника вместе с его грехом. Такая жёсткая разновидность марксизма возникла в России и называется большевизмом. Что же касается "коммунизма", то это не что иное, как трансформированный христианский миф о "тысячелетнем царстве", о царстве праведников на Земле. Ожидание второго пришествия Христа и тысячелетнего царства называется в истории христианства "хилиазмом". Хилиастический характер коммунизма, его происхождение из христианской традиции никогда не вызывало сомнений. В большевизме этот марксистский хилиазм достиг крайнего напряжения, принял самые курьёзные формы. В первые годы после революции большевики устраивали "чистки", публичные покаяния и обличения. В которых беспощадно осуждали и выгоняли из партии тех, кто не вполне устремлён к коммунизму, а ставит себе какие-нибудь житейские цели — покупает вещи, заводит кур и поросят. Им казалось, что "коммунизм" можно "построить" — и в общественных

отношениях, и в сознании людей — в какую-нибудь пару десятилетий. Точно так же относились к мирским заботам первые христиане, видевшие в окружающем мире лишь досадную задержку грядущего царства божия.

Поскольку большевизм означал вытеснение на задний план "объективных", научных оснований марксизма и крайнее развитие его религиозных, хилиастических тенденций, то большевики часто упускали из виду самую основу своего учения — экономическую обусловленность истории — и ударялись в безудержный волюнтаризм, пытаясь навязать истории свою волю. Они упускали из виду упрямство хозяйственных навыков человека, очень плохо понимали инертность человеческого сознания. Сталкиваясь с сопротивлением людей — или даже сопротивлением природы — они приписывали это сопротивление, в своём манихейском ослеплении, злой воле какого-нибудь врага. Поскольку добро и зло были чётко разделены в их сектантском мышлении, то неудивительно, что у них скоро установилась двойная мораль — одна мораль для "своих", партийцев и сознательных рабочих, другая — для "классового врага". Конечно, никакая серьёзная мораль не выдерживает двойной мерки. Даже самое чёткое деление людей на две породы, чёрных и белых, не спасает рабовладельцев от нравственного вырождения. Невинное и безвредное применение двойной мерки возможно было лишь в дохристианском мире, когда не было единого понятия *человека*. Ясно поэтому, что догматическое деление людей на "добрых", которых надо беречь, и "злых", с которыми дозволены любые способы обращения, было крайне опасно для носителей такой морали, подрывая их психическое равновесие. Конечно, жестокие расправы ЧК во время гражданской войны вовсе не были монополией большевиков. Враги их, известные под именем "белых", точно так же обращались с большевиками и всеми, кто им сочувствовал и помогал. Гражданские войны вообще не способствуют укреплению нравственности и развитию лучших побуждений в человеке. Всё это никоим образом не оправдывает методов, применявшихся большевиками. Они внесли нечто новое в тысячелетнюю историю войн и политических гонений: если их предшественники хотя бы формально считали себя христианами и творили свои преступления, сознательно замечая и замаливая свои грехи, то большевики формально и теоретически отделались от христианства, пытаясь установить новую "классовую" мораль, но не могли навязать её своему *подсознанию*. Они были расчётливы и безжалостны в своей тактике, но не приняли в расчёт человека в себе — человека, воспитанного

в христианской морали, хотя бы и в неверующей интеллигентской семье. Можно сказать, что злодейство было у большевиков не душевной потребностью, а продуктом политической доктрины. Бердяев, посвятивший им необычайно интересную книгу, считал, что Ленин не был плохим человеком и даже не особенно стремился к личной власти. При ближайшем знакомстве с главными большевиками у современников складывалось впечатление, что их жестокость была чем-то вроде мундира, который они надевали при исполнении служебных обязанностей. Конечно, опасно было носить такой мундир. Но после прекращения гражданской войны, когда в стране уже не было прямого сопротивления "классового врага", задача подавления этого врага отступила на задний план перед реальностью хозяйственной разрухи.

Ведущие большевики, вернувшиеся с каторги, приехавшие из эмиграции, были мечтатели и доктринёры, далёкие от практической жизни, плохо понимавшие заботы и чувства обыкновенного человека. Но они были полны веры и принялись переделывать Россию, оказавшуюся в их власти. Заряд энергии, вложенный ими в государственную машину, пережил их самих, он был движущей силой пятилеток, коллективизации, войны, и когда он сошёл на-нет в послевоенные годы, то в этой машине не осталось уже никакой силы, и она стала разрушаться. Большевики узко понимали свою созидательную работу, но они умели работать, не щадя себя и других. Многие надорвались на этой работе, прежде чем Сталин успел их расстрелять. Во всяком случае, всё, что было сделано в России после революции, было инерцией большевизма. Резкое различие между большевиками и нашей нынешней властью состоит в том, что большевики не были *чиновниками*: они заботились о деле, о партийных планах, а не о самих себе.

Жизнь при большевиках не была, конечно, идиллией, но не была и адом, каким её сделала сталинская контрреволюция. Они были верны своей манихейской классовой доктрине. Добром для них было всё, что способствовало достижению "коммунизма", и носителем добра был "сознательный пролетарий"; злом было всё, что мешало продвижению к "коммунизму", и носителем зла был "буржуй". Между "пролетарием" и "буржуем" помещались промежуточные классы и "прослойки": крестьянство, расколотое на богатых крестьян, тяготеющих к буржуазному образу жизни, и бедных, потенциальных союзников пролетариата; интеллигенция, шаткая и подозрительная "прослойка", заражённая буржуазной идеологией, но в некоторой части способная к усвоению коммунизма. Важно заметить, что клас-

совое происхождение было тяжким, но в принципе смываемым обвинением против человека; в этом смысле большевизм был не классовым расизмом, а чем-то вроде классовой религии. Известно было, что Маркс и Энгельс вышли из буржуазии, и что сознание должно быть внесено в рабочий класс "извне" — выходцами из буржуазной интеллигенции. Как видите, интеллигенция была не только подозрительна, но и необходима, и не только в хозяйственном смысле.

Большевики чувствовали глубокое почтение и ответственность перед "пролетариатом", но этот теоретически построенный ими пролетариат не совпадал для них с имеющейся рабочей массой. Вспомним, что сознание в рабочий класс должно было быть внесено извне, и притом единственно правильное большевистское сознание; понятно, их не устраивало влияние эсеров и меньшевиков, довольно сильное среди русских рабочих около семнадцатого года. Рабочие, принявшие большевистскую доктрину, пользовались немалыми привилегиями при советской власти. Многие из них учились, превращались в интеллигентов, другие шли в партийный аппарат. Насколько позволяли условия, партия всегда заботилась о благополучии рабочих. А главное, было похвально и почётно быть рабочим, и партийные деятели оказывали рабочим всякие знаки внимания. Город жил при большевиках своеобразной, но простой жизнью. Прежние мещане, чиновники, мелкая буржуазия, даже остатки бывших правящих классов были ещё живы и полны сил. Как правило, уцелевшее — не эмигрировавшее и не перебитое в гражданскую войну городское население примирилось с новой властью, приняло новые правила игры, работало в советских учреждениях, хотя и не разделяло большевистского энтузиазма. Молодёжь, в особенности интеллигентная, почти вся поддерживала большевиков. Годы гражданской войны сменились относительно сытой жизнью, после того как Троцкий предложил в 1920 году новую экономическую политику — так называемый НЭП. Политика эта вызвала сильное сопротивление партийной верхушки, Ленину понадобился год, чтобы на неё пойти, но не было другого способа оживить хозяйство. Была разрешена мелкая частная торговля и частная промышленность, преимущественно в сфере обслуживании; поскольку земля находилась в единоличном пользовании крестьян, имелась также продовольственная и сырьевая база, не связанная бюрократической регламентацией. "Нэпман" рассматривался как человек низшего сорта, его облагали налогами, контролировали, но давали ему жить и, в известных пределах, наживаться. Считалось, что НЭП — временное, переходное явление; по мере развития кооперации и государ-

ственной торговли нэпман подлежал осторожному вытеснению, но не раньше, чем будут созданы заменяющие его общественные механизмы. Как видим, неудачи конфискаций и продразвёрсток коечему большевиков научили: они усвоили азбуку исторического материализма. Общественные механизмы так и не сменили нэпмана, большевики не успели или не могли их создать; неясно, как развивались бы события дальше, если бы большевики остались у власти, но советская власть в том виде, как мы её знаем, *была* НЭПом. Жизнь не была богатой, но была сносной, практически всё можно было купить в государственных и частных магазинах. Двадцатые годы не знали очередей, блата и партийной системы. Экономика не была фиктивной, и она была явной: известно было, что и как производится, и это открыто обсуждалось.

Деревня жила в те годы сытно и кормила город. Проведённая в 1917–18 годах национализация земли свелась к тому, что помещичьи земли разделили между собой крестьяне, за исключением некоторых имений, где были устроены образцовые государственные хозяйства — "совхозы". Крестьянское землевладение, полученное в наследство от старой России, укрепилось от реформы и продолжало существовать. Правда нарушено было техническое развитие сельского хозяйства, поскольку машины могли заводить лишь крупные хозяйства, а их не осталось. Но, по-видимому, было достаточно людей.

Большевики особенно опасались частного земледелия, вполне основательно видя в нём основу частного хозяйства вообще и, тем самым, угрозу реставрации капитализма.

Крестьянская Россия представляла собой базис, который превосходно мог обойтись и без большевистской настройки. Большевики понимали, что для упрочения их системы им надо перестроить сельское хозяйство. И для этого у них был ленинский "кооперативный план". Предполагалось постепенно приучить крестьян к общественных формам земледелия, начиная издали, с кооперативных методов снабжения и сбыта. Далее должны были возникнуть кооперативы для совместной обработки земли, при сохранении за крестьянином собственности на землю, усадеб, огорода и скота. И только после длительного воспитания, когда крестьяне убедятся в преимуществах существующего рядом с ними общественного хозяйства, можно будет побудить их добровольно отказаться от частной собственности на землю и установить в деревне социалистические трудовые отношения. Этот осторожный план, точно так же, как план постепенного вытеснения НЭПа, был придуман не только из

внимания к нуждам населения, и не из страха перед насильственными мерами, которых большевики никогда не боялись. Забота большевиков состояла в том, чтобы при всех этих преобразованиях сохранить власть, то есть сохранить за собой возможность и дальше осуществлять свой эксперимент над Россией. Они знали, как опасно посягнуть на крестьянское землевладение, предвидели яростное сопротивление крестьян и без конца спорили между собой, что и как делать в деревне. "Коллективизация" в том виде, как её выполнил Сталин, имела мало общего с планами большевиков. До революции они могли как угодно подрывать силы русского государства, потому что это было враждебное им государство, которое надо было сокрушить; но теперь это было *их* государство, и его надо было беречь. Можно любить или не любить большевиков, я сказал бы, что их трудно любить после всего, что они натворили, но у них были *общественные*, а не частные цели. Это позволяет понять *умеренность* власти большевиков.

Умеренной была и культурная политика большевиков. Среди них не было выдающихся мыслителей, но всё же старые большевики получили образование до революции, и многие в их руководстве способны были понять, что такое культура. Ленин не понимал музыки, но и он хвалил "Апассионату", Чичерин написал книгу о Моцарте; Луначарский, сам бездарный писатель, покровительствовал и охранял людей талантливее его. Бухарин беспокоился о судьбе Мандельштама, Троцкий опекал художника Анненкова, Горький без конца хлопотал за всех достойных и недостойных, кто к нему обращался. Похожи ли наши нынешние вожди на большевиков?

Конечно, революция и гражданская война нанесли страшный удар русской культуре. Погибло много умных и честных русских интеллигентов; многие стали жертвами красного и белого террора, другие погибли, сражаясь на той и другой стороне. От двух до трёх миллионов человек ушло в эмиграцию, и это были большею часть не "буржуи" и не белые офицеры, а трудящиеся русские интеллигенты, не согласные с новой властью. Среди них были многие из лучших русских учёных, писателей, артистов. Но многие остались и примирились с советской властью. Значительная часть русской интеллигенции, особенно радикального направления, искренне сотрудничала с новым строем, уверовав в коммунистические идеалы. Перед ними открылись широкие перспективы. Новая власть много делала для развития науки и техники, готовя базу для будущей индустрии. За исключением гуманитарных наук, где надо было быть (или притворяться) марксистом, государство мало вмешива-

лось во внутреннюю жизнь научных учреждений и университетов, где работали прежние профессора. Много было сделано для распространения грамоты в городе и деревне. Поощрялось издание и переводы классической литературы. Расширилось эстетическое воспитание народа: клубы, кружки, всевозможные выставки не превратились ещё в казённые мероприятия и были в руках "старой" интеллигенции. Ленин сказал, что "коммунистом может стать лишь тот, кто усвоит все богатства, созданные человечеством", и т. д. В двадцатые годы это не было фразой: в советской России усердно учились, и путь к образованию открылся для простых тружеников, как никогда в царской России. К несчастью, количественный рост образования сопровождался его качественным обеднением, особенно в области гуманитарных наук, что несло с собой опасность для будущего русской культуры.

Была, конечно, цензура, но вовсе не такая, как сейчас: посмотрите, чего только не печатали *при советской власти*! Почти беспрепятственно печатали свои мемуары эсеры и меньшевики, издавались сочинения кадетов, монархистов и белых генералов. Правда, к ним приделывали надлежащие предисловия и комментарии, но считалось, что советский читатель должен получать подлинную информацию, должен знать, что говорят враги, и уметь с ними спорить. Что касается художественной литературы, то она была в двадцатые годы почти свободна. Правда, большевики оставляли за своей литературой привилегию массовых тиражей; но было множество частных издательств, и писатель зависел не от расположения начальства, а от читающей публики. Писателей делили на категории: почётнее всего было звание "пролетарский писатель". Например, Максим Горький, в конце концов примирившийся с большевиками, был "великий пролетарский писатель". Но и не пролетарские писатели могли жить. Их снисходительно называли "попутчиками" революции, критиковали в учебниках, но позволяли им объединяться в группы, издавать литературные журналы, учинять скандалы, ездить по свету и жить за границей. "Попутчиком" был, например, Эренбург, издававший в то время очень малосоветские романы. К тому времени исчезла классическая русская литература, но, по общему мнению нынешних критиков, не классическая литература у нас процветала.

Представители всяческого модернизма с восторгом встретили революцию. Оказалось, правда, что у большевиков несколько отсталые вкусы, и после нескольких лет беспрепятственных выставок, спектаклей и концертов многие из них удалились в эмиграцию.

Большевики не убили русской культуры. Она была убита *вместе* с большевиками.

Кем же были большевики? Прежде всего, это были глубоко верующие люди, стремившиеся к фантастическим, но возвышенным общественным идеалам и не искавшие выгоды для себя. Это были очень странные люди, каких мы уже не видим среди нас. Они обожествляли орудие своей борьбы, священное братство избранных и посвящённых — свою партию. Нам уже трудно понять, как можно превратить *партию* в предмет поклонения. Прочтите завещание Бухарина, сохранённое его женой.

Как мы уже видели, жизнь научила большевиков компромиссам. Можно сказать, что экономика России, которой им пришлось управлять, была для них школой марксизма. Трудно сказать, какую форму приняла бы дальше советская власть, если бы ей предстояла естественная эволюция. Наблюдатели, оценивавшие вероятные перспективы советской России, предсказывали более широкое сотрудничество с западным миром, необходимое для промышленного развития страны, смягчение режима под давлением реальных потребностей этого развития. Анализируя поведение большевиков, приходили к выводу, что они проявляют разумную гибкость, и что эта гибкость со временем должна привести к естественному отмиранию фанатизма. Так думал, в частности, П. Н. Милюков. Но дни большевиков были уже сочтены. Большевики составляли ничтожное меньшинство в созданном ими аппарате государственной власти, и они начали терять контроль над этим аппаратом. Все звенья его быстро заполнялись “послереволюционными” партийцами, ничем не рисковавшими для установления нового строя, но пристраивавшимися к его учреждениям в собственных интересах. “Чистки” не достигли цели, и партия была заполнена мещанским элементом. Молодые рабочие и особенно интеллигенты, обратившиеся в марксистскую веру и поддерживавшие большевиков, были вскоре отделены от них этой прослойкой бюрократов. Не было возможности освежения партийного аппарата, потому что ленинская теория “партийного единства” постепенно уничтожила всякую *свободу* внутри партии и создала благоприятные условия для бюрократии. Так возник новый правящий класс, до сих пор не имеющий названия, но от этого не менее реальный. Во главе его стали ренегаты большевизма, и вскоре диктаторскую власть приобрёл один из малозаметных технических работников партийного аппарата Джугашвили — Сталин — по всей видимости, бывший агент царской охранки.

Длинный разговор о большевиках, последней политической партии, действовавшей в России, необходим для понимания распространённых у нас заблуждений. После советской власти политическая деятельность была прекращена. Осталось одно грязное политиканство, преследующее личные цели, и вот, выросло у нас поколение людей, не видящих в политике ничего, кроме личной корысти и интриг. Глубокую истину сказал Маркс: бытие определяет сознание. Какое же понятие о политике может сложиться у людей, никогда не видевших политической жизни, не любящих, к тому же, читать и попросту не знающих истории?

Солженицын и другие

В карете прошлого далеко не уедешь.
М. Горький

Было бы интересно сопоставить их — властителя дум начала века и нынешнего. У них не так уж мало общего. Узость ума, провинциальная заскорузлость, нетерпимость и — прежде всего — разительное отсутствие юмора. Ну и, конечно, учительная тенденция. Но я вовсе не собираюсь заниматься литературной критикой и охотно предоставляю другим исследовать "две души Александра Солженицына". Меня интересует общественный смысл деятельности Солженицына, его влияние на современное общество, и главным образом, на нашу интеллигенцию. Иначе говоря, я рассматриваю здесь Солженицына как политического мыслителя и политического деятеля. Уже в этом месте я предвижу протесты. Конечно, Александр Исаевич и его друзья скажут мне, что вовсе не занимаются политикой, а ставят себе лишь моральные и религиозные цели. Ну что ж, условимся в употреблении терминов. Если мы будем употреблять термин "политика" в уничижительном смысле, как синоним грязного интриганства, беспринципных комбинаций, служащих личному честолюбию и корысти, — короче говоря, отождествлять политику с "грязным ремеслом", о котором говорит французская пословица, — тогда, конечно, Солженицын и впрямь к политике непричастен. Но существует более старое — и до сих пор общепринятое — толкование этого термина. Когда Аристотель констатировал, что человек — животное общественное ("зоон политикон"), он вовсе не имел в виду унизить человека, а просто отметил общественный образ жизни этого животного. С тех пор — и даже раньше — политикой называлось любое занятие общественными делами, то есть образом жизни и организацией человеческих сообществ. Христиане всегда утверждали, что политикой не интересуются; царство их, якобы, "не от мира сего". Вряд ли стоит сопоставлять это с практикой всех христианских церквей (а ведь мы имеем в лице Солженицына представителя *церковного* христианства); достаточно заметить, что *последовательное* проведение этой точки зрения требует принятия *всякой* власти, как исходящей от бога. Нежелание воздать кесарево кесарю как раз и отличает Александра Исаевича от право-

славного патриарха, которому он предъявляет свои — богословски и исторически не оправданные — претензии.

В государстве, где религиозная жизнь строго регламентирована (и даже в этом виде резервирована для определённых слоев населения), всякая независимая религиозная деятельность есть политическая деятельность. В государстве, где нравственность чисто условна и терпима лишь в словесном выражении, всякое *серьёзное* отношение к нравственности есть политическая деятельность. Серьёзное — это значит, не останавливающееся перед исследованием причин и связей отдельного безнравственного явления. Государство вполне правильно оценивает такую деятельность как подрывную, потому что серьёзные занятия религией и, особенно, нравственностью несовместимы с его существованием. Требование нравственности — и в том числе законности — представляет собой принцип, органически несовместимый с фактическим, не словесным способом функционирования этого государства. Раздвоение сознания — отделение мира идей от мира поступков — является коренным условием нашего образа жизни. Всякое посягательство на это раздвоенное сознание есть политическое преступление. И если вы притворяетесь, будто принимаете за чистую монету официальную мораль и официальное законодательство этого государства, то не избегаете этим политики, а принимаете некий политический курс, с точки зрения государства весьма коварный. Ибо *смысл того, что вы делаете*, зависит от окружающих вас фактов, а не от построенных вами фикций. Я имею в виду *объективный* смысл. Если вы не признаёте за человеческой деятельностью *никакого* объективного смысла, то чем Вы лучше ваших гонителей? У них голова устроена так, а у вас — иначе.

В действительности, Александр Исаевич проявил, в качестве политического деятеля, незаурядные *тактические* способности. Зная по собственному опыту правила функционирования советских органов — и в особенности органов безопасности — он вёл с ними в течение ряда лет сложную и рискованную борьбу; мужество и выдержка, с которыми он это делал, сами по себе удивительны в этой стране, населённой, по выражению Щедрина, “детьми изрядного возраста”. За исключением узкой группы интеллигентов, панически боящихся слова “политика”, весь мир оценил эту борьбу как интереснейшую *политическую* кампанию, проведённую, по существу, одним человеком против якобы всесильного тоталитарного государства. Целью этой борьбы было, прежде всего, опубликование и распространение литературных произведений Солженицына.

Используя неустойчивость известных литературных кругов и глупость цензурного аппарата, ему едва не удалось добиться легального опубликования “Корпуса”. Затем, применив другую тактику, он добился широкого распространения своих книг за рубежом и узкого (ограниченного тонким слоем недовольной интеллигенции) распространения её внутри страны. Если бы даже содержание этих книг было политически невинно, подобная кампания, вызвавшая резонанс во всём мире и привлёкшая общее внимание к нашей литературе, имела бы важное *политическое* значение. Но речь ведь шла о “Круге” и о “Корпусе”!

Далее появился “Август”, роман художественно слабый, но откровенно тенденциозный, вскрывающий до того неясные *политические* симпатии автора. И, наконец, “Гулаг” — уже совсем не беллетристика, а сборник исторических материалов, подрывающий исторические устои нашего государства, давно уже мирно гниющие в непрозрачных водах запретных десятилетий. Возможно, найдутся упрямцы, которые всё же станут твердить: “Этот человек не занимается политикой!” Ваша воля, друзья: вы верите в магическую силу слов, как уже давно не верят на этой циничной планете. Предки наши не смели произнести имя дьявола, заменяя его описаниями, но знали, по крайней мере, к чему эти описания относятся. Вы же толкуете, что речь идёт о происхождении нравов и обычаев этого общества, его репрессивной системы, об условиях развития и типе человека, который в нём развивается, об его прошлом, настоящем и желательном будущем... *Но не о политике.* Вы запрещаете это *слово*, как будто пытаясь отмежеваться от связанных с ним ассоциаций. Такая чувствительность к словам не случайна и неизбежно возникает, когда нет ясности в *понятиях*; наблюдение это не моё, а заимствовано из “Фауста”. Не будем спорить о словах.

Политическая деятельность Солженицына привлекала к нему горячие симпатии — до тех пор, пока наша недовольная интеллигенция считала его, по недоразумению, своим человеком. Этому недоразумению могли бы положить конец уже короткие рассказы (“эссе”), философия которых была уже явно ориентирована на предметы, посторонние нашим чувствам и надеждам. Я отчётливо помню впечатление от этих рассказов: ощущение было такое, как будто повеяло чем-то затхлым, позавчерашним, вытащенным из бабушкиного сундука. Обличение грузовика? Протест против утренней гимнастики?

Я не принадлежу к машинопоклонникам и глубоко презираю тот вид неполноценности, который прячется за спортивным бодря-

чеством. Всё дело в том, как это было сказано. Ясно было, что грузовик для автора — не просто дурно пахнущая, некрасивая и расточительная реликвия века первобытной техники, но ещё и предмет греховный, враждебный ему по тем же причинам, по которым Лев Толстой невзлюбил железные дороги и телеграф. Что же касается гимнастов, то они, конечно, нуждаются в очеловечении (или "гуманизации", по изящному современному выражению). Но вот является некто, смотрит на майки, трусы и голые ноги и приговаривает поповским баском: "О душе, о душе позаботиться надо!" Тем самым, внимание гимнастов переключается на близлежащее кладбище и монастырь. Плохо же знает Александр Исаевич современную молодёжь, начиная таким образом свой гуманитарный ликбез.

В коротких рассказах содержится потрясающая формула человеческой (или, пожалуй, уже не человеческой) глупости: "Мы-то не умрём!" Александр Исаевич пытается объяснить нам важную мысль: любая философия жизни несостоятельна, если она исключает вопрос о смерти. Для каждого из нас в этом глубокая проблема; для Александра Исаевича, как обнаруживается, никакой проблемы здесь нет. Его вполне устраивают патентованные средства прошлого, но ведь к ним надо приучаться с детства, а наш извилистый путь на кладбище никогда не заведёт нас в монастырь. Разумеется, надо охранять от варварства и монастыри, и кладбища; но не вместо утренней гимнастики.

Решающее значение для понимания политической философии Солженицына имеет "Август", о котором нам придётся поговорить подробнее.

Симпатия, которую внушил нам в своё время Нержин, была связана ещё и с некоторой таинственностью этого героя. Нержин ведёт записки, видимо, касающиеся философии истории; содержание этих записок так и остаётся для читателя тайной, что весьма содействует литературному достоинству романа. Вдобавок к человеческому обаянию Нержина, остаётся возможность предполагать в нём глубокого мыслителя; что может быть возвышеннее героя, сохраняющего в лагерном аду не только собственное достоинство, но и Неведомую Идею!

Но, увы, является "Август": идея становится ве́домой. Записки Нержина расписаны на роли и розданы героям романа, или того, что предлагается в качестве романа, потому что в действительности перед нами нечто вроде исторически-философской оратории. Над болотами и перелесками Восточной Пруссии, над расставленными среди них авторскими киноэкранами раздаётся знакомый с детства

мотив: “Славься, славься, ты Русь моя... ”, впрочем, с несколько другими словами, из старого либретто барона Розена, — “Славься, славься, ты русский царь”. Жизнь за царя. Православие, самодержавие и народность. Белопашцы, потомки Сусанина. Аксаков, Хомяков. Больная наша совесть, Достоевский. Шульгин, Пуришкевич и Марков второй. Конечно, идеи героев романа не всегда можно приписать автору — даже если герои внушают ему симпатию. Литература может быть объективной; автор может скромно держаться на заднем плане, предоставляя своим персонажам говорить и делать, что им полагается. К счастью, все эти предосторожности в случае “Августа” оказываются излишними; это едва ли не самый тенденциозный роман в русской литературе.

Симпатии автора всецело на стороне консервативного, почвенного элемента; ему нравятся взрослые, солидные люди, с глубокими корнями в русской традиции, неподатливые на всё новое и — русской жизнью в основном довольные. Эта почвенность, органичность русских людей для автора важнее всего, важнее ума, логики и независимости духа. Некоторая ограниченность, неповоротливость ума ему скорее нравится. Генерал Самсонов, генерал Нечволодов, полковник Воротынцев, кулак Томчак, философствующий в пивной Варсонофьев и положительный еврей Архангородский — всё это люди крепкие, солидные, все они густыми голосами старательно выводят “Славься”. Но вдруг на фоне мощного хора раздаются непочтительные мальчишеские голоса, и притом с нерусским акцентом. Что это? Неужели на сцену пробрались хулиганы? Оказывается, это русские радикалы, роли которых поручены нескольким нерусским актёрам.

Парочка молодых евреев изображает эсеров, а большевики представлены молодым человеком с польской фамилией Ленартович. Всё это незрелые юнцы без всякого жизненного опыта, смотрящие на мир через призму партийной программы — и почему-то недовольные жизнью. Русские мальчишки к этому отношения не имеют. Как чувствует хороший русский юноша Исаакий, партийные программы — это ненадёжно, неприлично и вообще русскому человеку не нужно. Куда надёжнее — нехитрая вера в общепринятые ценности; человек держится прочно лишь в унавоженной предками исторической почве. А всё чужое, наносное, не пустившее корней в родную почву — сдует ветром; туда ему и дорога.

Такова картина России накануне глубочайшей в истории трагедии, огненной бури, в пепле которой роется теперь наше поколение. Читатель остаётся в недоумении относительно дальнейших намере-

ний автора, обязавшегося вывести из этих предпосылок судьбу России. В “Августе” превосходство консервативного элемента над радикальным изображено столь решительно, что единственным следствием из такого положения вещей могло быть лишь тысячелетнее царство Романовых.

В оратории есть ещё вторая тема. В раскаты грома, колокольный звон и пушечную пальбу врывается некое механическое жужжание: это вращаются мельницы, построенные инженером Архангородским и его другом, бывшим анархистом. Таким образом автор пытается изобразить капитализм, занимавший какое-то место в православной России. Оказывается, у автора есть специальные интересы, из православия не вытекающие: как это ни странно, он увлекается техникой и военным искусством. Строители мельниц тоже имели политические взгляды: они называли себя партией народной свободы, но больше известны под именем кадетов. Программу их автор несколько упрощает, сводя её к требованию неограниченного строительства мельниц. Но строить мельницы мешают и справа, и слева: “С одной стороны — чёрная сотня, с другой стороны — красная сотня”. “Красную сотню” представляет, по-видимому, дочь Архангородского, Соня; от чёрной же инженер спешит себя обезопасить, приняв участие в патриотической манифестации евреев. Таким образом, жалобы кадетов не следует принимать всерьёз: с православной монархией они уживутся.

Должен признаться, отношение автора к техническому прогрессу осталось для меня загадочным. Уважительное внимание Александра Исаевича к немецкой организации жизни наводит на мысль, что идеал его предполагает некое соединение немецкой деловитости с русским православным размахом. Но тут мне приходит на ум критика грузовика, и я умолкаю, не умея разрешить этот вопрос.

К неразрешимому противоречию приводит Солженицына и увлечение военным делом. Об этом стоит поговорить подробнее, потому что увлечение это представляет в новом свете качество солженицынского православия. Дело в том, что в текущей пропаганде Александра Исаевича ключевое место занимает принцип *ненасилия.* Между тем, в “Августе” происходит жесточайшее организованное насилие — война; могло бы показаться, что автор, проводящий в романе свои религиозно-философские тенденции, осудит войну, как чудовищное насилие над совестью людей, вынуждаемых убивать друг друга. Такое предположение тем более естественно, что ненужность войны не вызывает у Солженицына сомнений: немцам он сочувствует, и позиция автора состоит в том, что воевать с ни-

ми незачем, а лучше бы у них разным вещам поучиться. И вот, читатель с удивлением обнаруживает, что раз уж война почему-то началась, то отношение автора к насилию внезапно меняется. Насилие становится интересным, необходимым; автор изо всех сил старается объяснить, как его лучше организовать и направить. В отличие от Толстого, Солженицын верит в возможность управлять военными событиями: правда, Варсонофьев утверждает в своей пивной, что история иррациональна, но Александру Исаевичу по опыту известно, что судьба на стороне хороших генералов. Он и сам был бы, видимо, неплохим генералом; во многих местах романа заметно стремление автора руководить давнопрошедшими военными действиями, что создаёт непредусмотренные им комические эффекты. Для этого и придуман блестящий офицер генштаба Воротынцев, очевидным образом представляющий второе Я Александра Исаевича Солженицына. На этот счёт обмануться трудно: и в других книгах Солженицына автор присутствует в образе любимого героя. И вот, в мундире Воротынцева Александр Исаевич изживает свои специально военные комплексы, вырвавшись, некоторым образом, на оперативный простор. Как же быть с оправданием войны?

Речь Воротынцева перед отступающими солдатами — образец благопристойной пустоты. Война, конечно, бессмысленна, но раз уж *пришлось* воевать, то давайте вести себя *прилично* — умирать и убивать по правилам. Здесь нет даже казённого оправдания: за веру, царя и отечество; Воротынцев пытается привить солдатам понятия кадрового офицера, добровольно нанявшегося убивать, кого прикажут. Причём здесь христианство? Здесь так называемые воинские доблести: честь, солидарность, мужество в бою. Но что всё это значит — по сравнению с "не убий"? До основ христианства кадровому офицеру нет дела; руководит им профессиональный снобизм и мистический дух повиновения. Ну, и потом, надо признаться, что воевать — интересно.

Всё это несовместимо только с радикальным христианством еретиков и сектантов, но без труда совмещается с казённым, формальным православием, с традицией *церкви*, никогда не отказывавшей кесарю в благословении очередной задуманной им резни. Поистине, для церкви нет резни, которая не от бога.

В отличие от предыдущих книг Солженицына, "Август" успеха не имел. Роман очень уж слаб, что само по себе, конечно, не может быть поставлено автору в вину. Как сказал когда-то Гёте, хороши бывают только вещи, написанные на случай; так и Солже-

ницыну даются сюжеты, с которыми он близко знаком, замыслы, выполняемые на одном дыхании. Но затем является "опус майюс", полный исторической эрудиции, пропахший маслом от ночных бдений, — и всё это не держится, разваливается на глазах удивлённого читателя, а наивные попытки автора выглядеть современным — лишь довершают конфуз. Что ж, каждый писатель имеет право на неудачный роман, на авантюру в чужом жанре и, во всяком случае, на непонимание истории. Никто не вправе требовать от писателя продуманных философских и политических взглядов, и я вовсе не хочу продолжить традицию суровых критиков, укладывавших незадачливого художника в прокрустово ложе своей идеологии. Мы испытали бы чувство неловкости, услышав от знакомого теоретические рассуждения в манере Толстого. Мы как-то привыкли к мысли, что писателю вредно быть слишком умным: мы прощаем это Томасу Манну, уже не всегда Франсу, а поэту, как принято думать, и впрямь полагается быть глуповатым.

Дело не в этом, а в том, что делает писателя политическим деятелем — в *учительной тенденции.* Не существует шекспиризма и пушкинизма, но есть достоевщина и толстовство. Поучая своих современников, как правильно жить, писатель выходит из безответственного сословия беллетристов и подвергает себя всем опасностям политической карьеры — в том числе опасности забрести в тупик.

В чём же состоит общественное мировоззрение Солженицына? Думаю, что наилучшим образом его можно выразить классической формулой графа Уварова: "православие, самодержавие и народность", и что сам он не откажется от каждого члена этой триады. Даже от самодержавия? Да, и от самодержавия Александр Исаевич не откажется, несмотря на всю трудность объяснить русскому народу, что это такое.

Самодержавие необходимо для цельности построения: само построение может быть сколь угодно фантастическим, но даже волшебная сказка подчиняется законам своего жанра. А жанр этот не допускает, чтобы в тридевятом государстве не было царя. Если бы дело было только в этом, мы охотно простили бы Александру Исаевичу его ретроградный утопизм, потому что тридевятые государства, где без монархического принципа никак прожить невозможно, находятся теперь не ближе Лаоса.

Не столь очевидна несерьёзность другого заклинания, взывающего к православию. Надо уяснить себе, что называлось православием когда-то, и что претендует на это имя теперь. Сентиментальное христианство нынешнего интеллигента, воспитанное на пожел-

тевших книгах начала века, охотно принимает имя православия, но весьма неохотно обращается к традиционной православной церкви. В самом деле, у русской религиозной мысли начала века не было злейшего врага, чем казённая церковь. Теперь, в трудных обстоятельствах, способствующих гибкости доктрин, церковь не брезгует и Владимиром Соловьевым, и Бердяевым; но ведь это вовсе не православные писатели, а гностики, злые еретики, и в былые времена православные сожгли бы их в срубе, как сожгли Аввакума. В наше время слово "православие" чаще всего означает самодельную или вычитанную в книгах ересь. Пробным камнем правоверия служит здесь, конечно, отношение к традиционной церкви.

Я убеждён, что Александр Исаевич обвинения в ереси не заслуживает. Его православие — церковное, в самом лучшем смысле слова, какого только мог бы пожелать сам патриарх — будь он свободен в своих желаниях. Получив в детстве изрядную порцию религиозного воспитания ("опиума", как говорят атеисты), Александр Исаевич навсегда привязался к церковному благолепию, к красоте литургии; он убеждён в важности такого же, традиционного церковного воспитания юношества. Лучшим способом благотворительности он считает пожертвование денег православной церкви (правда, не нашей казённой, потому что это значило бы просто внести деньги в госбанк). Всё это можно доказать цитатами из его сочинений, но стоит ли трудиться? С тех пор как исчезла перспектива печататься в государственных типографиях, отпала и надобность в невинной мимикрии, к которой все у нас прибегают в тех же условиях; точнее, лучшие из нас, потому что в иных случаях притворство бывает не столь невинным.

Итак, православие, которое проповедует Солженицын, — это православие традиционное, церковное, подлежащее лишь очищению от скверны подчинения безбожной власти. Александр Исаевич не прочь бы освежить блеск этой церкви в горниле мученичества; но, увы, желающих мало, и пастыри церкви извергают их из стада как паршивых овец. Здесь мы и подходим к существу дела.

Причина, почему разговоры о православии несерьёзны и служат в нашем обществе лишь прикрытием других, общественно значимых настроений, состоит в *религиозной импотенции* советского человека. Нам незачем описывать ход событий, положивших конец христианству на Руси. Когда-то спорили, есть ли в русском крестьянине подлинное благочестие, или всего лишь привычка к обрядам; в эмиграции и теперь не перевелись фантасты, повторяющие миф о лапотной, сермяжной и православной крестьянской Руси. Такой Ру-

си нет, и никогда больше не будет. В стране, прежде называвшейся Россией, исчез тип человека, прежде называвшегося крестьянином; в этой стране никто больше не ходит в лаптях, но многие ездят на мотоциклах в резиновых сапогах, и уж точно никто, кроме записных филологов, не знает, что означает прилагательное "сермяжный", и от какого существительного оно происходит. В новых деревнях и посёлках церквей не было с самого начала; в старых, часто обезлюдевших, церкви используются под склады. В Ленинграде есть и такая церковь, где к куполу подвешен самолёт, а в другой, самой большой, — маятник, доказывающий вращение Земли.

Узкий слой интеллигентов, проявляющий теперь интерес к религии, мало связан с коренной православной традицией; это философствование нецерковного, еретического характера, и причины разговоров на религиозные темы нетрудно понять. Ахиллесовой пятой марксизма всегда было пренебрежение к человеческой личности, рассматриваемой как простой автомат. Критика марксистской концепции человека (если можно говорить о такой концепции) исходила от мыслителей двух направлений — либерального и религиозного. Либералы, при всей ограниченности их позитивистской философии человека и общества, обладали всё же практическим опытом государственной деятельности; они знали, насколько человек трудноуправляем и непредсказуем, и могли предложить испытанные предохранительные устройства, чтобы это политическое животное обезопасить. Чисто эмпирический характер этих устройств несколько напоминает правила уличного движения, охраняющие прохожих, но предоставляющие им самим решать, куда они хотят идти. Можно понять, почему рекомендации этого рода принимаются без энтузиазма в такой стране, как Россия, где удобства практической жизни никогда не стояли в центре внимания мыслящих людей.

Гораздо более глубокой была критика со стороны христианских мистиков, виднейшим из которых был Бердяев. Причина, позволившая им так рано распознать слабости марксистской программы и предвидеть ее последствия, заслуживают особого исследования[1]; в самых общих чертах, объяснение относится к психологии. Марксисты полностью пренебрегли психологией; либералы обладали в этой области поверхностными знаниями, собранными, главным образом, при наблюдении политической жизни европейских стран. Впрочем, сама психология, как наука, в начале века почти не существова-

[1]"В защиту идеализма", 1901 г.

ла; она сводилась тогда к измерению простых реакций человека на физические воздействия. Ницше был плохо понят, а Фрейд еще неизвестен. В общем, психологические понятия либеральной интеллигенции недалеко ушли в то время от “плоского рационализма” эпохи Просвещения.

Между тем, церковь обладала многовековым опытом изучения человека и манипулирования человеком; религиозное мышление содержало, в мистифицированной форме, систему понятий, глубоко проникающую в психическую жизнь человека и до сих пор мало затронутую профессиональными учёными. Снобизм образованных людей и дискредитация, по другим мотивам, религиозного мировоззрения привели к тому, что некоторые стороны общественного процесса оказались прежде всего в поле зрения христианских мистиков (Бердяев; Швейцер, 1923). Разумеется, понимание специального вопроса тем или иным мыслителем не вынуждает нас уверовать в его мифологию.

Мы можем теперь понять нынешнего русского интеллигента, мечущегося в поиске авторитетов взамен утраченных и заглатывающего *всего* Бердяева с той же доверчивостью неофита, с которой старые интеллигенты глотали неудобоваримого Маркса. Особенного блеска от него ожидать нельзя; образования ему не хватает, да и писания он как следует не знает. Его желание стать верующим столь же неосновательно, как у духовного предка его Козьмы Пруткова желание быть испанцем. Он попросту не знает, что такое религиозное переживание, и заменяет его религиозным умствованием. Вот с таким типом религиозного мыслителя нам обычно приходится сталкиваться.

Если бы дело ограничивалось этой псевдоинтеллигенцией, умиляющейся Бердяевым, то качество декларируемого этой публикой псевдоправославия не требовало бы дальнейших комментариев. Но за умничающими интеллигентами мы видим безмолвствующий, по давнему своему обыкновению, русский народ. Что же *для него* может означать слово “православие”? Если не считать активного меньшинства сектантов, то православных, признающих авторитет московской патриархии, осталось ещё немало. Вера их — обрядовая, они ходят в церковь по большим праздникам. Бердяева они не читают, об Александре Исаевиче не слыхали, а если читали в газете, то скорее поругивают за недостаток патриотизма. Но вера простых людей серьёзна тем, что имеет исторические корни и, в некоторых случаях, всё ещё связана с религиозным переживанием; именно к ним, к простым людям хотел бы обратиться Александр Исаевич, а

не к собеседникам, собирающимся в интеллигентских квартирах.

Православие простых людей заслуживает серьёзного внимания. Не столь важно, что число посещающих церковь убывает и свелось преимущественно к старикам и старухам. Завтра их может стать больше, если обстоятельства изменятся, — а они всё-таки постепенно меняются. Но веровать они будут так же вяло, ходить в церковь так же по большим праздникам, и не будут применять в жизни евангельские учения, — нет, не будут, как бы ни стремился к этому Александр Исаевич! Потому что это люди с раздвоенным сознанием, и религия всегда останется в словесной части их сознания, деятельная же часть сознания будет занята текущими делами, тем, что им на самом деле приходится делать в своём колхозе, на своём заводе, или у себя дома. А в подсознании современного человека — знает он это или нет — твёрдо укрепилось представление, что религия *не имеет практического значения.*

Но если религиозная импотенция является общим явлением, если, за редкими исключениями, нет больше мучеников, никто не хочет идти в монахи и хозяйственные дела решительно предпочитаются заботам о спасении души, то стоит ли вообще говорить о православии как о серьёзной общественной силе? Да, стоит, потому что обрядовая шелуха того, что было православием, служит прикрытием другому, гораздо более важному явлению, с которым мы встречаемся повседневно и ещё больше встретимся в недалёком будущем. Потому что в действительности только один из членов триады глубоко связан с эмоциями современного русского человека. Связано с ним то, что когда-то называлось “народностью”, и что теперь называется *русским национализмом.*

И если в недалёком будущем простой русский человек назовёт себя “православным” — что вполне вероятно — то это вовсе не будет означать, что он пересмотрит своё отношение к десяти заповедям, к нагорной проповеди, и тем более проявит интерес к тому, чем православный христианин отличается от всякого другого. Заявление о православии будет подчёркнутой декларацией национальной принадлежности: “православный” человек будет синонимом истинно-русского человека, не того, кто больше других верует и смыслит в богословии, но того, кто подчёркнуто ходит в церковь по праздникам, подчёркнуто кланяется иконам, ест блины, пьёт квас и презирает инородцев.

Нет ли здесь подмены тезиса? *Это* ли православие проповедует Александр Исаевич, и можно ли упрекнуть его в том, что другого — не будет? Думаю, что “православие” в описанном выше смыс-

ле, то есть словесное прикрытие банального национализма, вовсе не совпадает с идеальными целями Александра Исаевича и со временем вызовет у него осторожный отпор. И всё же — тысячью нитей связан Солженицын с русским национализмом. Вспомним, что немецкий национализм возник из писем Фихте к немецкому народу, — Фихте, для которого идеал немца совпадал с идеалом человека вообще, а благороднейшая цель Германии состояла в указании примера остальному человечеству. Мне трудно отделаться от впечатления, что Александр Исаевич не превосходит своего немецкого предшественника широтой взгляда, а от русских не требует столь высокого универсализма.

Конечно, русские националисты будут ссылаться на Солженицына, как только посмеют, и не исключена возможность, что для этого скоро возникнут условия. Трудно представить себе героя и мученика, более подходящего для русских националистов; уже и сейчас возникло кустарное производство не только фотографий, но и настоящих *икон* Александра Исаевича, стилизованных под Христа. Трудно представить, каким образом Александр Исаевич мог бы избежать такого оборота событий, как смог бы он отмежеваться от своих националистических почитателей.

Нам угрожает волна русского национализма, прикрывающегося православием. Уже и сейчас он существует не только в виде примитивного шовинизма человека с улицы; он заявляет идейные претензии, разрастаясь среди нашего полуинтеллигентного мещанства, достаточно близкого к уличному шовинизму и достаточно далёкого от всех источников культуры. Власть уже сегодня к нему снисходительна. Начиная с любителей русской старины и природы вроде Солоухина, до пресловутого журнала “Вече”, легально и полулегально, обычно ещё стыдливо, но иногда уже бесстыдно — он вылезает изо всех щелей системы, угрожая заполнить идейный вакуум своим простейшим, наспех подновлённым хламом. Чем же был и чем может быть русский национализм, в чём причина его живучести и залог его успеха?

Как и всякий национализм, он обусловлен специфическим комплексом национальной неполноценности, свойственным любому народу в определённых исторических условиях. Истоки этого комплекса следует искать в бедствиях русской истории, дважды переломанной насильственным вторжением чужой культуры: в первый раз — татарским нашествием, во второй раз — реформами Петра. Насилие над Россией, учинённое Петром и его военно-бюрократическим аппаратом, привело к специфическому неверию русского человека в

свои силы. Приученный равняться на иностранные образцы, носить иностранную одежду, подражать иностранным манерам, он начал стыдиться всего своего, как доморощенного, отсталого, второсортного. Только иностранное представлялось ему настоящим, умным, хорошо сделанным; порядки и обычаи родной страны внушали ему быть может быть подсознательное, но тем более неодолимое чувство неловкости и стыда.

У избранных людей русской культуры всё это было предметом горьких размышлений; проницательный анализ национального комплекса неполноценности (и заодно — классический пример его проявления) мы находим а "Философических письмах" Чаадаева.

Что касается простого человека, то он не способен к рефлексии, а гнетущий его комплекс он компенсирует, по законам психологии, нарочитым национальным самоутверждением. Механизм этого явления хорошо изучен, и нисколько не удивительно, что такому человеку приходится непрерывно доказывать себе и другим превосходство собственной нации, используя для этого каждый случай.

Есть два вида национализма: национализм угнетённой нации против угнетающей и национализм угнетающей нации против угнетённой. Никогда не бывает национализма, не направленного против других наций: для функционирования только что описанного механизма компенсации необходима "враждебная" нация. В случае явного национального угнетения, как это бывает в колониях, национализм направляется против угнетающей нации, и в этом состоит его глубинное эмоциональное содержание, как бы ни старались его руководители придать ему классовый, экономический или даже религиозный характер. Вообще говоря, национализм угнетённых наций, как и всякая реакция слабого на применённое к нему насилие, часто вызывает сочувствие, а у народов древней культуры, например, у индийцев, в значительной степени теряет характер слепой ненависти.

Иначе обстоит дело с национализмом "сильных" наций, имеющих собственную государственность. Лишь в редких случаях он находит себе выход в агрессии против других государств, потому что война не всегда возможна, а комплекс неполноценности не обязательно предполагает воинственность. В таких случаях типичным способом компенсации служит притеснение национальных меньшинств.

У русского национализма, в сущности, и не было в прошлом другого занятия. Политические группировки дореволюционной России, называвшие себя "национальными", все без исключения занимались погромной, черносотенной агитацией против угнетённых наций —

поляков, кавказцев и всех других "инородцев" — прежде всего евреев. Наиболее известные из них — "Союз русского народа" и "Союз Михаила архангела". Конечно, ссылаться на таких идейных предков неудобно. Таково прошлое русского национализма; можно ли предсказать его будущее?

Думаю, это не так уж трудно, потому что у него нет выбора. В самом деле, чтобы он мог существовать, ему нужен враг; а так как питающий его комплекс неполноценности силён, как никогда, и никуда не денется, то врага он непременно найдёт. Но этим врагом не будут иностранцы, непосредственно вызвавшие этот комплекс.

Не так уж легко враждовать с иностранцами. Психологически важно, чтобы враг был под рукой, в пределах досягаемости, но вряд ли сохранились на Руси мечтатели, чающие увидеть чужие языки под русской рукой. Не те времена. Малейшая попытка внешней экспансии вызовет чёткую реакцию превосходящей силы, а имя этой силе — Америка.

Позиция русского шовинизма по отношению к Америке видна из того, какого внешнего врага выдумали себе наши генералы. Официальная военная доктрина нашей армии игнорирует угрозу американского империализма; в качестве потенциального противника давно уже изображается Китай. Психологически здесь всё ясно: враг должен быть достаточно внушительным, но по-человечески возможным и понятным. Нет, Америка — не потенциальный противник, а потенциальный хозяин.

Русскому национализму придётся довольствоваться "врагом унутренним": следуя закону подстановки, он заместит врага недоступного и страшного — врагом домашним и привычным. Таким врагом могут быть только беззащитные народы своей страны. И даже в этом направлении, как нетрудно понять, выбор не так уж велик. Неприязненные чувства к азиатам или кавказцам могут время от времени поддержать национальный дух русского человека — но лишь в том случае, когда они оказываются под рукой. Беда в том, что проживают эти инородцы далеко от Москвы, в своей собственной земле, куда без военной силы с погромом не сунешься. Не исключая совсем военные операции против инородцев, нельзя ожидать от них глубокого удовлетворения русского национального чувства.

Остаются — евреи, народ, живущий повсюду, неподражаемо смирный и всегда готовый к своей веками отрепетированной роли козла отпущения. Лишь на этом поприще русский национализм найдёт своё настоящее дело.

Конечно, логика, связывающая Александра Исаевича с этим неблаговидным делом, несколько бесовская и, стало быть, не выглядит убедительной в глазах добрых людей. Но я хотел бы видеть людей не столь доверчивыми.

Всё говорит за то, что Александр Исаевич твёрдым шагом направляется в свой тупик. И лучше ему не оборачиваться, чтобы не видеть, какая публика идёт за ним.

Русомания

Необозримая масса журнальных и газетных статей, обрушившихся на нашу читающую публику, представляет уже серьёзную угрозу для трудящегося человека. Приходится выбирать, и здесь помогает старый способ: ищешь знакомые имена в тех изданиях, где их можно найти. Есть и такие издания, где ничего не ищешь, и такие имена, которые не рассчитываешь найти. Когда такой неожиданный автор печатается в неожиданном месте, его трудно заметить. Если бы мне не сказали, что известный математик Шафаревич занялся философией истории, избрав своей трибуной журнал "Наш современник", мне никогда не пришло бы в голову раскрыть этот журнал и тем более искать там его имя.

И. Р. Шафаревич пользуется репутацией выдающегося математика. Говорят, что он и в самом деле серьёзный учёный, не связанный с нынешней модой давать математике самые курьёзные применения. Я испытал некоторое облегчение, не обнаружив в его "Русофобии" уравнений и интегралов, потому что не верю в возможность математической философии или математической истории. Слишком прямая попытка внести математику в эти вопросы не вызвала бы доверия даже у людей, трогательно верующих в науку, как веруют в неё издатели рассматриваемого журнала. Формул я в "Русофобии" не нашёл. Правда, автор её щедро пользуется иными выразительными средствами, доступными любой типографии: разрядкой, жирным шрифтом и очень крупным шрифтом, обычно применяемым в заголовках, но здесь то и дело врывающимся в текст и придающим ему какой-то беспокойный, воинственный вид. Насколько я могу припомнить, такой вид имеют рекламные объявления в иностранных журналах.

До сих пор философы пренебрегали возможностями типографии, и тут Шафаревич несомненно отклоняется от традиции. Возможно, он открыл новый метод популярного изложения, а может быть, он просто неопытный журналист. Но не будем придираться к мелочам. Перед нами выдающийся математик, выражающий свои мысли об истории, особенно о нашей сегодняшней истории, и эти мысли надо тщательно разобрать. Это вовсе не так смешно, как если бы историк стал рассуждать о математике, с нравоучениями, касающимися нынешнего состояния математических знаний. Предмет, обсуждаемый Шафаревичем, представляет общий интерес и,

как мне кажется, доступен мыслящему человеку любой специальности. И можно было бы надеяться, что автор внесёт в этот предмет свои профессиональные навыки: ясную логику и точность в образовании понятий. Иначе говоря, от математика можно прежде всего ожидать спокойного, объективного мышления, чего так недостаёт нашим журналистам и даже историкам, ударившимся в журнализм.

Но "Русофобия" написана совсем иначе. Это вовсе не продукт холодного ума, а взрыв эмоций, не находивших себе выхода в течение всей жизни. В конце статьи автор прямо сознается, что он хотел "СКАЗАТЬ ПРАВДУ, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова", и "не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать". Что ж, у каждого могут быть подавленные чувства, находящие себе выход в подходящем месте, в подходящий момент. Не будем же смеяться над человеком, неудачно выбравшим место и время своих излияний. Говорят, Шафаревич стал печатать и стихи, но я их не читал. Я читал другие его сочинения на общественные темы, в частности, изданную в Париже книгу о социализме. Лирика Шафаревича меня не интересует, он интересует меня как политический мыслитель.

К сожалению, его эмоции нельзя оставить в стороне. Если выжать, как из губки, всю лирику, заключённую в "Русофобии", то не останется почти ничего, о чём стоило бы говорить. Статья представляет собой страстное признание в любви и ненависти, и это весьма затрудняет задачу критика, если только он не хочет действовать как литературный критик и не смотрит на предмет с эстетической стороны. Любовь и ненависть плохо поддаются обоснованию, а если такие обоснования приводятся, то они, как правило, подгоняются под заранее заданную цель. Поэтому я ограничусь описанием того, что любит и что ненавидит Шафаревич, но постараюсь это сделать отчётливее, чем он сам. Дело в том, что специалист, отважившийся выйти за пределы своего ремесла, часто бывает беспомощен. Всё же наш автор лучше умеет выражать свою ненависть, чем свою любовь, и это понятно. Застенчивые люди стесняются говорить о своей любви, они краснеют и заикаются, даже если речь идёт о естественной любви. Но любовь Шафаревича — в некотором смысле противоестественная любовь, во всяком случае для русского интеллигента: он любит начальство.

Должен сознаться, в этом мне трудно его понять. Чтобы понять чувства другого человека, надо иметь нечто от этих чувств в самом себе: психологи называют это "эмпатией". Например, тому, кто не испытывает влечения к особям своего пола, трудно понять чело-

века, имеющего такие чувства. Тем более трудно понять любовь к предмету среднего рода: сам русский язык как будто позаботился о том, чтобы никто не мог любить начальство, и многие русские мыслители горько жаловались на такой недостаток государственных инстинктов. В России не любили начальства испокон веку, задолго до проникновения зловредных иностранных влияний; не любили по той серьёзной причине, что начальство было не выбранным, а навязанным, что интересы этого начальства были враждебны интересам народа. Барина не любили из-за крепостных повинностей, царя старались надуть при уплате налогов и рекрутском наборе, а по возможности от начальства старались подальше сбежать, от чего и повелись истинно русские эмигранты, казаки и любезные нашему автору раскольники.

Любовь к начальству, вовсе не бывшая народной добродетелью русских, вполне закономерно не была присуща нашей интеллигенции. Вопреки тому, что писали авторы "Вех" и другие ренегаты радикальных партий, русская интеллигенция была плоть от плоти русского народа и выражала его подлинные интересы. Выражала даже в том случае, если народ ещё не понимал своих интересов, и в этом не было ничего дурного. Те, кто идёт впереди своего народа, вовсе не обязаны разделять его понятия, и мало пользы от них народу, если они пытаются этим понятиям подражать. Те, кто оказался впереди своего народа, не должны его принуждать, но должны просвещать его. А для этого они должны выработать представления, не только не совпадающие, но часто и недоступные народу в его исторически сложившемся состоянии. Короленко изобразил в одном из своих очерков реакцию народа на солнечное затмение и на экспедицию, прибывшую наблюдать это затмение. Точно так же, как не обязательно для интеллигенции разделять астрономические понятия своего народа, ей нет надобности следовать его политическим понятиям и многим его привычкам. Кроме революционеров, которых наш автор ненавидит самой подлинной ненавистью, ненавистью непонимания, была ещё гораздо более многочисленная "мирная" интеллигенция — учителя, земские деятели, врачи. Все они выражали понятия, мало доступные народу, и наталкивались на сопротивление народной массы. Напротив, угнетатели русского народа охотно прикрывались народными понятиями, для чего и служила знаменитая формула графа Уварова: "Самодержавие, православие и народность".

Почтение к начальству никогда не было свойственно русской интеллигенции, правильно понимавшей себя как передовую часть сво-

его народа. Такое почтение присуще было паразитам народа — чиновникам, видевшим в себе часть государственного аппарата и не способным к независимому труду. Даже в наши дни, после долгих десятилетий унижения, очень немногие из наших учёных готовы открыто признаться в почтении и повиновении всякому начальству. Даже те, кто никогда не противился наличному начальству, старательно отмежёвываются от власти, не рассматривая её как моральный авторитет.

Шафаревич принадлежит к числу немногих людей, уважающих любую наличную власть. Конечно, всегда было много людей, избегающих столкновения с властью, но эти обыкновенные представители нашего мещанства не претендуют на теоретические обобщения, а попросту применяются к обстоятельствам, о чём есть много русских пословиц. И даже такие люди не упускают случая позубоскалить насчёт власти, рассказать анекдот или другим способом выразить своё циничное отношение к общественной ситуации. Как видно из наших сказок, народ наш непочтителен до мозга костей. И в этом смысле Шафаревич, почитающий любую установленную власть, совсем не русский человек: может быть, это самое неприятное, что он должен узнать о себе.

Написанная Шафаревичем книга о социализме является необходимой предпосылкой для понимания "Русофобии". Я не буду спорить с ним по поводу социализма, потому что он понимает под социализмом совсем не то, что другие. Для него социализм — вечное свойство человеческой природы, нечто вроде первородного греха. По определению Шафаревича, социализмом называется любое вмешательство государства в экономическую жизнь, так что он зачисляет в социалисты египетских фараонов, перуанских инков, и лишь по странной непоследовательности дозволяет государству взимать налоги, содержать почту и чеканить монету. Если говорить всерьёз, то принятое им определение не позволяет ему уважать никакую власть, но он уважает все. Шафаревич крайне нелогичен, но упрям в выражении своих страстей.

Шафаревич решительно осуждает любое посягательство на власть, любую доктрину, несогласную с господствующим укладом жизни. С язычниками он был бы язычник, и если с некоторых пор не хочет быть атеистом, то, пожалуй, лишь с тех пор, как общественный климат склоняется к чему-то вроде сентиментального православия. Можно было бы подумать, что он очень уж буквально принял христианское поучение: "Нет власти, иже не от Бога". Но внимательное чтение его сочинений убеждает меня, что он очень свое-

образный христианин. Подлинный смысл поучения, конечно, в том, что все мы заслужили такую власть, какую нам послал Господь: иначе надо было бы взвалить на Бога ответственность за власть. Именно так поступает Шафаревич: он уверен, что Господь всегда посылает нам правильную, надлежащую власть, и не признаёт никаких исключений. Излагая в своей книге историю христианских ересей, Шафаревич всегда на стороне инквизиторов, он принимает на веру давно опровергнутые историками напраслины, возведённые церковью на еретиков. Его не смущает то, что в этих процессах признания вырывались пытками. Замечательно, что он поддерживает все, без исключения, судебные дела католической церкви, от чего отшатнулся бы даже православный богослов. Каждый раз, когда независимый ум оспаривает принятый авторитет, наш автор знает, кто прав: права всегда власть.

Это напоминает мне замечательный эпизод из русской истории. Был у нас в прошлом веке филантроп и бессребреник, московский врач Фёдор Петрович Гааз, опекавший заключённых и хлопотавший обо всех обиженных, прибегая к содействию влиятельных лиц. Одним из таких лиц был митрополит Филарет, представлявший в то время столь же безусловное начальстволюбие, что и наш современник Шафаревич. И вот, когда доктор Гааз ещё раз явился к митрополиту с жалобой, что какой-то узник неправильно осуждён, тот ему досадливо возразил: "И все-то у вас, Фёдор Петрович, неправильно осуждены! Когда же это бывает, чтобы суд вынес неправильный приговор? Приговоры всегда правильны". "Опомнитесь! — воскликнул в ужасе доктор Гааз, — Вы забыли Христа!" Митрополит склонил голову, прикрыл рукой глаза и, помолчав, попросил прощения. Он не мог поступить иначе: митрополит был безжалостен, но умен.

Я не думаю, чтобы наш современник Шафаревич смутился, припомнив какой-нибудь судебный процесс. Вероятно, в процессе Иисуса Христа все формальности были соблюдены и, конечно, состав преступления был налицо: ведь Иисус не отрицал, что он Мессия, то есть, по толкованию Пилата, царь иудейский. Шафаревич решается оспаривать судебные приговоры лишь в тех случаях, когда власть проявляла слабость, уступая общественному мнению. Но в этом случае всё было в порядке: толпа еврейских Шафаревичей кричала "Распни его", и ничто не мешало исполнить законный приговор.

В "Русофобии" есть место, свидетельствующее о почти невероятном легковерии Шафаревича в делах, где замешан государственный авторитет. Обрушиваясь на интеллигенцию всех времён, он пи-

шет: "Такая очень специфическая деятельность по «направлению общественного мнения» сложилась, по-видимому, уже в XVIII веке и была описана Кошеном. Она включает, например, колоссальную, но кратковременную концентрацию общественного мнения на некоторых событиях или людях, чаще всего обличениях некоторых сторон общественной жизни — от процесса Каласа, когда чудовищная несправедливость приговора, разоблачённая Вольтером, потрясла Европу (и про который историки заверяют, что никакой судебной ошибки вообще не было), до дела Дрейфуса или Бейлиса. Или фабрикацию и поддержание авторитетов, основывающихся исключительно на силе гипноза". Этот текст заслуживает комментария. Я не знаю, кто из историков "заверяет, что в деле Каласа не было вообще судебной ошибки"; в этом деле у больного, немощного отца было вырвано пытками признание, будто он повесил (в одиночку!) своего молодого и здорового сына за то, что тот обратился в католичество. Отец Калас был казнён колесованием; Вольтер вступился за память этого мученика и за других членов семьи. Весь ход процесса свидетельствует о религиозном фанатизме, обращённом против протестантской семьи; но можно ли вообще говорить, что здесь "не было судебной ошибки", если приговор вынесен по признанию, полученному под пыткой? Как и во всех подобных случаях, описанных в его книге, Шафаревич всецело на стороне государства, признает за ним право применять пытки и соглашается с приговорами, вытекающими из такой процедуры. Трудно представить себе историка или юриста, стоящего в наше время на этой позиции, но математик двадцатого века уже не видит в пытках ничего особенного! Я не говорю здесь о сострадании: сострадания Шафаревич нацело лишён. Я хотел бы привлечь внимание к тому, как изощрённый точной наукой ум впадает в средневековые шаблоны мышления. Не об этом ли думал Бердяев, когда сулил нам новое средневековье?

Но это ещё не всё. Сочувственно сославшись на историков, одобривших суд над Каласом, Шафаревич в той же фразе говорит о деле Дрейфуса и деле Бейлиса, а в заключение подчёркивает, что во всех этих случаях речь идёт о "фабрикации и поддержании авторитетов, основывающихся исключительно на силе гипноза". Ясно, что он хочет этим сказать: в двух последних делах, как и в деле Каласа, могло не быть никаких судебных ошибок, но обвиняемые были в конечном счёте оправданы благодаря тщательно сфабрикованной кампании в их защиту. Не думаю, что слегка прикрытая мысль Шафаревича допускает другое истолкование. Если бы он

стал его оспаривать, то контекст, в котором говорится о деле Дрейфуса и деле Бейлиса, надо было бы считать инсинуацией, то есть недобросовестным намёком понимающему читателю. Не исключена возможность, что именно в поисках такого читателя Шафаревич избрал этот журнал.

Содержание двух скандальных дел, о которых здесь идёт речь, хорошо известно. Первое из них, во Франции, было спровоцировано против офицера-еврея, обвинённого в государственной измене; во втором деле, всколыхнувшем Россию, еврей был обвинён в ритуальном употреблении детской крови. Отношение Шафаревича к этим процессам не вызывает сомнения: если бы он допускал, что обвиняемые были невиновны, то простая порядочность не дала бы ему поставить имена Дрейфуса и Бейлиса рядом с именем Каласа, тут же отметив, что приговор Каласу был справедлив. Я думаю, что в этом смысле Шафаревич вполне порядочен: он в самом деле верит в обвинения, предъявленные во всех трёх процессах. Не допускаю также, чтобы он легкомысленно писал о неизвестных ему предметах: как видно из его книги, он читал множество исторических источников, и я не сомневаюсь, что он читал также документы о двух последних процессах, подробно опубликованные в русской печати.

Здесь нет никакого противоречия. Да, он читал все эти документы и прилагал к ним свои критические способности; и вот что из этого вышло. Если это покажется вам невероятным, уважаемый читатель, то вы не знаете, что такое учёный-специалист. Ведь вы не удивились бы, если бы к этим заключениям пришёл заурядный обыватель, какой-нибудь отставной чиновник, углубившийся на досуге в старые книги, или малограмотный самоучка, желающий посрамить дипломированных учёных? Вы нашли бы их заблуждения понятными, даже простительными, но вы не хотите допустить, что такую же способность суждения может проявить учёный-специалист. Вы слишком уважаете специалистов, и как раз в этом пункте я с вами расхожусь.

Как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу. Это значит, что специалист — человек односторонний; это человек, научившийся какому-нибудь ремеслу и зарабатывающий себе на жизнь этим ремеслом. Нельзя требовать, чтобы искусный ремесленник, даже превосходящий в своём деле многих других, непременно обладал моральной чувствительностью и широким образованием, тем более — понимал что-нибудь в философии и в истории. Я думаю, даже простой здравый смысл не обязательно проявляется вне ремесла.

Печальным примером может служить сам Ньютон, занявшийся в старости библейской хронологией, то есть пытавшийся установить по тексту Библии точное время описываемых там событий. В этом исследовании, воспроизведённом в его собрании сочинений, Ньютон никоим образом не проявил присущих ему критических способностей, а ударился в фантастические построения, нисколько не лучшие, чем писания бесчисленных богословов, обсуждавших этот предмет. Что можно сказать об этом сочинении? Только одно: что Ньютон занялся не своим делом и провалился.

Вот другой, в некотором смысле дополнительный пример. Гёте считал главным делом своей жизни вовсе не поэзию, а опровержение оптики Ньютона. Он написал об этом целые тома, вошедшие в собрание его сочинений, и посвятил своей теории света прекрасные стихи, но прав был все-таки Ньютон. Поэт занялся не своим делом и провалился.

Издатели журнала "Наш современник" могут извлечь отсюда полезный урок. Конечно, они уважают Шафаревича, потому что он член-корреспондент, но ведь Гёте и Ньютон достигли в своё время ещё более важных чинов: один из них был министром, другой — президентом Академии наук.

По древней пословице, человеку свойственно ошибаться, и все люди ошибались, особенно в тех случаях, когда брались не за своё дело. Ошибки великих людей имели иногда важные последствия. Шафаревич вовсе не великий человек, и я привожу великие имена лишь для того, чтобы предостеречь читателя от чрезмерного доверия к авторитетам.

Всё же общая способность людей ошибаться не исчерпывает вопроса: остаётся нечто очень важное, особо касающееся России. Дело в том, что в России очень редко встречался учёный-ремесленник, специалист в том смысле, как его обессмертил Козьма Прутков. По историческим причинам, а, может быть, и по таинственным свойствам русской души, учёный был у нас непременно интеллигент.

Как я уже сказал, русские интеллигенты прежде всего заботились о благе народа, понимая это благо совсем не так, как Шафаревич. Но, кроме того, от интеллигента требовалась ещё гуманность и культура, а также некоторая гибкость ума: ведь корень этого слова происходит от латинского слова "интеллект". Романист Боборыкин произвёл от того же корня слово "интеллигенция", означающее целый общественный слой. Это было очень русское, особенное явление, так что англичане и французы не смогли перевести его название и передают его латинскими буквами, как оно звучит по-

русски. Так вот, к этому явлению Шафаревич уже не имеет отношения: он, конечно, учёный в западном смысле слова, но уже не русский интеллигент.

Прежде всего, у него нет настоящего образования: он читает книги, как малограмотный человек. Мы ещё не раз в этом убедимся. Но, кроме того, он откровенный реакционер, а в России никогда не было реакционной интеллигенции: наша интеллигенция всегда была радикальной, а реакция у нас была совсем не интеллигентной. Это верно и в наши дни, хотя интеллигентов у нас осталось немного. Наше общество начинает теперь сознавать, что не всякий человек с дипломом — интеллигент.

Меня не удивляет, что идеология Шафаревича — нерусского происхождения. Первые славянофилы, несравненно превосходившие его и в моральном, и в культурном отношении, опирались на немецких мыслителей — Фихте, Шеллинга и Гегеля, а общественным образцом их был немецкий Тугендбунд, боровшийся с французским влиянием для спасения коренных национальных начал. Точно так же русофил Шафаревич нашёл себе иностранного учителя: это француз по имени Огюстен Кошен. Известно, кто были Фихте, Шеллинг и Гегель, но кто такой этот Кошен? Я напрасно искал его у Брокгауза и Ефрона, не знает его Гранат, в советских энциклопедиях его тоже нет. Принявшись за французские словари, я обнаружил в Большом Лярусе трёх других Кошенов и наконец нашёл требуемого автора у Робера, во Всеобщем словаре собственных имён. О нём сказано следующее: “Огюстен Кошен, сын предыдущего (нам не важно, кто был его отец). Французский историк (1876–1916). Оставил исследования о французской революции, где подчёркиваются её идеологические источники и в особенности роль, которую играли в то время политические общества (“Политические общества и революция в Бретани”, 1926)”.

Я объясню дальше, что нашёл у Кошена наш национальный идеолог. Но сразу возникает вопрос: почему именно Кошен? Ту же премудрость Шафаревич мог бы найти у куда более известных писателей: это обыкновенный консерватизм. Надо полагать, ему попало в руки какое-то сочинение Кошена и очень понравилось — мы дальше увидим, почему. И вот Шафаревич воздвигает на Кошене всё здание своей доктрины. Это выглядит столь же курьёзно, как если бы какой-нибудь француз впервые познакомился с позитивизмом

из попавшей ему в руки русской книжки и объявил, что его учитель — русский мыслитель Петр Дмитриевич Боборыкин. Причина такой несуразности опять-таки неинтеллигентность. Интеллигентный читатель не попал бы впросак, приняв за важного мыслителя литературную букашку. У французов есть, конечно, своё "собранье насекомых", и этот Кошен не что иное, как французский жук.

Доктрина, которую Шафаревич нашёл у Кошена, стара как мир: это "органическая" теория общества. Её объяснял когда-то римлянам Менений Агриппа, предостерегавший тогдашних диссидентов от опасных новшеств.

"Государство, — толковал Агриппа, — можно уподобить человеческому телу, в коем все части имеют своё назначение: голова мыслит, желудок переваривает пищу, руки и ноги работают, и так далее. Точно так же, — поучал он, — все сословия имеют свои освящённые временем функции, в которых они незаменимы".

В переводе с латыни это значит: всяк сверчок знай свой шесток. Вот и вся консервативная установка. Она всегда присуща была тем, кому было что охранять, богатым и знатным. Нам, с нашим нынешним богатством и знатностью, она идёт примерно так же, как кошке шляпа. Впрочем, это сравнение принадлежит, кажется, поэту Гейне, бесспорно представляющему так называемый "Малый Народ".

"Малый Народ" — это и есть термин, который привлёк Шафаревича к неизвестному иностранцу по имени Кошен. Кошен не имел в виду какой-нибудь конкретный народ в обычном смысле этого слова, и никакой народ не считал особенно зловредным. Он был всего лишь крайний консерватор, то есть считал любое установленное учреждение незыблемым и священным. Всякое посягательство на общепринятый порядок такой человек рассматривает как непозволительную дерзость, влекущую за собой пагубные последствия. С его точки зрения существующий строй — лучший из возможных, и только беспочвенные отщепенцы могут его критиковать. Короче говоря, консерватор отвергает "активное" отношение к жизни, полагая, что всё нужное устроится само собой, вырастет на здоровом теле нации. И поскольку тело это по определению считается здоровым, то одобряется всё, что на нём растёт, раковая опухоль, горб или просто чирей.

Я не хочу этим сказать, что Менений Агриппа был совсем неправ, и не утверждаю, что в консерватизме нет ничего полезного. Аристократия сыграла в истории свою роль, и если нам смешна уже аристократия крови, то аристократия духа должна быть возрождена. В стремлении сохранить то, что заслуживает сохранения,

есть полезный здравый смысл; более того, нередко имеет смысл обратиться к прошлому в поисках нужных идей, так что кое в чём я не только консерватор, но даже ретроград. Шафаревич тоже ретроград, он тоже обращается к прошлому, но ищет в нём совсем другое. Что же он ищет в прошлом России? На странице 190 своей статьи он жалуется — огромными буквами, вылезающими из текста — на "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ". К сожалению, автор не решается прямо и откровенно объяснить, что он имеет в виду, или не умеет это сделать, или, наконец, редакция журнала считает такую откровенность неудобной. Поэтому я соберу сейчас несколько мыслей Шафаревича, из которых можно безошибочно вывести его взгляд. На странице 191 читаем:

"Много столетий складывается духовный облик народа, вырабатываются связанные друг с другом навыки общественного существования — и только опираясь на них, историческая эволюция может создать устойчивые естественные для этого народа формы жизни". Автор не объясняет, какие формы жизни имеются в виду, но это сделал за него граф Уваров: самодержавие, православие и народность. Дальше он выражает своё отношение к революции:

"...всегда можно найти выход, не порывающий с исторической традицией, и только такой путь приведёт к жизненному, устойчивому решению, так как он опирается на мудрость многими веками выраставших, проверявшихся, отбиравшихся и пришлифовывавшихся друг к другу черт и навыков народного организма".

Это опять не очень конкретно и в смысле содержания не особенно оригинально. В точности то же говорил уже упомянутый Агриппа. Если попытаться вложить в предыдущее рассуждение какой-то русский смысл, то мудрость должен был проявить царь Николай II, которого теперь — кажется, неправомочно — заграничная церковь сделала православным святым. Следуя классическому образцу, можно подсчитать, что в нём была, как-никак, одна двести пятьдесят шестая доля русской крови. Но единственным основанием для канонизации этого немудрого царя оказывается его мученическая кончина. Упаси Боже смеяться над этим, но ведь у святого должна быть и святая жизнь? Увы, последний наш царь больше всего любил выпивку и сальные анекдоты, которые рассказывал ему военный министр Сухомлинов. Эти его привязанности стоили жизни паре миллионов русских солдат, потому что всё-таки надо было лучше выбирать министров во время войны. Все дела решала за царя уже совсем не русская царица, впрочем, нет, скорее стопроцентно

русский Распутин. Эта система оказалась неспособной к "органическому развитию". Если и была в ней какая-то "эволюция" (что за дарвиновский жаргон в ритуальном заклинании!), то она происходила в Государственной Думе, а я полагаю, что Шафаревич не одобряет это заимствованное с Запада учреждение, навязанное царю первой русской революцией. Причину "органического развития" объяснил ещё раньше более умный царь, Александр II, откровенно сказавший дворянам: "Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, пока оно само начнёт отменяться снизу". Короче говоря, под лежачий камень вода не течёт.

Органический строй русской жизни воплощала механически скопированная с западных образцов русская бюрократия, втянувшая Россию в две ненужных ей войны и в конечном счёте спровоцировавшая три революции, освещённые пламенем полыхавших барских усадеб. Можно, конечно, утверждать, что всё это устроили агитаторы-инородцы, такие же инородцы, как Разин и Пугачев. Поистине, наши нынешние консерваторы не знают русской истории!

Кто знает историю, тот не предлагает слишком простых решений. Тем же, кто заранее принял решение, полезнее истории не знать. Шафаревич и его единомышленники, образующие у нас не столь влиятельный, но весьма шумный общественный слой, объясняют все бедствия России разрушительной деятельностью инородцев. Отсюда простой рецепт: для устранения всех наших хозяйственных и культурных трудностей достаточно этих инородцев удалить. Кажется удивительным, что такой взгляд разделяет не только господин Васильев, недавно показанный по телевидению, но и люди, что-то сделавшие на своём веку, например, писатель Белов и математик Шафаревич. Белов настойчиво повторяет, что нам незачем заимствовать западную технику и организацию производства, а надо использовать наших собственных специалистов; правда, он не объясняет, как это делать, но надо полагать, что следует вернуться к испытанным лозунгам: "догнать и перегнать", "перегнать, не догоняя", или, наконец, попросту объявить, что мы уже их перегнали, провозгласив русский приоритет. Более конкретные предложения делают некоторые русофилы по вычислительным машинам, рекомендующие изгнать из машинных языков всё написанное латинскими буквами, то есть отказаться от международной системы команд, использующей английский язык. После этого мы остались бы в гордом одиночестве, изобретая каждый раз новый отечественный велосипед. Можно было бы подумать, что и Шафаревич сделает шаг в том же направлении, например, предложит

отказаться от применения в математических формулах латинского и греческого алфавита, заменив их кириллицей — обычной или, ещё лучше, церковно-славянской. Но этого шага он не делает, и я подозреваю, что тут замешан его личный интерес. Русофилам-программистам терять нечего, а Шафаревич хочет, чтобы иностранцы, сделавшие ему научную репутацию, всё-таки читали его статьи. Я имею в виду, конечно, статьи с формулами, потому что "Русофобию" им и так переведут.

Как видно, читая Кошена, Шафаревич наткнулся на поразивший его термин "Малый Народ" и нашёл в нём волшебное решение волновавших его проблем. Думаю, волнуют его не только общественные, но и глубоко личные трудности, о которых не решаюсь догадываться. В конце "Русофобии" сам он намекает на трудности, заставлявшие его всю жизнь молчать: "есть, — говорит он, — более скромная задача, которую мы можем решить только индивидуально: СКАЗАТЬ ПРАВДУ, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова. Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать".

Правда эта, правда очень большими буквами, состоит в том, что Шафаревич не любит евреев. Долгие годы он не решался высказать эту правду, и не только потому, что боялся неприятностей по службе. Я вижу в его робости более серьёзный мотив. Дело в том, что он находился всю жизнь в интеллигентской среде, и ему приходилось делать вид, что и он интеллигент. Недостаток образования можно было скрыть, благоразумно помолчав, но прежде всего надо было скрывать свой антисемитизм. У русских интеллигентов антисемитизм располагался на шкале нравственных оценок где-то между доносительством и венерической болезнью, причём ближе к первому, чем к последней.

Проявив свою господствующую страсть, Шафаревич сразу же потерял бы уважение своих коллег и здесь, и за рубежом. Но теперь, когда его жизненный путь близится к концу, ему всё равно, что скажут о нём коллеги; а может быть, и коллеги уже не те? Вокруг молодая поросль дипломированных специалистов, интеллигентская традиция, по-видимому, угасает, и можно попытаться заменить её другой традицией, не столь русской, но всё-таки время от времени засорявшей русскую землю. Каждая страница "Русофобии" выражает радостное возбуждение человека, сбросившего с себя ненавистную личину интеллигента, влившегося в толпу своих единомышленников, можно сказать, единоверцев, издающих боевой клич: "Die Juden!". Клич, раздававшийся с других трибун, на

другом языке. Я недаром написал его по-немецки: всё-таки антисемитизм в России привозной продукт. В глубине России его нет, и ему всегда нужен был покровительственный тариф.

В этом всё дело, здесь движущая пружина "Русофобии". Конечно, Шафаревич не любит и других инородцев. Но по-настоящему беспокоят его не татарские мурзы, не остзейские бароны и не французики из Бордо, делавшие русских баричей французиками из Москвы. Всё это было и быльём поросло. Шафаревичу нужен живой, осязаемый козёл отпущения, чтобы возложить на него все несчастья России, — и, конечно, свои. Таким козлом отпущения может быть только еврей. Вот почему он так обрадовался, обнаружив у Кошена злополучный термин "Малый Народ". Кошен имеет в виду совсем другое: просветителей XVIII века, якобинцев, революционеров, то есть активное меньшинство, противостоявшее, как он полагает, массе послушных обывателей, не желавших никаких перемен. "Малый Народ" Кошена — это те же французы, но Шафаревич, ухватившись за термин, тут же вкладывает в него другой смысл. Он сопоставляет этот термин с некоторым известным ему малым народом, замечает, что этот малый народ тоже причастен ко всяким революциям, вообще предосудительно активен на общественной сцене, — и его теоретический взгляд готов! Так просто, скажете вы? Да, так просто, потому что он действует здесь не с логикой учёного, а с наивной логикой неграмотного человека.

Раскольники, недовольные Петром Великим, придумали, будто он незаконный сын царя Алексея Михайловича, и звали его "царь Петрушка"; для такого допущения были, впрочем, и некоторые основания. Но потом, раз уж незаконный сын, то может быть самого странного происхождения, и вот они стали говорить, что он "жидовин из колена данова". Как видите, цепь умозаключений начинается с подозрительной нравственности царицы Натальи Кирилловны и кончается еврейским происхождением. Впрочем, у раскольников отчуждение от евреев было чисто религиозным. Другой пример примитивного мышления я наблюдал уже в наше время. В своё время, после известного судебного процесса у нас гостила американка Анджела Девис; и немного спустя один раскольник рассказал мне о явлении "Анджелы Девы". Слово имеет силу над простым умом, а вне своей науки Шафаревич совсем прост. Но русская пословица, как вы знаете, невысоко ценит простоту, а люди, выдвигающие Шафаревича на политическую сцену, вовсе не просты: они защищают свои редакционные кресла, а главное, свои гарантированные тиражи.

Сам Шафаревич, как я уверен, не преследует в своей статье никакой корысти. Он вступил на путь, где его ждут одни насмешки, и он это знает. В его наивности есть нечто трогательное, а его неопытность в журнальной полемике вызывает у меня нечто вроде сострадания: я мог бы его пожалеть, не будь он так сухо и бессознательно жесток. В позиции этого старого человека чувствуется обиженный мальчик, чей секрет мог бы раскрыть презираемый им Фрейд. Но, видите ли, обиженные мальчики причинили в этом мире слишком много зла. Два самых известных диктатора нашего века имели врождённые недостатки, мешавшие им появляться на пляже или в бане. Нет, я предпочитаю обыкновенных мальчиков, из которых вырастают здоровые люди, без грызущих подозрений и неистовых маний. При всём моем гуманном настроении — я на стороне здоровых людей, и бывают времена, когда здоровых надо защищать от больных.

Теперь перейду к тому, что наш автор называет “русофобией”. Слово это составлено с помощью греческого существительного, означающего “страх” или “ужас”, но в сочетании с именем какой-нибудь нации означает ненависть к этой нации: например, “англофобия” означает ненависть к англичанам. Как видно из текста статьи, автор понимает придуманный им термин именно в этом смысле: ненависть к русским. Кто же, по мнению Шафаревича, ненавидит русских, и почему это его, Шафаревича, беспокоит?

Прежде всего бросается в глаза, что Шафаревича совсем не интересует мнение всех нерусских народов нашего государства, составляющих половину его населения. Сейчас уже невозможно поддерживать иллюзию, будто здесь нет никаких проблем, и от этих проблем зависит будущее страны. Но Шафаревича не беспокоят чувства народных масс: он занимается только пишущей братией. Точнее, его интересует лишь “русофобия” нескольких публицистов-евреев и некоторых русских, пишущих в том же духе, — сейчас будет видно, в каком. Напрасно было бы искать у него что-нибудь о “русофобии” в еврейском народе или в самом русском народе. Он книжник, и судить о нём надо по тому, что он прочёл и как понял прочитанное. Так мы и будем о нём судить.

Шафаревич выбирает, главным образом, малозначительных публицистов, и, судя по приведённым в его статье цитатам, большинством из них вполне можно было бы пренебречь. Некоторых из них я

читал, других — нет; например, московский писатель Померанц кажется мне добросовестным автором демократического направления, а эмигрант Шрагин — любителем повторять общие места. Почти все они — евреи, и этот факт Шафаревич каждый раз тщательно отмечает, проявляя таким образом свою господствующую страсть. Есть, впрочем, и русские, мнения которых ему не нравятся, например, религиозный писатель Краснов-Левитин или неисправимый марксист Плющ. В чём же состоят эти мнения, в коих выражается "русофобия"? Какие обиды и оскорбления наносят эти люди русскому народу? Шафаревич сам отвечает на это, перечисляя на странице 168 признаки "русофобии". Он выделяет их жирным шрифтом, так что мы имеем здесь нечто вроде определения "русофобии". Я выпишу всё это определение, но разберу его по частям, чтобы читатель не должен был держать в памяти весь этот длинный текст.

Самое страшное оскорбление России приводится в конце:

"Некоторые же авторы этого направления высказывают бескомпромиссно-пессимистическую точку зрения, исключающую для русских надежду на какое-либо осмысленное существование: истории у них вообще никогда не было, имело место лишь «бытие вне истории», народ оказался мнимой величиной, русские только продемонстрировали свою историческую импотенцию, Россия обречена на скорый распад и уничтожение". Кто же писатели, высказавшие этот ужасный взгляд? Надо полагать, их зовут Шрагин, Янов и Померанц? Но тогда они бессовестные плагиаторы, и Шафаревич удивительным образом упускает возможность обличить их в краже литературной собственности. Как говорит древняя пословица, льва узнают по когтям: ведь это Чаадаев, это первое "Философическое письмо"! Тот самый Чаадаев, кому Пушкин посвятил свои бессмертные стихи, кто "в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес"! Так вот кто был главный, самый первый русофоб! Но почему же наш автор ничего об этом не говорит? Почему он заставляет нас верить, что всё это придумали Шрагин, Янов и Померанц? Неужели он не знает, кому принадлежат эти бескомпромиссные, поистине безжалостные мысли о России, или знает, но предпочитает об этом умолчать? Неужели он хочет нам внушить, что эти обвинения бросили в лицо России несколько безвестных евреев? Нет, я решительно не могу допустить, что Шафаревич способен на такой грубый обман. Он и в самом деле не читал "Философического письма" или читал, но забыл. Можно представить, какое опустошение произвёл в его мышлении злополучный Кошен.

Теперь посмотрим, с чего начинается "определение русофобии":

“История России, начиная с раннего средневековья, определяет некие «архетипические» русские черты: рабская психология, отсутствие чувства собственного достоинства, нетерпение к чужому мнению, холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью.

Издревле русские полюбили сильную, жестокую власть и саму её жестокость; всю свою историю они были склонны рабски подчиняться силе. До сих пор в психике народа доминирует власть, «тоска по Хозяину»”. Как уверяет нас Шафаревич, перед нами “очень сжатое изложение основных положений, высказываемых в этих публикациях”. Какие публикации здесь имеются в виду? Перед этим местом упоминаются Померанц, Амальрик, Шрагин, Янов и Пайпс. О последнем объясняется, что он на самом деле выходец из Польши по фамилии Пипес или Пипеш, так что и он вовсе не англосакс, а тоже еврей. Короче говоря, это настоящий еврейский заговор против России, но совсем не в том мрачном смысле, как его изображает Шафаревич: перед нами снова бесстыдный плагиат из русских авторов, открытое разграбление русского достояния. Эти евреи чуточку подновили свой материал, сдобрив его словечком из Юнга и кличкой “Хозяин” вместо царя, но, может быть, они и не выдавали эти мысли за свои? Ведь авторы их носят очень известные имена, так что обвиняемые, без сомнения, усвоили их в школе, затвердили наизусть, как и вы, уважаемый читатель. И они, пожалуй, не подозревают, что им могут поставить в вину этот классический репертуар.

Подлинные русофобы носят очень известные имена, это, например, Пушкин, Лермонтов и Щедрин. Надо ли приводить цитаты? “Немытая Россия, страна рабов, страна господ”, и так далее. “Угораздило их родиться в России с умом и талантом!” Мы уже знаем, что думал о России наш первый западник, Чаадаев. А помните ли, что сказал о ней Хомяков, наш первый славянофил?

...В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена,
Бесстыдной лести, лжи тлетворной
И лени мёртвой и позорной
И всякой мерзости полна...

Да, но как же этого не заметил Шафаревич? Он видит в своих евреях не убогих подражателей, а оригинальных мыслителей, направивших против России всю силу своих смертоносных идей. Трепещи, Россия! Но нет, воспряньте духом, россияне, Шафаревич вас

защитит. Он ещё не всё опубликовал, у него есть научный аппарат, опровергающий всю эту клевету. Так написано в конце статьи. Как только он опубликует свой научный аппарат, все плохо думавшие о России будут посрамлены — и Пушкин, и Лермонтов, и Щедрин.

Но я вынужден продолжить длинную цитату, определяющую, что называется русофобией:

“Параллельно русскую историю, ещё с XV века, пронизывают мечтания о какой-то роли или миссии России в мире, желание чему-то научить других, указать какой-то новый путь или спасти мир. Это «русский мессианизм» (а проще — «вселенская русская спесь»), начало которой авторы видят в концепции «Москва — Третий Рим», высказанной в XVI веке, а современную стадию — в идее всемирной социалистической революции, начатой Россией”.

Что ж, авторам-русофобам не нравится русский мессианизм. Как видно, их русофобия состоит здесь в неуважении к этому мессианизму, а Шафаревич предлагает его уважать. Это значит, что русская экспансия, для которой и был выдуман “Третий Рим”, нравится ему под знаменем православной монархии, но не нравится, когда над нею развевается красный флаг. Должен сказать, что здесь я не согласен ни с ним, ни с его противниками. Мечта о мировой революции, о всемирном братстве народов под знаменем свободного труда была несравненно благороднее, чем феодальные расчёты великих князей. Русская мессианская идея для меня не в прошлом, а в будущем. Быть может, России суждено спасти этот мир, пусть же она спасёт его силой своего духа. А журналистов, не верующих в Россию, мы великодушно простим. Право же, в наши дни верить в Россию трудно. Мы с Шафаревичем в неё верим, но нельзя же этого требовать от всех.

Теперь я выпишу определение русофобии до конца:

“В результате Россия всё время оказывается во власти деспотических режимов, кровавых катаклизмов. Доказательство — эпохи Грозного, Петра I, Сталина.

Но причину своих несчастий русские понять не в состоянии. Относясь подозрительно и враждебно ко всему чужеродному, они склонны винить в своих бедах кого угодно: татар, греков, немцев, евреев... только не самих себя.

Революция 1917 года закономерно вытекает из всей русской истории. По существу, она не была марксистской, марксизм был русскими извращён, переиначен и использован для восстановления старых русских традиций сильной власти. Жестокости революционной эпохи и сталинского периода объясняются особенностями русского

национального характера. Сталин был очень национальным, очень русским явлением, его политика — это прямое продолжение варварской истории России. Сталинизм прослеживается в русской истории по крайней мере на четыре века назад.

Та же тенденция продолжает сказываться и сейчас. Освобождаясь от чуждой и непонятной ей европеизированной культуры, страна становится всё более похожей па Московское царство. Главная опасность, нависшая сейчас над нашей страной, — возрождающиеся попытки найти какой-то собственный, самобытный путь развития — это проявление исконного «русского мессианнзма». Такая попытка неизбежно повлечёт за собой подъем русского национализма, возрождение сталинизма и волну антисемитизма. Она смертельно опасна не только для народов СССР, но и для всего человечества. Единственное спасение заключается в осознании гибельного характера этих тенденций, в искоренении их и построении общества по точному образцу современных западных демократий".

Как видите, здесь несколько разных философий, но всё это слишком знакомо каждому, кто читал сочинения русских эмигрантов — русских по происхождению и писавших гораздо раньше, чем появились Янов, Шрагин и Померанц. Всё, что касается "русского национального характера" и его продолжения в большевизме, — это набившие оскомину рассуждения всевозможных евразийцев и сменовеховцев, и если вы, читатель, их не знаете, то, право же, не много потеряли. Умнее об этом писал Бердяев, его уж стоит прочесть. И вот, Шафаревич кипятится из-за этого литературного старья, приписывая его тем же евреям! Нет, он ничего не читал, а если читал, то не помнит прочитанного. Что с него возьмёшь?

Последняя часть "жирного шрифта" отличается от предыдущей в том отношении, что в качестве лекарства от всех несчастий России в ней рекомендуется демократия по западному образцу. Но и этот взгляд отнюдь не нов: среди русских эмигрантов были ведь не только мессианисты и национал-большевики, но также либералы, прежде всего кадеты во главе с Милюковым. Они как раз полагали, что несчастья России не обязательно происходят от особенных свойств русской души, но в значительной мере от неразвитости механизмов общественной жизни. Правда, русские либералы не так уж прямолинейно хотели подражать западным образцам, они понимали своеобразие России и пытались его учесть. Разумеется, их подход не решает конечных, если можно так выразиться, эсхатологических проблем России, но имеет самое прямое отношение к тем прозаическим проблемам, от которых зависит наша материальная жизнь.

Презрение к этому подходу в наши дни особенно неуместно: теперь уже все понимают, что без свободы не может быть и хозяйственного благополучия, стало быть, нам не обойтись без представительного правления. Я не хочу сказать, что это моя конечная цель: даже свобода — не самая глубокая цель бытия. Но мы с Шафаревичем расходимся уже здесь: он не любит свободы, он любит авторитет.

Итак, "русофобия", как её определяет Шафаревич, это попросту набор общих мест из старых русских писателей, начиная с классиков и кончая эмигрантами первого поколения. Почему же он видит в этих рассуждениях особенное преступление против России и почему он приписывает это преступление нескольким современным публицистам, преимущественно евреям? На первый вопрос я отвечу в заключительной части моей статьи, а сейчас займусь вторым.

Как я уже говорил, Шафаревич не кажется мне сознательным обманщиком. Если он приписывает грех русофобии журналистам, заимствующим свои мысли у других, он, может быть, просто не знает, что эти мысли откуда-то заимствованы. Старые книги и журналы у нас трудно достать, а эмигрантские ещё трудней. Правда, Шафаревич всё-таки учёный и у него должны быть навыки работы с литературой: он никогда не стал бы думать над какой-нибудь математической задачей, не проверив, нет ли на эту тему других работ, и не стал бы приписывать первому попавшемуся автору теорему, представляющую, так сказать, математический фольклор. Но эти его навыки тотчас исчезают, как только страсти приводят его на поприще истории. Точно так же исчезают его отточенная логика, его спокойное терпение и даже его здравый смысл. Все эти свойства проявляются лишь в узкой области, как это бывает у ограниченных людей. И Шафаревич принимается поучать нашу читающую публику, рассчитывая на столь же наивный, невозделанный ум.

Но русских классиков он, без сомнения, читал и с их русофобией хорошо знаком. И вот, встречая те же мысли у беспокоящих его журналистов, он их почему-то не узнает. Повторяю, я уверен, что Шафаревич не способен на сознательный обман. Он просто не сопоставляет эти мысли, подсознательно держит их в разных местах своего мыслительного аппарата. Когда он встречает эти мысли у старых авторов, он пропускает их без внимания, но как только они попадаются ему в новых журналах, он приходит в ярость. Такая беспомощность мышления свидетельствует о могуществе подсознания, навязывающего человеку свои установки, даже если этот человек — выдающийся учёный. Читатель уже понял, в чём состоит его установка: что русскому можно, то еврею нельзя.

Я думаю об этих беднягах-журналистах, сначала гонимых на родине по пятому пункту, потом рассеянных по свету, обивающих пороги журналов и без конца толкующих о России. У меня с ними мало общего, даже мало общих идей, но есть в них нечто, вызывающее во мне живое чувство. У Шафаревича этого чувства нет. Он ценит своё положение, он старался стать академиком, и он почти академик. Его особые взгляды не причинили ему особых неприятностей, а в некотором смысле пришлись ко двору: даже книга о социализме вышла не раньше, чем надо, а как раз в подходящий момент. Он из тех, кто всегда держит свой товар в сухом месте: это пословица, но, слава Богу, не русская.

И вот, я представляю себе Шафаревича евреем. Да, евреем, но в столь же вельможном положении, учёным книжником в Иерусалиме, взирающим на толпу оборванцев, пришедших из Галилеи со своим босоногим пророком. Нет, он не любит униженных и угнетённых, не любит нарушителей порядка, он любит установленную власть. Религия его не от Христа, а от Каиафы.

Шафаревич уверен в том, что злые люди, ненавидящие Россию, решили ее погубить. Правда, несколько журналистов, которым он приписывает этот замысел, не так уж опасны. Ясно, что они всего лишь предлог для выражения некоторого чувства. Это чувство, овладевшее автором и внушившее ему бессвязную, лихорадочно возбуждённую статью, — не что иное как страх. Страх — всегда глубоко личное чувство, его стесняются обнаружить перед людьми. Человек, испытывающий глубокий внутренний страх, нередко выражает его как страх за что-нибудь неличное, например, за свой народ или свою страну. Посмотрим же, как представляет себе Шафаревич нынешнее положение России: "На нашем горизонте опять вырисовывается зловещий силуэт «Малого Народа». Казалось бы, наш исторический опыт должен выработать против него иммунитет, обострить наше зрение, научить различать этот образ — но боюсь, что не научил. И понятно почему: была разорвана связь поколений, опыт не передавался от одних к другим. Вот и сейчас мы под угрозой, что наш опыт не станет известен следующему поколению.

Зная роль, которую «Малый Народ» играл в истории, можно представить себе, чем чревато его новое явление: реализуются столь отчётливо провозглашённые идеалы — утверждение психологии «перемещённого лица», жизни без корней, «хождение по воде», то

есть ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ. И в то же время при первой возможности — безоглядно-решительное манипулирование народной судьбой. А в результате — новая и последняя катастрофа, после которой от нашего народа, вероятно, уже ничего не останется".

По-видимому, "зловещий силуэт «Малого Народа»" — это и есть те несколько журналистов, и если верить Шафаревичу, они не только обличают Россию, но и готовы к практическим действиям против неё:

"Каждый из тех, кого мы столько раз цитировали, от Амальрика до Янова, имеет право ненавидеть и презирать Россию, но они сверх этого хотят определить её судьбу, составляют для неё планы и готовы взять на себя их исполнение".

Поистине, у страха глаза велики. Конечно, все эти писатели, от Амальрика до Янова, ненавидят и презирают Россию не больше, чем их предшественники, выражавшие те же мысли, но с бóльшим талантом. Каждый добросовестный читатель увидит в их сочинениях безмерную, отчаянную, иногда безрассудную и опрометчивую любовь к России, — я сказал бы, все они любят Россию на русский лад. Но что касается планов, определяющих судьбу России, то Шафаревич фантастически преувеличивает возможности этих бедных журналистов, и совсем уж трудно представить себе, как возьмут на себя исполнение этих планов Померанц, Янов или покойный Амальрик.

Как мы видели, "Малый Народ" ведёт войну с "Большим Народом" по тщательно составленному плану, с "отточенной техникой обработки мозгов", и так далее, с целью окончательно уничтожить этот "Большой Народ". Всё это утверждали многие до нашего автора, но никто не смог это доказать. Без сомнения, Шафаревич написал свою статью с сознательной целью доказать, наконец, эту основную теорему антисемитизма. И он доказывает существование страшного заговора против России тем, что думают Янов, Шрагин и Померанц! Гора родила мышь. Шафаревич находится в одном из тех психических состояний, когда небольшие внешние раздражители вызывают у человека непомерный, безотчётный страх. Очень часто этот страх фантастически проектируется на внешний мир, и таким образом личный тупик превращается в "общественный", например, "национальный". Психологи так и называют это явление — проекцией. В интересующем нас случае я предлагаю назвать его русоманией. Личный тупик может быть здесь подлинным, национальный же существует лишь в больном воображении.

Конечно, я говорю здесь о тех, кто и в самом деле страдает "русоманией", а не о холодных дельцах, превращающих страдания в политический капитал.

То, чего боится Шафаревич, — это знаменитый жидомасонский заговор, о котором очень серьёзно рассуждает в предыдущей статье некий Станислав Куняев. Я понимаю, что такая ссылка на контекст или на общий тон журнала может вызвать возражения, но уверен, что сам Шафаревич не отмежуется от своих предшественников. Бесспорно, он говорит о том же заговоре, и если он сомневается в невиновности Дрейфуса и Бейлиса, то с какой стати ему сомневаться в "протоколах сионских мудрецов"? Увидев Шафаревича рядом с Куняевым, милосердный Христос сказал бы: "Истинно говорю вам, он уже получил своё наказание".

Шафаревича можно было бы оставить наедине с его несчастьем. Но в нашей стране всякий учёный, даже больной и запутавшийся учёный, для многих представляет авторитет. Надеюсь, мне удалось показать, как беспомощен может быть учёный вне своего ремесла. Человеком движет подсознательный страх, и страх иногда передаётся толпе. Но не будем преувеличивать опасность "русомании". Нынешняя Россия не похожа на Германию тридцатых годов: при всей трудности наших задач подавляющее большинство нашего народа не верит в ритуалы ненависти. Наш народ, в его нынешнем тяжёлом положении, гораздо разумнее, ближе к простым истинам жизни, чем были когда-то народы, претерпевшие фашизм. Наше прошлое ужасно, но и в те времена мы верили в будущее. Мы мечтали о временах грядущих, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". И теперь, когда мы ближе к этому всемирному согласию, чем любое поколение живших до нас людей, как должны мы спасать Россию?

Россию не спасёт ненависть, её спасёт любовь.

Литературные фашисты

Учёные прошлого верили, что одинаковые причины порождают одинаковые следствия. В наше время этот тезис подвергается ограничениям. И мне не хотелось бы, чтобы некоторые аналогии, рассматриваемые в этой статье, понимались слишком широко. Конечно, у нас есть свои, русские фашисты, и производят их условия, во многом напоминающие ситуацию в Германии в начале тридцатых годов. Конечно, фашисты всех стран имеют легко узнаваемые общие черты, даже если им случается воевать друг с другом. Но эта аналогия не даёт оснований для слишком уж мрачных прогнозов: я не думаю, чтобы фашизму предстояло серьёзное будущее в нашей стране.

И всё же у нас *есть* фашисты, не только среди сброда, посещающего сборища общества "Память", но и в государственном аппарате. Не составляет исключения и та часть аппарата, которая именуется "союзом советских писателей". Разумеется, чиновников, служащих по литературной части, никоим образом нельзя назвать *русскими* писателями — разве в том смысле, что пишут они на русском языке, — и к ним невозможно применить требования, всегда предъявлявшиеся к русским писателям.

Было бы смешно толковать литературным чиновникам, что *русской* литературе присущи были независимость и гордое отстранение от начальства, нестяжание мирских благ, а главное — сочувствие всем угнетённым и униженным. Семь тысяч паразитов, составляющих упомянутый "союз писателей", основательно въелись в государственный пирог и вовсе не собираются отказываться от своей порции из-за каких-то исторических аналогий. К этой публике не может быть никаких моральных претензий, и я буду рассматривать интересующих меня персонажей просто как наблюдаемое явление, имеющее практическое значение.

Такая позиция освобождает меня от обвинений в неуважении, в грубых приёмах полемики или в личных нападках на кого-нибудь из этих лиц. Никого из членов "союза писателей" я не уважаю, никакой полемики с ними не веду, и вообще отношусь к ним точно так же, как к другим подразделениям мафии, к которой они принадлежат. Некоторые люди, случайно попавшие в это учреждение, заслуживают снисхождения, но это не относится к тем, о ком дальше пойдёт речь. Если я считаю их фашистами — в чём я убеждён

и надеюсь доказать читателю, то трудно ожидать в таком случае от меня вежливости, предполагающей некоторое равноправие оппонентов. Они люди чиновные, высокооплачиваемые, ухоженные во всех своих потребностях по высоким нормам нашего аппарата. Им ничто не угрожает от начальства, за что бы они ни "боролись", потому что "борются" они с согласия очень высокого начальства, ведомые безошибочным лакейским духом. Чего же они могут требовать от независимой критики? Говоря евангельскими словами, они уже получили свою награду.

Направление, о котором будет идти речь, лучше всего назвать "почвенным". Так называлось направление беллетристики, официально поддержанное немецким фашизмом, малозаметное в истории немецкой литературы и заслуженно забытое, но в своё время вытеснившее в Германии всю другую книжную продукцию. Произошла эта "почвенная" литература от бытописания, и зачинатели её вначале не имели сознательной политической ориентации, поскольку в Германии прошлого века это не требовалось. Писатели-почвенники любили и подробно описывали традиционный немецкий быт, преимущественно быт патриархальной немецкой деревни, и не любили современную городскую цивилизацию, разрушающую этот быт. Не любили они не только дурные, нравственно вредные явления этой цивилизации, но вообще неприязненно относились ко всему новому и "чужому", идеализируя старое и "своё". С исторической стороны это была реакция немецкого захолустья на "прогресс".

Нацисты, изображавшие из себя борцов за "немецкую культуру", тоже противопоставляли коренные немецкие нравы и обычаи "чужим" и "наносным". Своей культуры они, в сущности, не знали, так что их "почвенная" позиция выражала не *позитивное* отношение к жизни, а *негативное* — комплекс неполноценности и страх перед сложностью новых форм социального бытия. В сущности, нацисты боялись личной свободы и жаждали авторитетного руководства. Образцы такого руководства они находили в немецкой истории, где было мало свободы, но вполне достаточно начальственного авторитета.

Понятно, какую литературу они подняли на щит. Лозунг этой литературы звучал: "Кровь и почва" — чистая немецкая кровь и ручной труд на немецкой земле. Всё инородное, разумеется, отвергалось, и в качестве козла отпущения выбирался наиболее известный, повсеместно встречающийся инородный элемент — еврей. Уже очень рано, задолго до победы нацизма. Немецкая "почвенная" литература стала отдавать антисемитским душком.

Как это было замечено, одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Поражение в первой мировой войне вызвало у многих немцев состояние глубокой подавленности или, как это называют психологи, “фрустрации”, углублённое послевоенной разрухой. Мы только что пережили брежневскую эпоху “застоя”, равносильную по своим хозяйственным и моральным последствиям поражению в большой войне, с таким же безвыходным психологически тупиком для народных масс, не подготовленных к такой развязке. Ясно, какие настроения питают русский фашизм, и ясно, какая литература потребуется этому фашизму.

У нас есть уже такая литература, вполне “почвенная” по настроению, очень ограниченная в культурном понимании и уже пропитанная ненавистью ко всему “нерусскому”. Её мировоззрение кажется переводом с немецкого, но авторы её по-немецки не читают: просто похожие социальные причины породили похожее настроение. И, конечно, положительным идеалом этой литературы является традиционный деревенский быт. Главные писатели “почвенного” направления — Шукшин, Белов, Астафьев и Распутин.

Вероятно, это самые популярные из советских писателей, писавших в последние годы. Из сказанного выше ясно, как я отношусь к *советской* литературе: чин этих авторов в советской писательской иерархии никак не может внушить мне уважение к ним. Литературные дарования этих людей тоже не производят особенного впечатления. Один только Белов был способным прозаиком, пока не поддался шовинистической одержимости в последнем романе. Остальные — уже умерший Шукшин и здравствующие Астафьев и Распутин — посредственные писатели, с неглубокой наблюдательностью, искусственно конструирующие свою незатейливую тенденциозную прозу. Популярность этих авторов связана с тем, что они удовлетворяют некоторую потребность советского читателя, лишённого доступа к более приличной (и более талантливой) литературе. Таким образом, перед нами очень типичные для нашей страны спекулянты, эксплуатирующие дефицит. Только что высказанное мнение о художественных качествах нашей “почвенной” литературы я доказывать не буду. Эстетически развитый читатель нашёл бы, что я ломлюсь в открытую дверь: мы ведь живём не в какой-нибудь вновь учреждённой стране, только что получившей письменность и на первых порах довольной этнографическими упражнениями с букетом гражданской скорби.

Потребность советского читателя, которую берутся удовлетворить наши литературные спекулянты, — это *потребность в правде.*

И, конечно, удовлетворяется она так же, как все другие потребности. Вряд ли надо объяснять, что в России, несмотря на все мероприятия начальства, жажда правды всё ещё ненасытна, но я не хочу идеализировать нашего читателя. Наш читатель, приученный довольствоваться суррогатами, и в литературе готов потреблять подделки с вредными примесями.

Всё это очевидно, но есть сторона дела, требующая объяснения. То, что привлекает читателя в "почвенной" литературе, — это прежде всего её "разоблачительная" тенденция, и началась эта тенденция, удивительным образом, вовсе не в эпоху "гласности", а посреди брежневского "застоя". Ещё в семидесятые годы в печатной продукции "союза писателей", в книгах и в "толстых" журналах начали появляться неожиданно откровенные изображения нашей бытовой обстановки и, в некоторой степени, морального состояния нашей публики. В этом литературном движении участвовало много писателей, и ему содействовали редакции, явно заинтересованные в таких публикациях. Всё это, на первый взгляд, вызывало недоумение. В самом деле, в те же годы наши газеты и журналы продолжали свою обычную "лакировочную" стряпню, комически контрастировавшую с "разоблачительной". Впечатление было такое, как будто в казённой идеологической церкви одновременно служили за здравие и за упокой. Это было в самые душные годы брежневской реакции! Тогда и зародилось то "почвенное" направление, о котором мы говорим. Если мы хотим объяснить наших почвенников, надо понять, почему была *допущена* эта "разоблачительная" литература, *кто и зачем её разрешал и поощрял.*

Ведь цензоры были те же, редакторы те же, это были — как и сейчас — очень пугливые чиновники, осторожно рассчитывающие возможные последствия и, следовательно, не делающие *ничего*, что не было бы разрешено свыше. Значит всё это разрешалось и одобрялось! Известно, что в нескольких случаях подлинной "самодеятельности" писателей последовала бесцеремонная реакция начальства: авторы были сразу же выброшены из "союза писателей" и быстро оказались в эмиграции. Можно провести отчётливую границу между писателями, исполнявшими "социальный заказ", и писателями, делавшими "отсебятину". Солженицын был в те же годы отлучён от печатного станка и *выброшен* за границу. Такая же судьба постигла и не столь выдающихся авторов, достаточно невинных в политическом смысле, таких как бывший киносценарист Галич и всячески нажимавший на свои советские заслуги Войнович. Складывается впечатление, что в разоблачительном деле были две

мерки: одним было можно "разоблачать", а другим нельзя.

Решение этой загадки не совсем однозначно. Были здесь и не столь простые мотивы, как воля начальства. Несомненно, сыграла свою роль и общая "эрозия" режима. Эрозия — это геологический термин, означающий выветривание и размывание горных пород: могучая на вид скала незаметно превращается в труху. Все учреждения режима сильно эродировали, и литературная кормушка не составляет исключения. Писателей развелось очень уж много, а сбыт советской литературы — насколько она была просто лакировочной и аллилуйной — упал очень низко: публика переходила на детективы или предпочитала ничего вообще не читать. Книжные магазины затоварились неликвидами, и нельзя уже было игнорировать их отчёты, говорившие о том, что иностранцы невежливо называют "производством без потребления". Возник рыночный спрос на любую сколько-нибудь *живую* литературу, а живой она могла быть, только обратившись к действительности. Но всякое, даже коммерчески мотивированное обращение к действительности означает у нас немедленный переход к "разоблачениям". Я ставлю это слово в кавычки, потому что, как будет видно из дальнейшего, эти "разоблачения" нельзя принимать за чистую монету.

Коммерческие интересы в области литературы столь же сильно напирали на советский аппарат, как и другие материальные интересы, постепенно расшатывавшие его монолитность. Нельзя указать момент, когда стали *разрешать* изображение действительности, но между "Кавалером золотой звезды" и нынешними "разгребателями грязи" прошла целая эпоха. Редакторы постепенно привыкали действовать не решительным идейным способом, а ползучим эмпирическим, то есть пробовали протаскивать по кусочку эту неприятную действительность на страницы своих изданий. Здесь был их прямой интерес: каждое обращение к действительности — какая-нибудь повесть или рассказ с сенсационной страничкой — означало уже увеличение спроса и, в перспективе, рост тиражей. Цензоры, по самой природе своей деятельности враждебные всякому проявлению жизни, даже коммерческим подделкам таковой, сопротивлялись этой тенденции. Но, конечно, сопротивлялись они не так, как непреклонные комиссары в кожаных куртках, а как маленькие чиновники (однажды я видел цензора; а вы их когда-нибудь видели?). цензоры спорили с редакторами и ставили им палки в колеса, задерживая их бизнес, но каждая безнаказанная утечка действительности через цензуру создавала прецедент для дальнейших, так что мало-помалу цензурная плотина превратилась в дырявое решето.

Если бы за каким-нибудь “разгребанием грязи” последовало грозное “постановление”, со снятием (ещё лучше — с посадкой) виновных, то цензоры сейчас же оделись бы в непробиваемую броню (цензор, которого я видел, была толстая глупая баба), а редакторы запели бы аллилуйю. Чтобы положить конец “разгребанию грязи”, превратившемуся в социальное явления, нужно было именно “постановление” самой высокой инстанции, разоблачающее идеологическую ересь и припечатывающее ей политический ярлык. Иначе говоря, нужна была инициатива раздражительного и энергичного высшего начальства, как это было в 36-м, 48-м, и даже в шестидесятые годы, пока был Хрущёв, всё ещё способный раздражаться. Но такого начальства уже не было, а было “царствуй, лёжа на боку”, были старички, всецело занятые междоусобными сварами и собственной реанимацией. Некому было бить в набат и призывать к массовым кампаниям. И печать понемногу менялась.

Изменение должно было быть незаметным, то есть медленным и постепенным, и равномерным, то есть понемногу разложенным на все редакции и все цензуры. В таких делах важно не высовываться и не производить резких звуков, чтобы не разбудить дремлющее начальство. Иначе говоря, надо было создать стандарт безопасной “разоблачительной” литературы, проходящей через цензуру в её нынешнем состоянии дырявости и не дающей повода к доносам наверх. Такой стандарт допустимой правды и был создан в семидесятые годы — читая опубликованные тогда произведения, можно увидеть, в чём были правила игры.

Главное правило состояло в том, чтобы наша действительность изображалась как *стихийное бедствие*, некоторым образом вне времени и пространства. Можно было описывать какую-нибудь злополучную деревню с нелепым колхозом, с пьяницей председателем, с наезжающим время от времени замороченным районным начальством. Откуда-то сверху сыпались ужасные директивы, от чего и было заморочено местное начальство, но источник этих убийственных мероприятий был окутан непроницаемыми облаками, как это и полагается для горных вершин. Ни в коем случае нельзя было переносить место действия в кабинет императора, как это делал Толстой, или в кабинет Сталина, куда непочтительно забрался Солженицын. Читая эту “разоблачительную” литературу, можно подумать, что действие происходит не в Советском Союзе, а в тридевятом царстве: и в самом деле, если описываемые ужасы и безобразия в самом деле были (а всё было куда хуже!), то какая власть была в этой стране? Какая партия была у власти? По ка-

кой политической программе осуществлялись все эти преступления против человечества, природы и здравого смысла?

Напрасно вы будете искать в “разоблачительной” литературе ответы на эти вопросы. Сейчас, в эпоху “перестройки”, можно найти *мнимые* ответы, сваливающие всю вину на маленького человечка с усами, но *тогда* читатель должен был сам обо все догадываться. К несчастью, способность к мышлению у нашего читателя была уже основательно подавлена. Многие просто не умели сопоставить эти малые безобразия с величественной картиной большой истории, творимой под звёздами Кремля. Такое сопоставление психологически опасно. Ведь сам читатель может быть членом партии или служащим советского учреждения, проводящего эту политику, а тогда уважение к казённой идеологии равносильно для него уважение к себе; вспомните героя Достоевского, кричавшего: “Если нет бога, то какой же я капитан?”. Наконец, читатель несомненно учился в советской школе, где новейшая история нашего отечества преподавалась в виде простой и понятной схемы, а впечатления детства очень трудно пересмотреть. Для многих пересмотреть партию и Сталина — значит пересмотреть самого себя.

Наивное народное сознание действует совсем не так. Оно не пересматривает запечатления детства, не мучится анализом противоречий, а просто совмещает несовместимое. Ему нужно, чтобы там, наверху, сияли звезды Кремля и под ними творилась большая история, частью которой человек мыслит самого себя. Но ему нужно также осмыслить повседневное безобразие и зло, найти ему причину. Как же примирить величие в большом и безобразие в малом? Для этого нужен *враг*, искажающий великие планы, отравитель колодцев, подсыпающий в масло толчёное стекло. И этот враг мыслится чем-то резко отличным от себя, потому что не могли же *мы сами* причинить всё это *самим себе*?

Все знают, как была использована эта потребность народной души. Спорят, было ли 40 или 60 миллионов репрессированных врагов. Но времена меняются, и меняется душевный климат. Потускнели в народном сознании звезды Кремля, пошатнулось величие человека с усами. Сам же он и заложил основы нового мировоззрения, лучше сказать, возобновил очень старое, потому что ничего нового придумать не умел. Уже во время войны Сталин стал опираться на русский шовинизм, постепенно подменяя лозунгами черносотенцев потускневшие лозунги большевиков. В эпоху Брежнева большевики были историческим воспоминанием, а в начальственных кабинетах сидели обыкновенные русские мещане, с очень типичными для

этого слоя вкусами и представлениями. Октябрьская революция, пролетарский интернационализм и тому подобное — всё это было им, как говорится, до лампочки. И если Исаич промахнулся, преждевременно предлагая им *откровенно* расстаться с марксизмом и перейти на рельсы национальной идеологии, то в сокровенной своей деятельности кремлёвские старички всё это потихоньку проводили. Не в виде общей политики, даже не очень сознательно, но просто удовлетворяя свои вкусы. Они хотели кем-то себя чувствовать, и легче всего было чувствовать себя просто русскими; говорят, они даже устраивали себе молебны. В общем, произошло то, что в истории называется "синкретизмом".

Практическое распоряжение подробностями жизни находилось в распоряжении более молодых людей, составляющих центральный аппарат. В аппарате уже тогда наметился раскол, вышедший наружу в последние годы. Некоторые аппаратчики, осознав приближение экономического краха и развал государственной машины, думали о реформах; в идейном смысле они хотели воспользоваться ещё живым в народном сознании представлением о Ленине и большевиках. Другие аппаратчики полагали, что машина продержится ещё долго, если не затевать опасных реформ и ограничиться малым ремонтом. С точки зрения своих интересов эти консерваторы были не так уж неправы: чтобы продлить жизнь умирающего, лучше не давать ему сильных лекарств. Но стоящая за этим установка, выражаемая изречением "на наш век хватит", должна оставаться подсознательной, потому что в сознательном виде предполагает цинизм, несовместимый с самоуважением. Эта установка должна прикрываться какой-то сознательной психической ориентацией, и такая ориентация почти однозначно подсказывалась душевным складом и служебным положением этих людей. Этим малограмотным мещанам, сделавшим трудную и унизительную карьеру в партийном аппарате, приходилось всю жизнь лицемерить, повторяя лозунги и рассуждения, противоречившие их воспитанию и вкусам; естественно, они должны были эту принудительную словесность *ненавидеть*. Но тогда у них оставался лишь один психический выход: они должны были отшатнуться к усвоенной в детстве мещанской идеологии, уцелевшей в этом слое с дореволюционных времён. Это понял Солженицын, вероятно видевший некоторых представителей описываемой среды: отсюда его "письмо вождям".

"Консерваторы", так же как "перестроечники", связывали со своей идеологией определённый политический расчёт: они надеялись использовать глубоко заложенный в народной массе бессознатель-

ный шовинизм и пытались организовать его в подспудное движение, неуклюже подражая методам царской охранки. Слабость этого замысла в том, что он требует разрыва с той идеологией, которой они обязаны служить. А это очень опасно, так как даёт их противникам предлог с ними расправиться. Но вернёмся к литературе.

Партийные "консерваторы" составляли влиятельную часть аппарата, и начавшаяся в то время "разоблачительная" литература не так уж не нравилась этим людям. Там описывались разные безобразия, учинённые большевиками над русским народом, а потом Сталиным — с помощью и против большевиков. "Консерваторы" ненавидели всё, что было связано с большевиками, и Сталина в том числе, потому что помнили, что его боялись. Это была совершенно чуждая, инородная для них стихия. Сами они чувствовали в себе лишь то, что могло остаться от русского мещанина после долгих лет унижения. В них развился негативизм, полярное отторжение всего чужого, что им навязывалось обязательной служебной болтовнёй: теперь, достигнув влияния и власти, хотя бы *тайной* власти из кабинетов старого дома на Старой площади, они могли себе позволить некоторое злорадство при виде всех этих "разоблачений". Но, конечно, эту деятельность надо было держать в установленных пределах — она не должна была задевать *нынешний* правящий аппарат. Казалось бы, мудрёная задача, но мы видели, как она решалась!

"Консерваторы" допускали "разгребание грязи", спекулируя на общественном недовольстве, но им надо было направить это недовольство на определённый путь. Им нужна была, как и немецким фашистам, "почвенная" литература с шовинистическим подтекстом, по существу направленная против *нерусского* врага.

Это — очень обыкновенный фашизм. Можно перечислить по пунктам, из чего вообще состоит фашистская идеология:

1. "Мы — хорошая нация. Мы происходим от чистых и доблестных предков, передавших нам свою чистую кровь".

2. "Подлинная колыбель России (у немецких фашистов — Германии, и так далее) — это изначальная, нетронутая русская деревня. Настоящее занятие русского человека — работа на родной земле".

3. "Всё зло в нашей жизни проистекает не от нас, а от чужих. Они всё портят, это они виноваты в нищете и неустроенности нашей жизни". (У немецких фашистов: в военном поражении, Версальском мире и т. д.).

4. "Наш враг — это чужой. Его можно узнать, потому что он не похож на нас: у него другой вид, другой язык, другие повадки. Он хитёр, а мы простодушны, поэтому он опасен. Но мы сильнее его и

одолеем его, когда осознаем опасность и соединимся". (Это и есть так называемое национальное возрождение).

5. "Враг — это... " (Следует описание козла отпущения. Это может быть внешний враг — немец, русский или француз, или внутренний враг, какой-нибудь народ, рассеянно живущий среди нас, чаще всего еврей; на Кавказе роль еврея играет армянин, в Индонезии — китаец, и т. д.).

Общий признак всех фашистских доктрин — это заложенный в них заряд ненависти — всё равно к какому врагу. Фашисту полагается, конечно, не только ненавидеть "чужое", но и любить "своё". Но эти чувства в нём попросту неотделимы: без ненависти он не способен любить. Все наши чувства в некоторой степени двойственны: в любви проступает ненависть, а иногда и наоборот. Это называется "амбивалентностью" и присуще, в большей или меньшей мере, всем людям. Но у некоторых чувства перепутаны особенно сильно. Например, садист не способен любить, не причиняя кому-нибудь боль, а мазохист может любить, лишь испытывая боль. Как показали исследования психологов, "авторитарная личность", типичная для фашистов, тесно связана с садо-мазохистским комплексом.

Я вовсе не хочу сказать, что *всякое* неприязненное чувство к инородцам делает человека фашистом. В прошлом в России были писатели, сильно заражённые таким чувством. Приходит на память очень популярный в последнее время Лесков. Он был чистейшим почвенником, наголову превосходившим нынешних. Лесков был изумительный знаток и художник русской народной жизни. Но удивительным образом ни одно его сочинение, кажется, не обходится без какого-нибудь инородного персонажа, обычно комического и гротескного, или без обыгрывания какого-нибудь искорёженного иностранного слова. Трудно отделаться от впечатления, что Лесков был травмирован чем-то инородным. В романе "Некуда" он изображает, как польские паны дрессируют и натравливают русских революционеров: типично шовинистическая конструкция. Но Лесков скорее обиженный, чем ненавистник, и если уж он любит своих героев, то без тенденций. Вероятно, фашизм всё-таки выработался в XX веке.

Другим шовинистом в литературе был Достоевский, и он уж был настоящим ненавистником. Амбивалентности пронизывают все его сочинения, местами достаётся в них жидам и полячишкам. И авторитарная наклонность к подчинению была у него развита, и даже, как видно из его публицистики, авторитарная наклонность к господству. Но его идеология вовсе не была фашистской, потому

что он старался быть христианином и считал себя обязанным любить тех, кого на самом деле ненавидел — а это уже совсем другая амбивалентность.

Но вернёмся в наше время. Следует заметить, что далеко не все "разгребатели грязи" семидесятых годов (и нынешние) относятся к особому виду, рассматриваемому в этой статье. Как я уже говорил, это было целое литературное движение, и если бы у нас была литературная критика, она бы им занялась. Но, независимо от художественного качества, многие "разоблачители" были неповинны в специальных грехах наших литературных фашистов. В ряде случаев это были аутсайдеры, попавшие в струю возникшего спроса и случайно прорывавшиеся в печать. Интересующие нас авторы — совсем в другом роде.

Стотысячные тиражи, интервью в центральных газетах, поездки с делегациями за границу — всё это достигается в наших условиях вполне определённым путём. Здесь действуют непреложимо правила, не знающие исключений. Не берусь судить, как начинают свою карьеру кинозвезды — у них, может быть, есть выбор. Но путь крупного советского писателя есть литературная проституция. Пусть не говорят мне о Замятине и Булгакове: это были не советские, а *русские* писатели, и другая у них была судьба. От крупного советского писателя требуется не просто готовность поставлять нужную продукцию, но просто безошибочный нюх, какая продукция сегодня пойдёт: он должен быть прочно вмонтирован в нашу систему книгопроизводства. Это предполагает не только полную притёртость к редакционным каналам, но, сверх того, умение искать и поддерживать связи гораздо выше редакций, там, откуда получаются полезные намёки, снисходительные знаки одобрения и отеческие предостережения. Удивительно, что наша публика, вообще знающая, как делаются чиновники, о литературных чиновниках строит немыслимые иллюзии: вероятно, здесь действует магическое слово "писатель", сохранившее свой старый престиж. Сколько у нас таких слов! Да, это проститутки, и я пишу о *продажных* писателях, а мне будут возражать, будто я обидел какого-нибудь порядочного человека (от чего упаси боже!).

Теперь я подготовил все орудия критики, и читатель, вероятно, ожидает, что я их пущу в ход. Но зачем? Надо ли доказывать, что Шукшин был русский шовинист и выполнял особую миссию в маразматическом мире семидесятых годов? Надо ли объяснять, кому и как служил Шукшин? Всякому овощу своё время. Он получил свою награду, и его время прошло.

Кого мне жаль, это Белова, единственного из четвёрки, у кого был талант. Он совсем не развит, мало смыслит в устройстве мира, но в русской деревне кое-что знает и любит. Курьёзные детали в его прежних сочинениях объяснили мне Белова — а теперь он объяснил себя всем. Какая же это привычная схема — еврей, несущий на себе грехи мира сего! Не знает Белов, сколько было у него предшественников. Кто помнит Фрейтага? Кто будет помнить Белова?

Остаются Астафьев и Распутин. Но они сами зачислили себя в фашисты, связавшись с пресловутым обществом "Память" — переименованным теперь в "национальный патриотический фронт". Один из национал-патриотов, по-видимому, гордится этим, другой неловко оправдывается: поведение их будет зависеть от ситуации, и при надобности оба отрекутся. *Наши* фашисты не храбры. Распутин всё-таки умнее и боится себя скомпрометировать, Астафьев же очень глуп, компрометирует себя, а потом заметает следы. Оба связаны с известной фракцией руководства, причём Астафьев афиширует эту связь. Насколько сильна у него поддержка, видно из того, что ему сошла "Ловля пескарей в Грузии". Это злобный памфлет не против каких-нибудь особенных грузин, а против всей нации. Не нравится ему эта нация тем, что она чужая, и выражает он свою неприязнь примерно так, как это делают пьяные в откровенном разговоре у ларька. В конце он спохватывается и, как удирающая каракатица, напускает туман. Материал на грузин он собрал, пользуясь их гостеприимством. Содержание, поистине, ниже критики — желающие могут прочесть. Перед русской литературой Астафьев, конечно, мелкое насекомое, а всё-таки — гадко.

Но об этих довольно, есть более важный писатель, к сожалению, тоже имеющий отношение к нашей теме: это уже упомянутый Солженицын. Он *не советский* писатель, не служит никакой фракции аппарата и обязан своей известностью собственному мужеству и таланту. По типу личности он относится к *старому*, дореволюционному русскому мещанству и разделяет его главные слабости: национальную ограниченность и подчинение коллективу. В юности он был верующим коммунистом и собирался написать эпопею "ЛЮР", Люби Революцию. Тогда он примыкал к партии и был посажен за рвение к чистому ленинизму. Теперь он прилепился к монархии и православию, а "ЛЮР" превратился в "Красное колесо". В нём видна та невыработанность личности, которую обличал в русском человеке Бердяев: ему непременно надо принадлежать к общине и страшно не знать, какой. Этот крестьянский коллективизм может сослужить Солженицыну дурную службу, если он станет

искать свою общину в неразберихе сегодняшней России.

Публицистика Солженицына достаточно откровенна. Его статья в сборнике "Из-под глыб" не оставляет сомнения, что он шовинист, а "Ленин в Цюрихе" — составленный по всем правилам антисемитский памфлет. Вообще, политическая полемика — слабая сторона Солженицына, убивающая в нём художника. Но как раз слабости его могут привести к тому, что русский фашизм сделает его одним из своих святых. Пусть минует его этот позор.

Психология сторонников смертной казни

1.

Смертная казнь продолжает существовать в двадцатом веке, потому что у неё много сторонников. Политические деятели, опасаясь потерять поддержку части общества, не смеют на неё посягнуть; в последнее время это происходит и в России, где уже приходится считаться с настроением публики. Как известно, "рациональные" доводы в пользу смертной казни не выдерживают критики: они явно играют роль рационализации некоторых подсознательных мотивов.

Открытие подсознания и его роли в поведении человека было главным вкладом психоанализа в исследование культуры. Предполагалось, что психоанализ составит основу новой науки — социальной психологии, программу которой наметил Фромм в своём "Бегстве от свободы". Фромм имел в виду нечто вроде "системного анализа" общественной жизни, но не пытался построить для неё какую-либо модель. Конечно, здесь требовалось нечто иное, чем для описания технических систем, состав и функции которых точно известны: математические модели не годились. Но теоретическое описание вообще невозможно без моделей, т. е. без рассмотрения более простых систем, функционирующих аналогично данной системе, так что самое понятие "теории" часто отождествляют с моделью. Отсутствие моделей и привело к тому, что социальная психология (и тем более "социология") как наука до сих пор не состоялась.

Между тем, с начала века начала развиваться "культурная антропология", также под влиянием психоанализа, но без отчётливого системного подхода. Но антропологи сформулировали самое понятие "культуры", поняв, что каждая, даже самая простая на вид культура представляет собой отдельную живую систему, в которой все функции связаны между собой, как в живом организме, и что различные примитивные культуры вовсе не являются пережитками ранних стадий развития "единой общечеловеческой культуры", а возникли независимо друг от друга и, при всем разнообразии их взаимодействий, имеют отдельные структуры. Антропологи поняли, что эти примитивные культуры представляют полезные модели для понимания нашей, очень сложной культуры.

В тридцатые годы антропологи зашли слишком далеко в своём увлечении своеобразием примитивных культур, почти упустив

из виду объединяющее их фундаментальное единство человеческой природы. Дальнейшей ступенью объективного понимания человека и общества стала этология, начавшая со сравнительного исследованная поведения животных, а затем, с пятидесятых годов, всё больше занимавшаяся поведением человека.

С точки зрения этологии, поведение человека данной культуры определяется совместным действием его биологической наследственности, почти тождественной у всех людей, и его культурной наследственности, то есть традиции, в которой он воспитывается. При этом культура рассматривается как живая система, аналогичная виду животных (“псевдовид” в смысле Эрика Эриксона). Эта модель лучше всего позволяет понять механизмы, служащие для защиты культуры. Важно подчеркнуть, что речь идёт не о простой *аналогии* между культурой и зоологическим видом, а об открытии *механизмов, присущих всем живым системам вообще.* Зачатки понимания таких механизмов столь же древни, как начала атомистики: достаточно вспомнить проповедь Менения Агриппы римскому плебсу. Но в число механизмов защиты культуры входят и такие, которые не имеют аналогов у видов животных: Конрад Лоренц называет их “механизмами искоренения социальных паразитов”.

У многих видов животных в ходе эволюции выработались способы социального поведения, предотвращающие опасные для жизни действия инстинкта внутривидовой агрессии. С помощью таких корректирующих механизмов столкновения между особями одного вида — вызванные защитой своего участка, ранговой или сексуальной конкуренцией — принимают “демонстративный” характер, напоминающий наши спортивные состязания. В естественных условиях они обычно не приводят к смертельному исходу, поскольку для сохранения вида полезно вовсе не “убийство” соперника, а его изгнание, обеспечивающее равномерное распределение вида по его ареалу.

Конечно, в некоторых случаях корректирующие механизмы не срабатывают, и “несчастные случаи” происходят также у животных. Но у животных “виновные” не наказываются, поскольку редкие исключения не имеют значения для сохранения вида, а потому отсутствует и селекционное давление в сторону “искоренения преступников”. Можно сказать, что животное нарушает заповедь “не убий” только в случае наследственной неполноценности — с одним, впрочем, замечательный исключением. При клеточном содержания хищников в зоопарках, где изгнание собрата по виду становится невозможным, между тем как инстинкт внутривидовой агрессии продолжает действовать, часто происходит умерщвление одного из “сосе-

дей" по клетке. Легко заметить, что эта ситуация иллюстрирует многие криминогенные ситуации у человека.

Впрочем, с биологической точки зрения человек — совершенно исключительный вид животных, поскольку у него продолжают действовать стимулы внутривидовой агрессии, но весьма ослаблены сдерживающие их механизмы. С его особой агрессивностью, возможно, связаны следующие известные факты. Человек потребляет в пять раз больше энергии на килограмм веса, чем все другие высшие животные. Половая активность у человека, в отличие от других высших животных, длится круглый год. Далее, на протяжении всей истории, за исключением последнего времени, все человеческие племена практиковали каннибализм, не встречающийся у других высших животных. И, наконец, в течение всей истории люди практиковали массовые убийства — войны, что примечательным образом встречается лишь у одного вида, кроме нас — а именно, у крыс.

Понятно, что в этих условиях для сохранения вида оказались необходимыми санкции против убийцы; как я уже говорил, у других видов таких санкций нет.

2.

С незапамятных времён самой обычной реакцией общества на убийство была смертная казнь. Впрочем, смертью наказывали и за гораздо меньшие провинности. В Англии ещё в начале XIX века человека могли повесить за кражу, или за подделку денежного документа: отсюда видно, как мало ценилась тогда человеческая жизнь. В России смертная казнь, по-видимому, всегда вызывала в народе неприязненное отношение. Это отразилось уже в летописном рассказе, будто великий князь Владимир, приняв христианство, сомневался, вправе ли он казнить разбойников, пока греческие епископы не объяснили ему, что это его долг. Кроме Ивана Грозного, который был психопат (кстати, настаивавший на том, что он "не русский, а немец"), часто казнил только Пётр Великий, который в казнях не каялся. Другие цари казнить опасались, явно считаясь с общественным мнением. Елизавета Петровна, вступая на престол, поклялась никого не казнить, и выполнила своё обещание. С тех пор в России смертная казнь применялась очень редко, и почти исключительно в случаях "государственных преступлений". За уголовные преступления, даже за убийства, ссылали на каторгу. Даже такой холодный формалист, как Николай Павлович, после казни декабристов не утверждал смертных приговоров, хотя солдат и засекали до смерти шпицрутенами.

Теперь, если верить опросам общественного мнения, смертная казнь впервые стала популярной в России. Это последствие массовых убийств при советской власти, обесценивших человеческую жизнь в сознании людей. Ещё недавно у нас казнили не только за убийства, но и за ряд “экономических” преступлений, чего давно уже нет в цивилизованных странах. Смертная казнь сохраняется и во многих штатах Америки, где публика, потерявшая равновесие от роста преступности, настойчиво требует её — хотя только за убийство.

Обычные доводы в пользу смертной казни не выдерживают критики. Во всех странах Европы, кроме так называемых “социалистических”, после второй мировой войны постепенно отменили смертную казнь, и преступность, так же как частота убийств, нисколько не возросла. В американских штатах, сохранивших казнь, происходит больше убийств, чем в отменивших её. Судебная ошибка при смертной казни неисправима, и в Америке насчитали уже десятки случаев, когда казнили невиновных. Наконец, в Америке казнь обходится в пять раз дороже, чем пожизненное заключение — хотя я готов допустить, что у нас все эти процедуры дешевле.

Но во всём мире есть много людей, настойчиво требующих смертной казни за убийство. Возникает вопрос, не стоит ли за их позицией некая правда? Иначе говоря, нет ли *серьёзных* мотивов, побуждающих этих людей настаивать на смертной казни? Должен предупредить, что доводам этих людей я не верю, и постараюсь доказать их несостоятельность. Но важно *понять* их, то есть выяснить, какие опасения и заботы их подсознательно тревожат. Дело не в том, каким образом люди пытаются рационализировать свои требования, а в том, что именно они рационализируют. Какие же *серьёзные* мотивы тревожат людей, требующих смертной казни? Поскольку человеческие поступки, в конечном счёте, мотивируются подсознанием, тот же вопрос можно формулировать равносильным образом: что это за люди?

Конечно, реакция в пользу смертной казни — лишь одно из проявлений их структуры личности: давно известно, что такие люди обычно придерживаются консервативных установок, охраняя установившуюся традицию и почитая принятые в ней авторитеты. Такая структура личности называется *авторитарной.* Она изучена Фроммом, а затем Адорно и его сотрудниками, на примере двух типов личности: немецкого мещанина, перенёсшего на фюрера свою лояльность патриархальной попечительной власти, и американского мещанина, ориентирующегося на общепринятые способы жизни

в “обществе массового производства”. Если социологи вообще позволяют себе какие-нибудь ценностные сведения, то авторитарной личности они дают весьма отрицательную оценку.

Между тем, точка зрения социальной психологии тридцатых годов, при всём её историческом значении, представляется теперь односторонней и неполной. Вообще, две силы, всегда боровшиеся между собой в Новой истории — либерализм и консерватизм, — имели весьма неравносильных защитников. В смысле рациональной аргументации первенство всегда принадлежало либералам, консерваторы же больше полагались на инерцию учреждений и физическую силу. В идейном отношении они были слабее, и нетрудно понять, почему. Ведь либералы настаивали на необходимости изменений, а консерваторы выступали обычно против изменений, доказывая преимущества существующего строя. Но самая необходимость защищать прошлое от будущего уже ставила их в невыгодное положение, наводя на мысль о защите личных интересов. Кроме того, консервативная установка мало стимулирует творческое мышление, по самой своей природе имеющее подвижный и бескомпромиссный характер.

3.

Роль либеральной и консервативной тенденций в развитии культуры выясняется в этологической модели культуры, построенной Конрадом Лоренцем в его последней книге “Оборотная сторона зеркала”. Может быть, это величайшая книга нашего века. В ней закладываются основы гносеологии как объективной биологической науки и впервые ставится задача исследования культуры как живой системы, развивающейся и приспосабливающейся к действительности наподобие биологического вида. Понимание, уже доставленное нам этологией, представляет новый этап в самосознании человека, а происходящая отсюда революция в человеческом мышлении может быть сопоставлена только с той, которую произвёл в прошлом веке Дарвин.

Процесс развития культуры Лоренц иллюстрирует моделью — ростом животного. У позвоночных вместе с организмом растёт его костный скелет, состоящий из твёрдого, в основном неорганического вещества. Само это вещество не способно менять свою форму и размеры. Поэтому рост животного сопровождается непрерывным разрушением костного вещества и построением нового на месте разрушенного. Первую функцию выполняют особые живые клетки, так

называемые остеокласты, вторую же — клетки другого рода, остеобласты. Чтобы организм мог расти, деятельность тех и других должна находиться в антагонистическом равновесии, как это вообще свойственно механизмам жизни. Вспомним, что наши мускулы поддерживаются в напряжённом состоянии именно вследствие равновесия между противоположно направленными сокращениями мышечных волокон.

В человеческой культуре роль остеокластов и остеобластов играют молодые и старые группы этой культуры. Конечно, эти обозначения не обязательно описывают возраст их представителей, но, как правило, в человеческом обществе новые идеи чаще всего поддерживаются молодёжью. Это явление имеет глубокий биологический смысл и безусловно запрограммировано эволюцией как механизм, способствующий сохранению вида. Таким образом, конфликт "отцов и детей", временами принимающий резкие, даже патологические формы, является постоянно действующим, "нормальным" фактором развития культуры. Его действие прослеживается уже у животных; но у человека эти биологически обусловленные мотивы могут принять форму стремления к справедливости и противостояния общественному злу. Это позволяет понять мотивы таких движений протеста, но, конечно, не следует пытаться *свести* общественные явления к биологии: это было бы так же смешно, как объяснять курс автомобиля устройством мотора. С другой стороны, чтобы понять, как работает автомобиль, надо знать, как устроен мотор. Биология играет двоякую роль в понимании культуры. С одной стороны, она выясняет инстинктивные мотивы поведения индивида; с другой стороны, она доставляет модель развития культуры, сравнивая её историю с эволюцией видов. Важно понять, что переход к *биологическим* моделям культуры представляет новую ступень в исследований общества по сравнению с примитивными моделями "социологии" — где использовались технические устройства или компьютеры — или слишком сложными моделями культурной антропологии, которые сами нуждались в моделировании для более глубокого понимания их функций. Я не говорю уже о "монистических" объяснениях общества из единого априорного принципа, вроде развития "абсолютного духа" или "производительных сил".

Таким образом, развитие культуры предполагает некоторое равновесие между процессами, сохраняющими её основные структуры и тем самым обеспечивающими её дальнейшее существование, и процессами, разрушающими те или иные механизмы этой культуры, чтобы дать ей возможность расти. Нарушения этого равновесия

приводят не только к революциям и войнам, но и к долговременным процессам разложения культуры и, в конечном счёте, к её гибели. Регулярность, с которой гибли высокие культуры, отметили Шпенглер и, в особенности, Тойнби. Между тем, некоторые примитивные культуры, такие, как земледельческая культура индейцев пуэбло, по-видимому, существуют в течение тысячелетий, и гибель от внутреннего разложения им не угрожает,

Этологическая модель, сравнивающая культуру с видом животных, также не предполагает её неизбежной гибели: виды могут существовать неограниченно долго, даже если эволюция изменяет их настолько, что их классифицируют уже как новый вид. Самое существование жизни на Земле означает, что далеко не все виды вымирают. Но *высокие* культуры всегда гибли, как раз достигнув высшей ступени своего развития. Лоренц объясняет это нарушением равновесия между механизмами сохранения и разрушения культуры: если процессы разрушения происходят слишком быстро, чтобы процессы созидания могли компенсировать их действие, то культура гибнет. Ускорение процессов разрушения, не имеющее аналогов в эволюции видов, происходит от специфически человеческих, необычайно быстрых изменений в *культурной* наследственности, за которыми не могут угнаться генетические процессы приспособления. Здесь этологическая модель культуры оказывается недостаточной, так как у животных изменения в поведении, вызванные обучением, лишь в редких случаях передаются следующим поколениям и не накапливаются в потомстве.

4.

В основе каждой культуры лежит некоторая система запретов, выражающая в отрицательной форме её ценности. Изучение всевозможных культур, как сохранившихся до наших дней, так и погибших, доказывает, что две ценности особенно охранялись в каждой из них: *человеческая жизнь и брачный союз*. При всём разнообразии норм и обычаев этих культур, по-разному определявших объем этих запретов и допускаемые исключения из них, именно к двум указанным ценностям всегда относились самые страшные “табу”, нарушение которых каралось богами или собратьями по культуре, выполнявшими волю богов. Прочность культуры держалась запретом *убийства* и *прелюбодеяния*. Пренебрежение этими основными запретами всегда было признаком распада культуры. Старые моралисты говорили в таких случаях об “упадке нравов”,

чаще всего связывая этот упадок с ослаблением религии и потерей уважения к заповедям предков. Иначе говоря, распад культуры объясняли разрывом с традицией.

Но любое изменение культуры означает нарушение традиции. Содержание традиции неизбежно меняется из поколения в поколение; меняются нормы культуры, даже в том, как понимаются и охраняются её основные запреты. Но до тех пор, пока это разрушение традиции компенсируется созданием и укреплением новых ценностей этой культуры, её основная структура остаётся прочной, и она может развиваться, сохраняя своё тождество.

Культура гибнет тогда, когда разрушение традиции происходит слишком быстро, так, что создание новых ценностей не успевает восполнить отмирание старых. Так погибла античная греко-римская культура, не сумевшая придать новое человеческое содержание своей архаической религии и реформировать свой общественный строй. У древних отсутствовало понимание закономерного развития культуры: они хотели видеть в истории лишь вечное повторение одних и тех же форм, или искали в мифическом прошлом утраченное совершенство.

Христианская культура, сменившая античную, в наше время именуется Западной культурой и безраздельно господствует па Земле. Период её относительной устойчивости называется Средними веками. Но вряд ли человек нашего времени пожелал бы купить устойчивость такой ценой. Религия, когда она была всесильна, освящала чудовищную жестокость. Смертная казнь была тогда не просто естественным наказанием за всевозможные провинности, но и праздничным зрелищем, развивавшим в людях бесчувственность к чужому страданию и садизм. В этом смысле публичные казни вполне напоминали бои гладиаторов в древнем Риме. Но санкция религии скорее уподобляла их ритуальному каннибализму ацтеков. Я не буду уже говорить, что особенно любимым развлечением было сожжение ведьм и еретиков.

Разумеется, в те классические времена смертной казни никто и не думал, полезна ли она для "искоренения общественных паразитов": эта цель никогда не достигалась. В толпе зрителей, возбуждённо следивших за повешением или колесованием, сновали воры, делавшие то же, за что казнили. Статистики в Средние века не было, а было "магическое мышление", очень древнее и присущее всем религиям, в том числе и христианской. Акт умерщвления преступника рассматривался как поражение мирового зла, воплощённого в Дьяволе, отрицательном божестве средневекового человека, столь

же реальном для него, как и "положительный" христианский Бог. В те времена смертная казнь была *священнодействием.* Она была неотъемлемой частью средневековой культуры, и прежние любители средневековья, в отличие от нынешних, имели мужество это признавать. После Великой французской революции идеолог католической реакции граф де Местр не только провозглашал необходимость казни, но и восхвалял палача как вершителя божественного правосудия и опору государства.

В Средние века материальные условия и духовное содержание человеческой жизни менялись очень медленно, и как раз эта медленность делала средневековое общество столь устойчивым. Нам трудно понять, каким образом вся умственная деятельность людей за тысячу лет ограничивалась богословием и схоластической религиозной философией, при пассивном сохранения некоторых реликтов античности. Резкое ускорение развития Западной культуры, обозначенное впоследствии словом "прогресс", было связано с революцией в человеческом мышления — появлением *естествознания*, и прежде всего точных паук. Наука оказала решающее влияние на материальную и духовную жизнь человечества. Правы те историки, которые считают началом Нового времени не открытие Америки Колумбом, совершённое вполне средневековыми людьми, а книгу Ньютона "Математические начала натуральной философии", изданную в 1684 году. Наука коренным образом изменила развитие производства и образа жизни людей: если в Средние века (как и в древности) все изобретения делались эмпирически, способом проб и ошибок, то в Новое время технический прогресс направлялся научным знанием. Это несравненно ускорило развитие техники, открыв перед нею, сверх того, новые области, не входившие в повседневный опыт и указанные научной теорией.

Наряду с этой созидательной ролью, наука сыграла также в Западной культуре важнейшую разрушительную роль, подорвав доверие к религии. Начиная с XVIII века, исчезает вера в сверхъестественное; чудеса и колдовство перестают приниматься всерьёз, сначала образованными людьми, а потом и массой населения; уменьшается интерес к магической практике церкви, богослужению, а "магическое мышление" вытесняется в подсознание. В сущности, из наследия христианства сохраняет значение лишь его этическая сторона, постепенно эволюционирующая в *гуманизм* — новую философию человека и общества, не нуждающуюся в санкции свыше.

Но это новое понимание человека и общества предполагает столь же радикальную революцию в мышлении, какой было в начале Но-

вого времени возникновение точных наук. И теперь у нас есть надежда, что современное естествознание способно её произвести.

5.

Признаки упадка Западной культуры заметили ещё в середине прошлого века проницательные мыслители того времени — Джон Стюарт Милль и Герцен. Слабости и противоречия этой культуры с очевидностью проявила первая мировая война. Историко-философский анализ её кризиса произвёл Альберт Швейцер в своих лекциях о культуре и этике, читанных в Упсале в 1923 году. Разложение культуры было главным предметом размышлений Экзюпери, оставившего неоконченный труд — "Крепость" (*La Citadelle*), где он пытался осмыслить консервативную установку.

Тема упадка культуры столь обычна у философов и историков нашего времени, что вряд ли можно указать сколько-нибудь значительного автора, державшегося иного мнения. Наибольший интерес представляют те, кто видит в нынешнем мире некоторые основания для оптимизма. Это философ Луис Мамфорд (Lewis Mumford) с его книгой "Условия человеческого существования" (*The Condition of Man*), психолог Эрих Фромм (в особенности в книге "Революция надежды" (*The Revolution of Hope*) и биолог Конрад Лоренц, объяснивший положение современного общества в книге "Восемь смертных грехов цивилизованного человечества" (*Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit*). Анализ Лоренца опирается на твёрдо установленные научные факты и не зависит от той или иной философской позиции.

Разрушение европейской культуры настолько ослабило значение её основных ценностей, что в наши дни их редко принимают всерьёз. В частности, в ней ослабели санкции за нарушение основных запретов. Моралисты старого склада говорили о "вседозволенности", а нынешние социологи называют нашу культуру "пермиссивной". Мы опишем это явление на примере западных стран, где оно больше всего развилось и хорошо изучено, но выводы, без существенных изменений, касаются и России.

Крушение привычного уклада вызвало реакцию европейского мещанства, проявлениями которой были национализм и фашизм. Как известно, немецкий фашизм, "революционный" по своим методам, был консервативен в своих психологических мотивах и выражал протест немецкой мелкой буржуазия против разрушения культурных шаблонов немецкой жизни, признаками которой были по-

виновение установленной власти и подозрительность ко всему иностранному. Эта "охранительная" тенденция фашизма отчётливо видна в его демагогии, направленной против финансовых монополий, универсальных магазинов, массовой коммерческой печати, и особенно против влияния евреев. За этой идеологией Экзюпери увидел массовое движение с глубокими психологическими корнями и хотел понять, "какая правда стоит за этим движением". В 1936 году он ездил с этой целью в Германию, был любезно принят нацистскими лидерами, но вернулся, весьма разочарованный увиденным. Замечательно, что этот искатель консервативного мировоззрения был убит в воздушном бою немецким лётчиком, защищая демократию и свободу.

Одной из самых характерных черт немецкого мещанства, ставшего на сторону фашизма, было настойчивое требование государственного насилия по отношению к "преступникам". Конечно, скоро оказалось, что нацистское государство преследует в качестве "преступников" не столько уголовников, сколько своих политических оппонентов и "неарийцев", а в ходе так называемой "эвтаназии" даже психических больных. Но такое расширительное толкование "преступников" вполне устраивало мещанскую публику, о которой идёт речь: эти люди считали преступниками любых нарушителей "порядка", а "порядком" — то, что одобряется начальством. Важно — и поучительно для нашей темы, — что жестокие наказания одобрялись в отношении широкой категории "виновных", первоначальным образцом которых был, конечно, уголовный преступник. Таким образом Гитлер использовал ненависть против "социальных паразитов".

В чём же, всё-таки, "правда", стоящая за этой авторитарной установкой? За нею стоит страх перед прогрессирующим распадом общественного порядка. Берберский князь, проповедующий идеи Экзюпери, хладнокровно казнит всех нарушивших обычай: неверную жену он привязывает в пустыне к столбу, чтобы она умерла от жажды. Не удивительно, что Экзюпери не мог свести концы с концами в своей ретроградной утопии. Там, где применяется ветхозаветная заповедь "око за око, зуб за зуб", — там приходится принять и все следствия этой заповеди, произвол и жестокость. Вернуться к такому прошлому мы не можем — и не хотим.

Но современная культура в самом деле находится в крайней опасности. Из двух запретов, лежащих в её основе, запрет внебрачных половых отношений давно потерял всякое значение. Сакральный характер брака никем не принимается всерьёз: брак превратился в гражданский договор, существенный главным образом вслед-

ствие его имущественных последствий. Остался только запрет на убийство, и это, в некотором смысле, *последняя линия обороны погибающей культуры.* Но уже и сейчас убийство вряд ли вызывает у западной публики суеверный ужас, а скорее его пережиток — острый интерес. Распространение детективных повестей и, ещё более, детективных фильмов свидетельствует о том, что убийство всё ещё не стало совершенно банальным явлением, как адюльтер. Это вызвало к жизни целую отрасль промышленности, и спрос несомненно меньше предложения. Само по себе убийство, без особых возбуждающих подробностей, уже не привлекает интереса. На экранах американского телевидения каждые несколько минут происходит убийство — чаще всего молодого человека убивают из револьвера, так что по его белой рубашке расплывается алое пятно краски, изображающей кровь. Ценится так называемое "совершенное убийство", когда виновного никак невозможно поймать. Особенно любопытна коммерциализация американского романа. По-видимому, обыкновенный американский издатель (и, точно так же, кинопродюсер) требует от автора совершенно определённым образом стандартизованных сцен секса и насилия, потому что все такие сцены у них удручающе похожи. Надо полагать, что американцы учатся по этим стандартам, как "любить" (*to have love*) и как убивать. Кажется, немногого недостаёт, чтобы сделать убийство ещё одним видом спорта, о чём уже были кинофильмы; пока это вымысел (fiction), но возможно, что для скучающих богатых людей такой дорогостоящий спорт уже существует. Ведь американцы признают, что очень богатый человек может позволить себе почти все поступки, избежав наказания.

Даже если это мнение преувеличено, ясно, что для современного молодого человека внутреннее табу на убийство не обязательно. Оно может быть или не быть, и трудно узнать, что сделает в условиях безнаказанности самый обыкновенный встречный. С каждым поколением отношение к убийству становится всё более прозаическим и, если можно так выразиться, убийство становится банальным. Но ведь это — последний реальный запрет, оставшийся от западной культуры, той самой культуры, которая прежде называлась христианской. Ловкая кража вряд ли так уж беспокоит человека, привыкшего обманывать в налоговых декларациях своё государство; так же легко он надует и свою компанию, если представится такая возможность. Не знаю, половина или две трети американцев регулярно жульничают (*cheat*) в денежных делах. Но убийство всё ещё сохраняет в этом "пермиссивном" обществе некоторый

престиж. Здесь проходит — повторяю — последняя линия обороны погибающей культуры.

Таким образом, за мещанским консерватизмом, требующим смертной казни за убийство, стоит некая правда: эти люди пытаются защитить постоянство своей культуры единственно доступным им авторитарным путём. Вряд ли нужно ещё раз напоминать, что такие же “защитники культуры” доставили кадры фашистов Гитлеру и Муссолини. Но история не возвращается вспять.

Дальше я коротко объясню, почему больше не будет фашизма. Теперь же займусь той стороной авторитарной личности, которая прямо относится к моей теме. Праведное негодование, с которым люди требуют смертной казни за убийство, родилось гораздо раньше фашизма: это древняя психическая установка, и фашизм просто использовал её, направив на “преступников” иного рода. Установка эта в прошлом была сакральной, как и сама смертная казнь. Как я уже говорил, она была существенной частью культуры, которая называется христианской. Казни производились публично, с торжественными церемониями и с непременным участием священнослужителей. Палач рассматривался как вершитель божественного правосудия (хотя и должен был жить отдельно и носить особый костюм). В общем, казнь была не просто интересным зрелищем, а магическим актом, снимавшим у зрителей чувство собственной греховности. Но я не буду объяснять здесь, чем была христианская культура, когда христианство принималось всерьёз. Теперь религия никого не волнует, а сильные переживания людям доставляют телевидение и спорт. Смертная казнь, лишённая всякого освящения и приличия, совершается по решению чиновников, втайне от публики, как нечто постыдное. И это ощущение постыдности давно остановило бы казни, если бы не политические соображения тех, кто подсчитывает голоса.

В предыдущем изложении я намеренно рассматривал западное общество в его развитом виде, имея перед глазами наиболее законченный тип современного мещанина — среднего американца. Таким образом я облегчил свою задачу, поскольку этот человеческий тип хорошо изучен. Гораздо менее понятен русский мещанин. В России нет никаких наук о человеке, а опросы общественного мнения не заслуживают доверия, так как выполняются в лучшем случае некомпетентно, а как правило — с заранее заданной целью. Поэтому перенесение описанной выше психологической модели в русские условия может показаться неоправданным. Строго говоря, мы живём среди формально не известных нам людей; но неформально мы их доста-

точно знаем, чтобы сравнить с их западными собратьями. Конечно, средний российский мещанин отличается от американского, но теперь уже не более, чем устаревшая советская марка автомобиля от новой американской. Те черты структуры личности, которые существенны для моей темы, так же мало отличаются у них, как детали соответствующих автомобилей. Это может показаться парадоксальным, при большом различии в общественной организации и образе жизни. Но у нас практически не осталось носителей революционной — и тем более дореволюционной — психической установки. Российский мещанин имеет примерно те же "современные" ценности, что и американский, да и в пережиточных ценностях сохранился в какой-то мере тот же "общехристианский" слой. К сожалению, мы будем иметь такой же "средний класс".

В России, как и везде, наивные люди, требующие смертной казни за убийство, не понимают, что казнь давно уже утратила свой религиозный смысл. В их сознании осталось магическое мышление, гораздо более древнее, чем религия, и садизм, ищущий себе респектабельный выход. Но эти потребности, не интегрированные религиозным и политическим фанатизмом, бессильны. Фашисты, воспитанные в христианской вере, перенесли свою веру на харизматический образ вождя. Наш нынешний сердитый обыватель, лишённый веры и не готовый на жертвы, представляет бессильную пародию на фашиста. Эти люди могут лишь замедлить неизбежный демократический процесс, но не могут его остановить.

Смертная казнь никогда не смешна, но её сторонники могут быть смешны. Их праведное негодование — лишь частный случай поведения неверующих, бессмысленно имитирующих поведение верующих. То, что у верующих имеет серьёзный смысл — хотя бы с точки зрения бесчеловечной догмы — у неверующих превращается в неприличный спектакль.

У нас не будет ни фашизма, ни гражданской войны. От *этого* наше неверие нас спасёт. Но я хочу верить в Россию, которую не так легко понять.

Цензура и возрождение русской интеллигенции

1.

Заглавие этой статьи[1] может вызвать удивление у читателя, не понимающего, что такое цензура, или не знающего, что представляет собой нынешняя Россия. Люди, не понимающие, что такое цензура, могут считать, что у нас больше нет цензуры, потому что нет ведомства под таким названием. Но и до "перестройки" обходились без этого названия, а цензура была. Так же обстоит дело и теперь. Формы цензуры, применяемые в наше время, хорошо изучены и описаны в иностранной литературе. Я объясню в этой статье, какие *виды цензуры применяются теперь в России, и почему у нас нет свободы* печати.

Можно представить себе и читателя, не знающего, что такое нынешняя Россия. Вряд ли это надо объяснять человеку, живущему в России; но ведь читатель может быть иностранец или совсем оторванный от нашей действительности эмигрант. Действительность же состоит в том, что Россией (и другими частями бывшего Советского Союза) владеют и управляют бывшие советские чиновники, переменившие свою идеологию. Это не очень важное изменение, потому что в старую идеологию мало кто верил, а новую никто не принимает всерьёз. Единственное серьёзное изменение состоит в том, что чиновники переходят теперь от "коллективной" собственности на Россию к индивидуальной, деля её на куски, и спорят при дележе добычи. Это создаёт видимость разнообразия, и даже эта видимость лучше прежнего единомыслия. Но это всего лишь видимость: свободы печати у нас по-прежнему нет.

У нас нет настоящего рынка, но какая-то часть производимых товаров попадает в свободную продажу по диким ценам, устанавливаемым кликами чиновников. Можно купить и бумагу, и типографские услуги. Эта возможность лучше прежней невозможности, но опять-таки это одна видимость. Потому что никакой человек, никакая группа лиц, не встроенная в государственный аппарат и не

[1]Эта статья представляет собой расширенное изложение доклада, сделанного в феврале 1994 г. на семинаре Хельсинской группы, посвящённом свободе печати. Мои взгляды, естественно, могут не совпадать с суждениями организаторов этого семинара.

извлекающая связанных с этим доходов, по этим ценам ничего не может купить. Все массовые газеты и журналы издаются попросту *даром*, за счёт "государства", то есть за *наш* счёт, потому что *мы* платим налоги, а расходы зависят от *них*. Прошу извинить мне это выражение, напоминающее все дурные образцы полярного мышления, но иногда без этого не обойтись. *Мы* платим, а *они* тратят: чиновники объедают Россию, как саранча, и все, кто так думает, к сожалению, правы — даже если неправы в чём-то другом.

Бумага и типография предоставляются газетам и журналам, служащим вполне определённым группам чиновников. Они делят типографии и бумагу в своих коридорах власти, где "журналисты" имеют, выражаясь по-английски, своё лобби. По существу здесь действуют те же механизмы государственного распределения, что и раньше. Разница только в том, что группы чиновников, борющиеся за эти льготы, не обязаны больше прикрываться фикцией партийного единства, и различие интересов проявляется более открыто. Ясно, что каждая редакция служит той группе чиновников, которая даёт ей средства печатания; иначе говоря, каждый журналист знает, кто его хозяева, а члены "редакционных коллективов" знают это лучше всех.

Так называемые "редакционные коллективы" выполняют двойную функцию. Во-первых, они обязаны поставлять материал для своих изданий, то есть заполнять выдаваемую их хозяевами бумагу. Во-вторых, они должны следить, чтобы выходящие у них статьи не содержали ничего такого, что невыгодно, неприемлемо или просто непонятно их хозяевам. Эта вторая функция есть не что иное, как цензура. Предвижу возражение, что и на Западе редакции действуют в интересах своих хозяев, и это до некоторой степени верно. Но у нас по-прежнему действует особая, неэкономическая система льгот, контролируемая государственным аппаратом, и сохранились навыки воспитанных им журналистов. Вся система печати остаётся советской и содержит цензуру как свою неотъемлемую часть.

2.

Итак, наши журналисты обязаны заполнять предоставляемую начальством бумагу и следить, чтобы на ней печаталось только угодное начальству — они одновременно и писатели, и цензоры. Это совмещение функций как раз и непонятно тем, кто привык противопоставлять интересы печати и цензуры. Теперь вторая функция — цензура не нуждается больше в особых чиновниках. Пишущая

братия достаточно воспитана, и сама понимает, чего от неё хотят. Ведь это, как правило, те же *советские* журналисты, бывшие члены коммунистической партии и воспитанники идеологических факультетов. Сейчас им, конечно, приходится говорить прямо обратное тому, что они говорили раньше. Но каждый читатель Оруэлла знает, как мало это их смущает. Те, кто доказывал преимущества социализма, превратились теперь в апостолов свободного рынка; те, кто поносили религию, изображают из себя верующих; те, кто поливал грязью наших друзей правозащитников, учат нас теперь аксиомам права. Человека, повернувшего таким образом на 180°, когда-то называли неприятным словом — "ренегат".

Наша печать — это печать ренегатов. Чтобы яснее представить себе, что это значит, вообразите, что после войны все газеты и журналы Германии остались бы в руках тех же людей, которых посадил туда д-р Геббельс. Они точно так же переменили бы курс, и приписывать таким роботам нравственные переживания было бы антропоморфизмом (насколько они всё-таки люди, не имеет здесь практического значения). Но и с практической стороны поворот на 180° представляет некоторые неудобства. Задача заполнения казённой бумаги стала труднее, о чём ещё будет речь дальше. Но главное, "массовый" читатель потерял доверие к печати, где те же люди стали говорить всё наоборот. Простое чувство собственного достоинства внушает ему отвращение к такой печати. Мне кажется, тот, кто продолжает выписывать "Правду", проявляет больше человеческого приличия, чем журналист-ренегат. Этим и объясняется падение тиражей: книги ведь по-прежнему покупают, хотя бы и дорогие.

Советский журналист, следующий духу времени, то есть желаниям своих хозяев, легко сменил коммунизм на православие, Ленина на Бердяева, но писать по-новому ему нелегко. Положение его примерно такое же, как если бы солдата, прошедшего строевую подготовку, вдруг заставили танцевать. Ведь его не учили ни религии, ни философии, ни даже литературе — одному соцреализму. Конечно, обо всех этих предметах советский журналист не имеет никаких мыслей и, следовательно, мыслей высказывать не может. Но поскольку он вообще не понимает, что такое мысль, то он думает, что речь идёт о болтовне. Всё касающееся человека и общества кажется ему чем-то вроде разговоров за чашкой чая. Он слышал, что такие общие разговоры можно печатать под названием "эссе". Между тем, его заработок требует чем-то заполнять бумагу. И вот советский журналист превратился в "эссеиста".

Он готов с одинаковой развязностью обсуждать всё, что угодно,

но не спрашивайте такого автора, что, собственно, означает такая-то фраза или такой-то абзац. Он ответит вам, что это не научная статья, а эссе, то есть художественная проза. Если вы скажете ему, что в прошлом и эссе писали со смыслом, он ответит, что надо понимать современную литературу, где смысл скрывается глубже, и что "художественное" объяснить невозможно. Нетрудно понять, почему эти люди так пишут и говорят. За чайным столом, где они получили свою интеллектуальную подготовку, не принято что-нибудь выяснять, утверждать или отрицать, а лучше изрекать какие-нибудь парадоксы. Такие сочинения бывали и раньше, но их презирали: в русской литературе для них возникло выражение "взгляд и нечто". А Маколей сказал об их авторах в одном из своих знаменитых эссе: "Главные недостатки стиля — неясность и аффектация. Неясность изложения обычно происходит от путаницы в мыслях; а желание во что бы то ни стало поразить читателя приводит к аффектации, чаще всего производящей софизмы".

Очень глупые авторы, совсем уже не знающие, о чём писать, доводят свои софизмы до почти шизофренического негативизма; можно подумать, что они руководствуются правилом: "Пусть твоё «да» будет «нет», и пусть твоё «нет» будет «да»".

Так они заполняют казённую бумагу — в некоторых газетах и журналах до половины места. Остальную часть занимают политические сплетни и советы экономических кудесников, так что в наших газетах и журналах нечего читать. Конечно, есть ещё беллетристика, но здесь уже действуют особые связи между советской журналистикой и советской литературой, о которой я говорить не хочу.

3.

Могло бы показаться, что современные авторы постепенно вытеснят советских журналистов из их газет и журналов. Но, как вы сейчас увидите, это невозможно. Прежде всего, каждая редакция — это мафия, а мафия не заинтересована в конкурентах. В каждой газете, в каждом журнале все области жизни давно уже разделены между штатными сотрудниками: по каждому предмету у них есть "специалист", писавший о нём ещё в брежневские времена, — не важно, что писавший, но "застолбивший" этот участок и вовсе не желающий делиться им с кем-то посторонним. Конечно, вам этого не скажут, но непременно окажется, что у них уже есть статья на ту же тему; как жаль, скажут вам, что вы не пришли раньше.

А если статью всё-таки берут, не радуйтесь: то, что напечатают, будет вовсе не похоже на ваше произведение.

Навыки, сложившиеся у наших журналистов, выработаны их обучением и всей их жизнью. Главный из всех этих навыков — это пренебрежение ко всему личному и оригинальному. Они знают, что по каждому вопросу "имеется мнение", то есть известно, что надо писать, а что вы об этом думаете, не имеет значения. Для всякого личного мнения у них презрительный термин — "отсебятина" — то, что происходит "от себя". Эти люди высоко ценят "профессионализм", понимая под этим лёгкое и естественное приспособление к тому, чего от них *сегодня* требует начальство, и всякая попытка предложить им нечто другое воспринимается ими как смешное любительство. Конечно, вам этого не скажут, потому что их учили, как вежливо отделываться от наивных любителей.

Но предположим, что им понадобится ваша статья. В этом случае они её бесцеремонно распотрошат, выбросив оттуда самые дорогие вам мысли, а то и вставив неуместные куски в самые неподходящие места. Человек, который таким образом разделается с вашим произведением, не имеет ни малейшего уважения к личному мнению и к личности автора вообще: точно так же никто никогда не уважал его самого, и если вначале у него и появлялись какие-то собственные мнения, то теперь это кажется ему ребячеством. Серьёзное дело — изготовить приемлемую, *подходящую* статью, и он знает, как это сделать. В большинстве случаев вы не поймёте, зачем он делает все эти купюры и изменения, потому что вы не допущены к редакционным секретам и не можете знать, что не понравится его начальнику, и почему это ему не понравится. В других случаях вы заметите у него суеверный страх перед любым посягательством на авторитеты. Авторитетами для него являются все, занимающие должности и имеющие звания, и к ним надо относиться почтительно, если нет особых указаний; кроме того, есть ещё, так сказать, временные авторитеты, которых надо уважать по конъюнктурным соображениям как раз сейчас — список этих временно неприкасаемых он хранит в своей "оперативной памяти". Но чаще всего его поправки объясняются просто его неприятием всего оригинального. Он автоматически "причёсывает" ваш текст, приводя его к принятому стандарту, а иногда настаивает на соблюдении какого-нибудь правила, принятого только в его редакции или в том месте, где его учили: такие капризы начальства кажутся ему обязательными для всех. В общем, такой человек понятен, и если вначале он может вызывать неприязнь, то скоро вы осознаёте, что это робот, и перестаё-

те воспринимать его механическую деятельность как человеческую злую волю. Но сотрудничать с такими журналистами невозможно.

Есть ещё одна сторона дела, часто упускаемая из виду. Если ваша статья всё-таки выйдет (разумеется, в кастрированном виде), то она окажется в окружении обычной продукции этой газеты или журнала и, увидев это окружение, вы устыдитесь. В старой русской печати понимали, что должен быть некоторый уровень публикаций, ниже которого опускаться нельзя. Разборчивый читатель, зная уровень публицистики в неразборчивой газете, просто оставляет её без внимания, ограничиваясь просмотром новостей. Читатель, которого вы ищете, пропустит среди обычного хлама и вашу статью. В общем, в этой печати ваша работа затеряется бесследно. Время "толстых журналов", выдававших дозволенные сенсации, давно прошло.

Могло бы показаться, что журналы, выходящие при поддержке иностранных "спонсоров", независимы от начальства и разовьются во что-нибудь интересное. Но эти — обычно не очень распространённые — издания так же убоги, как и откровенно продажная печать. Причина в том, что иностранцы не хотят ссориться с российским начальством — отчасти из деловых соображений, но в значительной мере от недомыслия. Деловые мотивы понять нетрудно: если сегодня нет условий для эксплуатации России, то завтра они могут появиться, и незачем портить отношения с аппаратом. Так ведут себя во всех слаборазвитых странах. Но, наряду с этим очевидным подходом деловых людей, есть ещё неизлечимая советологическая глупость. Советологи внушают дельцам, что правительство России, провозгласившее демократические и рыночные принципы, заслуживает поддержки, потому что оно борется с "консерваторами", пытающимися этот процесс задержать. Но тогда журналы, финансируемые иностранцами, должны держаться того же курса, что и правительственная печать, то есть угождать одной из правящих групп, не слишком задевая остальные. Для этого годятся те же советские журналисты, всегда готовые к услугам, — да и кто будет искать других? Они и набились сразу же в новые журналы, где требуется меньше текущей информации, а следовательно, печатается только "взгляд и нечто" — пока иностранцам не надоест за это платить. Вот и вся история печати на содержании иностранцев.

Наша массовая печать — печать ренегатов — кое-как существует за счёт государства, но неизбежно должна погибнуть, как только аппарат перестанет поддерживать её призрачную жизнь. Я говорил о ней только для того, чтобы объяснить, что у нас нет свободной печати, и что нельзя сотрудничать с той, какая есть.

4.

На Западе, наряду со “средствами массовой информации”, всегда была и есть “элитарная” печать, рассчитанная на культурное меньшинство. Это газеты и журналы, выходящие небольшим тиражом; обычно они не преследуют коммерческих целей, а пользуются субсидиями общественных организаций, корпораций или отдельных лиц. “Элитарный” журнал предполагает у читателя некоторую способность к самостоятельному мышлению, а иногда и развитый вкус. “Элита”, для которой предназначается такой журнал, в прошлом могла быть политически активной, например, радикально левой или социалистической. В наше время западные *intellectuals* уже не радикальны и очень редко принимают всерьёз какие-нибудь возвышенные идеалы. Обычно это способные технократы, заинтересованные в “социальной технологии”, то есть в решении отдельных общественных задач методом “кусочных” поправок (которые К. Поппер описывает термином *piecemeal*), или литераторы, художники и актёры, пытающиеся найти новые пути в своём искусстве. Это невысокий человеческий тип по сравнению с русским интеллигентом: в лучшем случае его можно сравнить с такими литературными героями, как Штольц или Соломин. Но я не преуменьшаю значение этой “элитарной” печати. В общественной практике она играет роль лаборатории, где в узком кругу обсуждаются идеи, затем переходящие в жизнь. Самое выживание такой печати свидетельствует о том, что она нужна: она помогает, например, проводить реформы без дорогостоящих ошибок. Наконец, она поддерживает в обществе умственную энергию.

У нас в России есть несравненно более значительный, единственный в своём роде опыт. Это опыт русской интеллигенции, воспитанной столь важными в нашей истории журналами, как “Современник”, “Отечественные записки” и “Русское слово”. Это была подлинно элитарная печать, предназначенная для культурного и мыслящего читателя и умевшая его находить.

В эпохи отчаяния худшие клевещут на лучших. Теперь у нас опять модно клеветать на интеллигенцию. Но без русской интеллигенции не было бы России. У нас нет другой традиции: мы не можем любить монастырь, казарму и царский дворец. Русская интеллигенция — самое благородное и возвышенное явление мировой истории. Наши первые интеллигенты не уступают первым христианам в глубине и значении своей веры, но ближе нам как более развитый человеческий тип. Историческая задача интеллигенции только

начата, и эта задача не ограничивается Россией.

Но теперь будем говорить о России. Главный тезис моей статьи можно формулировать таким образом: *Россия не может выжить, русская культура не может быть спасена без возрождения русской интеллигенции; а чтобы ее возродить, нужна интеллигентская печать.*

Я называю такую печать интеллигентной, потому что она будет предназначена для интеллигенции — для того немногочисленного культурного слоя, который у нас сохранился, и для более широкого, который она сама создаст. Мне не хотелось бы называть её "элитарной", потому что слово "элита" приобрело в русском языке двусмысленный оттенок: ловкачей, пробравшихся к государственной кормушке, уже называют "элитой власти", а более обыкновенных жуликов скоро назовут "элитой кошелька". Но печать, о которой я думаю, должна быть поначалу печатью для избранных: нечего стыдиться этого слова, когда вся избранность почти свелась уже к умению грамотно говорить и писать. Худо, когда в обществе нет избранных: в нём некого выбирать. И уж тем более нельзя мечтать в таком обществе о нетоквилевой демократии, где равенство не удушало бы творчество и красоту. Вряд ли надо повторять, что существующая у нас печать удручающе неинтеллигентна — не только печать на казённой бумаге, но и претенциозные журналы на хорошей бумаге, выходящие за счёт иностранцев. Во всех случаях эти журналы изготовляют люди, выросшие в колодках: если помните, в одном романе Гюго описывается, как этим способом изготовляли особую породу нищих. Во всех этих журналах господствует псевдоэссеизм — мнимое глубокомыслие, надевшее маску литературы.

Чтобы кратко объяснить, что нужно для возрождения нашей интеллигенции, достаточно сказать: нам нужно *мышление.* Среди пишущей братии у нас встречаются и благонамеренные люди, которые время от времени ухитряются напечатать какую-нибудь "отсебятину", но мышления в нашей печати нет. Не потому нет, что в России нет уже мыслящих людей, а потому, что у нас нет интеллигентной печати.

5.

Но прежде чем говорить, как нам создать такую печать, я должен объяснить и некоторым образом оправдать только что высказанный главный тезис. Прежде всего, так ли нужна интеллигенция для выживания России? Ведь на Западе нет интеллигентов, там есть

специалисты; а теперь у нас принято подражать, подобно мещанину во дворянстве, всему, что делают "порядочные люди". Но эти "порядочные люди" не всегда были так просты, как сейчас. Нынешнее западное общество примитивно в своей духовной жизни, хотя и сохранило умение производить вещи. Это обычная история вырождения культуры: так было в Китае, в Индии, в Византии — культура погружается в спячку, или, если угодно, в материализм. Можно завидовать такому состоянию общества, но вряд ли его можно воспроизвести. Вообще, восприятие чужой культуры — никогда не механический процесс, это всегда сложная гибридизация своего и чужого, идущая в каждом случае особым путём. Такой процесс не скоро приносит материальные успехи, а духовное равновесие достигается в течение столетий. В наше время Запад уверовал, что главное в человеческой жизни — производство и потребление вещей, то есть принял упрощённую версию марксизма. Если этому надо подражать, то больше всего тут отличились японцы; но и в Японии между началом реформ и нынешним процветанием прошло сто лет. К тому же японцы начали подражать европейской культуре, сохранившей ещё свою веру и надежду. Теперь это было бы невозможно: чем дальше зашёл процесс разложения высокой культуры, тем труднее привить её к дереву отсталой.

Но в России прививка началась ещё при Петре, и начинать её заново не просто глупо, а невозможно. Мы сами были частью той высокой культуры, которой теперь пытаемся подражать. Между тем, остатков её у нас всё ещё достаточно, чтобы, выражаясь современным языком, не начинать с нуля. Более того, чтобы начать с нуля, нам надо было бы сначала уйти от Европы в гончаровскую Японию. Таких вещей в истории не бывает: подражая иностранцам в производстве вещей, мы должны так или иначе использовать наше наследие, русскую европейскую культуру. Но та особенная культура, которая родилась в России из петровских реформ — это *интеллигентская* культура, потому что её создала русская интеллигенция. Царская бюрократия не могла править Россией, не вызвав к жизни образованный класс, который, уже по внутренним закономерностям национальной психики, стал интеллигенцией. Он, этот класс, и взял на себя духовную работу, заменившую нам Возрождение и Реформацию.

Конечно, интеллигенция почти истреблена, но наследие её живо в России. Этот класс людей потому и был возможен, что его устремления были созвучны психологии русского народа. Опасение богатства и отвращение к власти — развитые тысячелетием хри-

стианства, но вряд ли взятые у византийцев — делают этот народ очень особенным, а освоение им западного образа жизни очень трудным. Историческая миссия нашей интеллигенции началась именно с того, что она сделала западную культуру приемлемой для Руси, в некотором смысле перевела её на русский язык. Но никогда Россия не примирится с тем, что человек существует для производства и потребления вещей. Экономический материализм, принятый нынешним Западом, не привьётся в России; Россия не примет никакого средства, пока не будет названа его духовная цель.

Речь идёт не о мистических свойствах народной души, а вполне реальных элементах культуры, которыми нельзя пренебречь. Теперь нас уверяют, будто в России строится капитализм. На Западе, давно его уже построившем, признана обязанность общества заботиться обо всех своих членах, что привело, по крайней мере, к ряду практических мер. Наша трагически непрактичная Россия никогда не поверит, что общество может преуспевать, бросая на произвол судьбы своих слабых, больных и просто незадачливых собратьев, что эти неприспособленные должны просто вымереть, чтобы из более удачливых и предприимчивых выделился новый “средний класс”. То, что теперь делают в России, это не капитализм, а утопический эксперимент “социального дарвинизма”, и трудно сказать, во что он обойдётся нашей несчастной стране.

Судьба России зависит от тех, кто способен чувствовать и думать. Всё, что они читают в русских книгах, прямо или косвенно пришло к ним от русской интеллигенции. Неправда, что у нас не читают классиков русской литературы. Я объяснял незнающим иностранцам, что в течение десятилетий сочинения этих классиков выходили миллионными тиражами, и подписка не могла удовлетворить спрос. То же было бы и сейчас, если бы нынешние издательства были способны на такие предприятия. Конечно, люди устали, они ищут теперь забвения и утешения, тянутся к жалкой продукции, заполняющей книжные лотки. Но эта конъюнктура, как мне говорили, приходит к концу, хлам больше не находит сбыта.

Можно думать, что культурной работе должна предшествовать хозяйственная. Но в хозяйстве никогда не было лучшего работника, чем интеллигент. Его труд нельзя заменить простым наёмным: важная проблема западного общества состоит как раз в том, что больше не удаётся купить за деньги добросовестный труд. Из русских можно сделать интеллигентных работников; можно, вероятно, и наёмных специалистов, умеющих делать что-то одно и равнодушных ко всему остальному. Но ориентация на инженера-робота,

давно уже принятая нашими вузами, приведёт в России к особенно плачевным результатам. Атомная энергия используется повсюду, но Чернобыль был только у нас.

Идея возрождения русской интеллигенции созвучна русской психологии и в высшей степени своевременна. Мне скажут, что это долгое дело, а спасать Россию надо уже сейчас. Но нельзя надеяться на быстрое улучшение нашего хозяйства. Этот долгий и мучительный процесс соизмерим с продолжительностью культурных усилий. В своё время нэп продумали и провели культурные русские интеллигенты — не Ленин, не Сокольников, а добросовестные "буржуазные специалисты". Теперь это пытаются делать малограмотные советские чиновники; что у них получается, видят все.

6.

Оставим мечты о быстрой "перестройке" нашей жизни. В серьёзных делах, продолжительность которых мы не можем предвидеть, торопливость приносит только вред. В области культуры и воспитания мы даже не начали основательного обсуждения наших проблем: их просто негде обсуждать. Людям нечего читать, негде высказать свои взгляды. Чтобы начать серьёзное *обсуждении*е наших дел, нужна *независимая интеллигентная печать.* Я не говорю здесь о других средствах информации, потому что ни *радио*, ни *телевидение* не стали ещё ничем, кроме примитивных орудий массового развлечения, быстро приносящих нам ненадёжные версии новостей, а в остальном безусловно вредных. Пока ещё нигде не было умного телевидения, а то, какое есть, контролируется начальством.

Газеты тоже не имеют прямого отношения к интересующей нас цели. Область газетной информации — это повседневные, текущие события, а нас теперь интересует обсуждение долговременных проблем, требующее больше места и меньше спешки. Таким образом, мы возвращаемся к *журналам* — испытанному средству выработки общественного мнения.

Но сначала я должен ответить на несколько возражений, всегда вызывающих у меня чувство стыда. Мне стыдно слышать их и стыдно на них отвечать, но они представляют наше общественное мнение, каким его создала советская власть.

Мне скажут, что общественное мнение нельзя искусственно формировать, что это естественный процесс; что всякая деятельность, преследующая сознательные цели, приводит к чему-то вроде большевизма; что старые русские интеллигенты подготовили в своих

журналах все ужасы революции, гражданской войны и сталинских репрессий. Без сомнения, читатель часто слышал всё это от честных и благонамеренных людей, выросших в колодках партийной идеологии. Отвечать на такие мнения стыдно, не отвечать — нельзя.

Мне приходилось даже слышать просто невероятные нападки на самое понятие цели. Деятельность, преследующая определённую цель, то есть целесообразная деятельность, вызывает у многих опасения, потому что такая деятельность неизбежно связана с созданием необходимых средств, с организацией; а эти люди не знали никаких видов организаций, кроме советских. Отсутствие всякого опыта общественной работы привело к тому, что многие из наших правозащитников, честные и благонамеренные люди, искренне полагали, что целесообразную деятельность надо предоставить государственным учреждениям и жуликам. До сих пор у нас только жулики и умеют что-нибудь организовать, а мы не умеем, и этим — ещё и этим — мы постыдно отличаемся от наших предшественников, дореволюционных русских интеллигентов. Опыт подлинно просветительских, бескорыстных и успешных издательских предприятий — таких, какие устроили Павленков, Солдатенков и Сытин — лучше всего объясняет, что я имею в виду.

Целесообразная деятельность и организация вовсе не является изобретением большевиков, а встречается уже у животных: если бы наши животные предки не научились делать это лучше других животных, они так и остались бы жить на деревьях. Может быть, это и было бы наилучшей формой человеческого бытия — того самого, что в наше время называют *condition humaine*: это было бы естественное развитие модной философии, поучающей нас, что не нужно было никакого Возрождения, а надо было просто сидеть в Средних Веках. Насколько я понимаю, эта философия всё-таки навязывает людям цели — но не потомкам, а предкам.

Весь вопрос в том, каких целей вы добиваетесь, и как вы это делаете.

Свобода печати нужна для того, чтобы люди, имеющие что сказать о человеческих делах, могли довести до публики свои взгляды. Никто не стал бы этого делать, не рассчитывая повлиять на читателей, объяснить им свои идеи, убедить их или переубедить. Основа всякой общественной деятельности и состоит в том, чтобы объяснять людям свои взгляды и убеждать их в правильности своих взглядов. Взгляды людей меняются — таков неизбежный результат чтения и размышления над прочитанным. Если мы побоимся влиять на людей, это сделают другие, имеющие для этого все средства

и преследующие очень плохие цели. С утра до вечера телевидение обрушивает на публику свои потоки грязи и лжи. Пора уже противопоставить этому честную печать.

Интеллигентная печать будет стремиться к *гуманному и демократическому обществу.* Движение к равенству и представительному правлению — к тому, что называется демократией — открыл и описал как главную тенденцию Нового Времени великий историк Токвиль. Были периоды, когда казалось, что это движение замедляется или даже обращается вспять. Такими периодами были контрреформация 17-го века, абсолютистская реакция в начале 19-го века и, в особенности, эпоха воинствующего национализма и тоталитаризма в 20-м. Некоторые уважаемые люди, например Томас Манн, готовы были даже пожертвовать суверенитетом человеческой личности, поверив, что наступает "эпоха коллективизма", перед которым должен преклониться отдельный человек. Но история решила иначе. Во второй половине века все тоталитарные системы рушились одна за другой, продемонстрировав не только свою жёстокость, но и свою неэффективность. Теперь тоталитарный режим остался только в Китае, но и там дни его сочтены. И всюду, где рушатся такие режимы, на место их приходит или возвращается представительное правление — та же демократия, уже похороненная мудрецами первой половины века. Какой великолепный урок даёт нам, в конечном счёте, наш 20-й век!

Интеллигентная печать будет исследовать, и объяснять, как устроено демократичное общество, как охраняется конституция, чем гарантируются права человека. И, главное, она будет искать новые исторические задачи, формулировать вновь возникающие цели демократии, потому что без целей демократия мертва.

Разумеется, каждый журнал будет иметь своё *направление*, то есть вокруг него естественно соберутся авторы и читатели, разделяющие определённые взгляды. Так было у нас до революции во всех серьёзных газетах и журналах, и к этой доброй традиции следует вернуться. Если издание не имеет определённого направления, это обычно значит, что издатели преследуют не идейные, а коммерческие цели, и что читатели не знают, чего они хотят. Конечно, направление журнала должно быть достаточно широким. Я не имею здесь в виду органы политических партий, которых у нас пока нет.

Важной задачей интеллигентной печати должно быть восстановление и сохранение русского языка. Читатель вправе требовать, чтобы дорогие ему идеи излагались понятным, но не упрощённым язы-

ком, не засорённым причудливыми, нарочито выдуманными словами и кальками с иностранных слов.

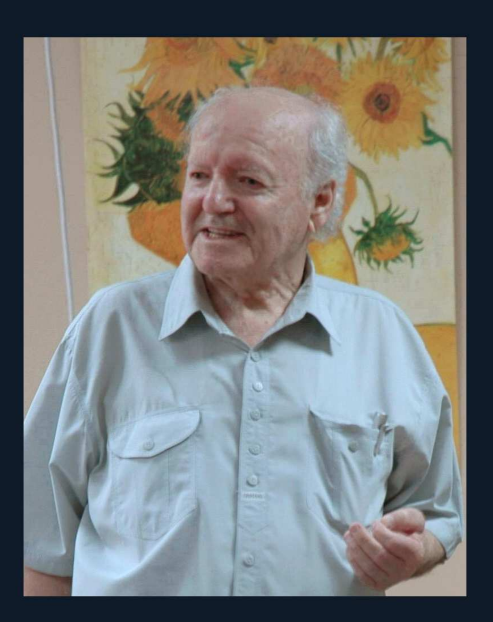
Наконец, интеллигентная печать будет знакомить читателя со всеми важными явлениями зарубежной жизни, научной, культурной и общественной, обращая особое внимание на "скрытые десятилетия" с 17-го года до наших дней. Предметом постоянной заботы должно быть при этом качество переводов, катастрофически упавшее в наше время.

Неизбежные тематические ограничения будут зависеть от характера каждого журнала. Текущая политика вряд ли будет подходящим предметом для журналов, которые мы имеем в виду: для России не важно, кто из чиновников будет занимать доходные места. Популяризация науки будет важной задачей, как это уже было в прошлом; но вряд ли нужно будет заниматься точными науками и естествознанием, поскольку они всегда были представлены в советской печати, по крайней мере, без нарочитых искажений. Тем более важна популяризация гуманитарных наук, закрытых в течение всех советских десятилетий. Естественными предметами обсуждения могут быть философия, история, социология, психология.

Конечно, каждый журнал будет выбирать интересующие его сюжеты. Можно представить себе и журналы, занимающиеся художественной литературой. Хорошие журналы появятся не сразу, но ведь надо как-нибудь начать. Найдутся же в России люди, которые избавят нас от монополии вечно-советских газет и журналов!

Россия теперь нища, но не духовной нищетой. Совсем недавно тысячи людей читали, передавали друг другу и перепечатывали Самиздат, не страшась репрессий. Эти люди живы — им нечего читать. Я говорю от имени группы людей, которым есть что сказать, *но негде печататься в России.* И если не найдётся никого, кто помог бы нам создать в России независимую интеллигентную печать, то мы возобновим Самиздат, с теми средствами, какие сможем найти.

“Осмысление происходящего и выработка будущих целей является задачей интеллигенции. Русская интеллигенция должна прежде всего думать о восстановлении русской культуры. Мы не можем надеяться, что кто-нибудь это сделает за нас. Мы не можем рассчитывать на импорт идеологии, как это делали наши предки. Запад может доставить нам только новые товары: у него нет больше новых идей. Россия, где нет буржуазных традиций и где собственность не имеет престижа, может быть местом, где возникнут эти идеи.”



Абрам Ильич Фет (5 декабря 1924, Одесса — 30 июля 2007, Новосибирск) — известный российский математик и физик. Работал в Сибирском отделении Академии Наук.

Абрам Ильич много размышлял о человеческом обществе, о биологической и культурной природе человека. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

6-й том составлен на основе рукописей разных лет, посвящённых интеллигенции и её главному антагонисту — мещанству. Интеллигент для Фета — это автономная личность, самостоятельно вырабатывающая свою систему ценностей и призванная совершенствовать себя и общество, в котором живёт.

American Research Press, 2015
Printed in the USA

